


К 90-летию
со дня рождения

*Игоря
Николаевича
Григорьева*



поэт
и
ВОИН

*Книга воспоминаний
об Игоре Григорьеве*



Санкт-Петербург
2013

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)
П 67

Поэт и воин.

П 67 Книга воспоминаний об Игоре Григорьеве. – СПб., 2013. – 463 с.,
ил.

ISBN ...

Книга воспоминаний о жизни и размышлений о творчестве русского поэта, героя-партизана Великой Отечественной войны Игоря Николаевича Григорьева (17.08.1923–16.01.1996).

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)

ISBN ...

© Авторы текстов, 2013

Игорь Григорьев

ВСЕ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ

...Иго Мое благо, и бремя мое легко.
Евангелие от Матфея

Говорить о себе поэтам вернее, да и честнее всего стихами: в лирике не пустишь пыль в глаза, никуда не денешься от самого себя. Таково уж свойство Поэзии: она – сам человек, взявшийся за перо. Но жизнь – мудреная штука: в ней без прозы не обойтись.

Слава Богу, ни в каких революциях я замешан не был. А все остальное – от безумной коллективизации до пресловутой «перестройки» – испытал на собственной шкуре. И если меня спросить на духу: «Ну и как шкура?», не избежать мне ответа: «Да трещит по всем швам!». Но об этом вы начитаетесь в моих стихах. А сейчас самое время упомянуть об истоках.

Родители моей матушки – Василий Алексеевич и Василиса Яковлевна Лавриковы, крестьяне деревни Сосонье Порховского уезда – имели три борозды земельного надела и четырнадцать детей (я застал только шестерых).

Дедушка был невысок ростом, сух и жилист, мягкого характера, добр и покладист, но строг и непреклонен там, где надо. Как большинство мастеровых людей, при подходящем случае не отказывался от хмельного зелья, за что и прилепилась к нему устная фамилия – Мокроус. Однако, если в церкви зарекался не пить определенное время

(обычно год), свято соблюдал зарок. Он всю жизнь плотничал, надорвался на стройке и рано умер.

Бабушка Василиса, по-деревенски Васютка Мокроусиха, была крупна, кротка, весьма недурна собой, обладала ангельским голосом, нежным сердцем и лошадиной силой. Когда у них случился пожар, в котором сгорели дом и конь, она на себе возила из лесу бревно на постройку жилья. Ей ничего не стоило десять верст пронести на закорках подгулявшего в Порхове (и через это обезножившего) супруга своего. Доброта ее не знала границ, и в бедном, очень опрятном доме Мокроусов днем и ночью находили приют и кусок хлеба побирушки и бродяги всех мастей.

Мамина мама была неграмотна, но знала множество сказок, бывальщин, былин и песен, которые исполняла с бесподобным артистизмом. Зимними вечерами скоротать долгое темное время и послушать певунью-говорунью, бывало, являлись и стар и мал. Приходили на огонек даже из соседних деревень. Глубинную русскую речь моей пра-родительницы густо расцветчивали пословицы, побасенки, присловья и поговорки. Мне думается, что многое из репертуара бабули было сочинено ею же самой.

Василиса Яковлевна погибла в блокадном Ленинграде зимой 1942 года и покоится в братской могиле на Пискаревском кладбище.

Моего прапрадеда по отцу звали Кузьмой, потому что прадед был Дмитрий Кузьмич, – и, к стыду и прискорбию моему, это все, что мне о них известно. А дед, Григорий Дмитриевич, от которого и пошла наша фамилия Григорьевы, – особая статья. И хотя я не застал его, но о нем слышан. Основатель моего гнезда – Гришина хутора – справный русский мужик, добрый оратай (12 десятин

земли на хуторе, полученных по реформе великого крестьянского заботника П. А. Столыпина), садовод (сад под 150 ульев), кузнец (кузница на большаке в деревне Заозерье), мастеровой и механик (веялки, сеялки, самопряжи, ткацкие станки), мельник (мельница на реке Узе), а также камнетес. До недавнего времени неподалеку от Ситовичей еще лежал, да, возможно, и теперь никуда не подевался огромный валун с глубокой и широкой трещиной посредине. Это его пытался взорвать на жернова мой дед Гриня, да на такую махину порошу не хватило, и жерновых дел мастеру пришлось довольствоваться более мелким каменным матерьялом.

Дорога на хутор и вокруг него, три мостика, осушительные канавы, мочила для льна, сад, рига с гумном, скотный двор, баня, изгородь вдоль леса (все это я помню) находились в полном порядке вплоть до начала новой, колхозной жизни – лиха лихущего, горя горящего.

И все это благолепие было осилено своим горбом, лишь с помощью второй моей бабушки Прасковьи да семерых ее детей – Петра, Тимофея, Николая, Василия, Дмитрия, Анны и Анастасии.

Григорий Дмитриевич не брал в рот спиртного, не трагил время попусту на праздные забавы вроде рыбалки, но был страстным охотником. Он имел пару дорогих ружей и смычок гончих костромичей. Выжлец и выжловка были так хороши, что владелец имения Заозерье Николай Аничкин предлагал за них баснословную цену – по сто червонцев за собаку. Куда там! Мужик и слышать не хотел о продаже. И барин этого не простил.

Однажды, в день Покрова, по первой пороше дед полесовничал в казенном Клину, где охота разрешалась. Гонный заяц, преследуемый собаками, выскочил на барское

поле и понеся по озими. За ним устремился разгоряченный азартом охотник. И вдруг – на конях барин с псарями!

– Григорий Дмитриев сын, кто тебе дозволил топтать мою озимь и гонять зайцев по моей земле?

– Ненароком вышло, Миколай Миколаич...

– Да ты еще и разговариваешь? Эй, доезжачие, влепить ему двадцать пять горячих!

Трое псарей спешили, схватили охотника за руки, свалили наземь и отходили арапниками ни за что ни про что.

Дедушка не проронил ни звука и отправился в уездный суд с челобитной. Он судился с барином целых два года, дошел аж до Сената, но все-таки нашел управу на самодура. А в семнадцатом страшном году скрыл его и уберег от озверевших мужиков, приютил на своем хуторе и помог отправиться в трудную дальнюю дорогу.

Самородок, добряк и гордец дедушка Григорий покоится на погосте Жаборы, где пять лет спустя я был крещен. Там же обрела последний приют и моя любимая бабушка Паша, знахарка и вещунья (могла заговаривать кровь и змеиные укусы, врачевала словом, гадала на бобах, знала целебные тайны трав). Она сочиняла духовные стихи, была большой богомолкой и труженицей, каких поискать.

Таковы мои глубинные корни.

А сам я родился 17 августа 1923 года на хуторе близ деревушки Ситовичи Порховского района Псковской области. От Ситовичей теперь осталась всего-навсего вековая липа, посаженная моим предком Григорием. А когда-то в деревне было дворов тридцать пять. Но радетели колхоза

«Красные Ситовичи» да Великая война уполовинили народонаселение. А совхоз «Полоное», что захватил ситовские угодья, поставил точку – полонил и стер с лица земли последнюю хату, огрызнувшись: «Неперспективка!».

Моя родительница Мария Васильевна в молодости, да и в зрелые годы, статью и ликом была прекрасна. В округе не встречалось ей равных. Замуж она вышла в восемнадцать лет, а к двадцати двум у нее уже были я и брат. Все у юной хозяйки ладилось, до всего доходили ее нежные руки. Мы росли и воспитывались, окруженные материнской заботой и горячей разумной любовью. В большой чести у нас были свобода и самостоятельность.

Спокойная, умная, хозяйственная, доброжелательная и ласковая молодуха-хуторянка считалась любимицей деревни. И жители Ситовичей, когда разразился погром сельщины, избрали ее председателем колхоза.

Папаша был не так наивен – от всех колхозных чинов деликатно отказался и пошел ночным сторожем «общественных» социалистических амбаров, в которых добра было хоть шаром покати.

Лямку «колхозной главы» мама тянула четыре года, вплоть до отъезда нашей семьи под Усть-Лугу, в поселок Котлы.

На хуторе было три избы: наша, батиних сестры Анны и брата Тимофея. Жена Тимофея Григорьевича, милейшая тетушка Ольга, моя няня и радетьница, была портнихой высокого класса. И имела отличный голос. Мама пела тоже очень хорошо. На супрядки собирались рукодельницы певуньи-девушки из Ситовичей, благо хутор был близехонько; приходил большой любитель пения хворый Иван, по прозвищу Комиссар; нередко и подол-

гу у нас гостила на хуторе гостила немка из Пскова, танти¹ Эмилия, тоже прима-певица, моя первая учительница немецкого языка. Эмилия Фердинандовна, прозванная мною «Дер шток», была дамой добродушнейшей, но, когда я озорничал, утихомиривала меня фразой: «Во ист дер шток?»².

А на супрядках между тем зажигали большую пятнадцатилинейную лампу (редкость по тем временам), все садились за работу и пели. Да как пели! Наверное, годов с двух я без памяти влюбился в русскую песню, перед которой и сейчас преклоняюсь. Особенно когда наши песни и романсы исполняют такие чародеи, как Борис Штоколов, Николай Гедда, Людмила Зыкина.

О вечера на Гришином хуторе!..

За плечами моей матушки долгий, трудный и светлый путь, путь правды, совести и чести. Разве обо всем поведаешь...

Мать живет со мной. И нынче, в свои восемьдесят семь лет, она солнечна лицом, обаятельна, шустра, обходительна и гостеприимна (многие писатели, да и не только они, знают это и не забывают хлебосольную хозяйку). От нее не услышишь и полжалобы (а житье со мной – не мед). Всё ей ладно и складно, все – хороши. Она – неустанная работунья: все домашнее хозяйство лежит на ней. Мама считает меня мальчишкой и жалеет до самозабвения. Я обожаю ее и, целуя дорогую седую головушку и золотые рученьки, уверяю себя и вас: «Без матушки как без рук!». Да продлит Всевышний дни ее!

Но вернемся на Гришин хутор.

¹ Тетя (Нем.).

² Где палка? (Нем.)

Большенный, похожий на гумно пятистенок деда стоял в полуверсте от деревни, на самом краю леса, именуемого Клин. От Клина – древнего драгоценного дара природы, разросшегося на двадцать квадратных верст, – теперь остались рожки да ножки. Вместо вековых елей, берез и осин там расплодились серый олешник, черемушник, волчья ягода да непролазный подлесок. Стало здесь пусто – ни зверей, ни птиц, ни ягод, ни грибов.

А что это было за чудо – лес Клин – еще в мою мальчишескую пору! На верхотуре могучих елин гнездились соколы, канюки, тетереватыники, иные мелкие ястребы, вороны, клесты; в осиновых дуплах жили филины-неясыти, желны, вертишейки и, пожалуй, лешие (случалось мне по ночам слышать отголоски их шабаша); в стене черных ольх за речкой Гусачкой ютились постоянные жильцы – эхо и немой призрак (сам однажды видел); в кустах проживало множество птичьей мелюзги – коньков, лазоревок, корольков, поползней, дроздов, иволг, зарянок... Водились тут и косули, и летяги, и мышловки-сони, и ласки, и горностаи, и выдры (по рекам), и находили приют змеи – множество гадюк, которых я нисколько не боялся и не жалел.

По деревьям я лазал не хуже векши и знал множество птичьих гнезд, разорять которые в нашей семье считалось большим грехом. Однажды, взобравшись на обесшученную старостью высоченную елку, на верхотуре которой было ястребиное гнездо, а в гнезде два крупных пушистых птенца, я пытался кормить их черничным пирогом. И тут меня атаковали расвирепевшие родители-тетереватыники. Они расшматовали на мне рубаху и штаны, поцарапали и поклевали спину, после чего сбросили на землю. Метров с двадцати, если не выше, я летел вниз и жажнулся мягким местом в мох.

Наш Клин окружали три колыбели моего детства – река Уза, речка Веретенька и речушка Гусачка. Это они напоили мою Музу живой водой. Лес да речки (больших рек не люблю) всегда были моим вторым домом. И доныне мы с лесом и водью «на ты».

И хотя в Ситовичах я прожил всего одиннадцать изначальных лет, отпущено здесь мне было столько, что не истратить и за всю жизнь. Гришин хутор и все, что его окружало, – родители и родня, первая школьная учительница Зоя Ивановна, мужики и бабы, вдохновенный труд тогда еще на своей земле, жаркие престольные праздники, незамутненная варваризмами и аббревиатурами русская речь, вера в Бога, неколебимая в моей душе, – было началом всех начал, первой вехой на моем крутом, но безусловно счастливом пути.

Годков с четырех с мальчишками, а то и без них, бегал на Гусачку и Веретеньку ловить решетом вьюнов и гольцов, наведывался на Узу за раками, ходил в Клин по грибы и по ягоды, которых нарастало навалом.

Пяти лет от роду, выученный двоюродной сестрой Катей азбуке, я прочитал в сборнике Ивана Бунина стихотворение «Листопад»:

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листе сквозной
Просветы в небо, что оконца...

Это поразило: ведь именно так и было в нашем лесу!.. А назавтра вечером я отбывал наказание – стоял в углу за своеволие (спозаранку сбежал на реку Узу ловить раков: километра четыре туда, столько же обратно да вдоль берега сколько; и все лесом, по лесу, в лесу – благодать!). В этом самом углу, от переполнившейся радости и нахлынувшей обиды, на меня и «нашло»: я сложил свое первое «Стихотворение про синюю речку и рыжую тетку». Не знаю, почему «рыжую». Ведь милейшая тетушка Оля, моя вторая мама, не была рыжей. Ее коротко остриженные волосы имели серебристо-льняной цвет от природы и ранней седины, а курносое, с очками в роговой оправе лицо было бронзоватым от загара и лучилось светом ее большой русской души. Видно, это для красного словца сочинилось с пылу с жару. Но упрекать меня не стоит: ведь тогда я не имел никакого представления о художественном вымысле. Наитие! От того первосочинения осталось в памяти:

Речка синяя моя,
Без тебя как без рук я!
Ольга рыжа, что лиса,
На носу два колеса.

С того и началось.

Сеструха Катюша научила меня не только чтению и письму, но привила любовь к книге и неутолимую жажду Поэзии. Она была моей первой слушательницей и поэтической наставницей, ибо знала толк в стихах и сама их сочиняла.

В конце двадцатых годов Катя выиграла по лотерейному билету «Библиотеку русских классиков» – сто книг. И все их подарила мне. Я зачитывался «Медным всадни-

ком», «Мцыри», «Коробейниками», «Светланой», «Соловьиным садом», лирикой Афанасия Фета, песнями Алексея Кольцова, одами Гавриила Державина, стихотворениями Аполлона Майкова, Федора Тютчева, Алексея Толстого, Ивана Бунина.

Однажды во время летних ливней я было утоп. Екатерина Тимофеевна отыскала меня на дне Веретенки и откачала.

Весной и летом 1944 года, чуть ли не ежедневно, она ходила ко мне в ленинградский военный госпиталь и проносила колбасу, шоколад, фрукты... И только потом, когда ее уже не стало, я узнал, чего ей стоили эти дары: она их приобретала за сданную кровь свою. Да будет ей пухом земля!

В конце двадцатых и начале тридцатых годов на хутор к Анне Григорьевой, одинокой старой деве, каждое лето приезжала из Ленинграда ее сестра Анастасия Григорьевна, или тетя Тася, врач «Большого дома». С нею были дочь Лиля и сын Алеша, почти мои ровесники. Тетя Тася привозила много детских книжек, больше стихов, из которых каждый вечер декламировала нам. Из прозы помню лишь «Приключения барона Мюнхгаузена». (Но эти «приключения» я уже знал: танте Эмилия читала их мне на немецком языке до встречи с русским переводом.)

Все привезенные книги являлись советскими изданиями. Из них мне врезались в память «Крокодил», «Мойдодыр» и «Муха-цокотуха».

17 августа 1929 года, в день моего шестилетия, тетя Тася поднесла мне кружку вишневого варенья и две размалеванные книжицы. Я сидел под большой березой, уплетал варенье и услаждался подаренными стихами:

Жил в Камаринском селе
Бедный мужичок.
Все богатство у него –
Беленький бычок.
Далеко среди лесов
Жило семь воров.
А у тех семи воров
Было семь коров.
Семь коров без молочка –
Не было бычка.
Раз забрался ночью вор
К мужичку во двор.
Вор украл у мужичка
Белого бычка.
– У воров теперь бычок! –
Плачет мужичок...
Не понравилось бычку
У лесных воров:
Заскучал, пошел домой
И увел коров.
Рад бычок был мужичку,
Мужичок – бычку.
В пляс пустился мужичок,
Закрутил усы,
Нацепил бычку звонок,
А себе – часы.
Дом, коровы и бычок –
Счастлив мужичок!

Это была «сказка про белого бычка». Всласть насладившись вместе с мужичком и бычком, я взялся за вторую книжку. Называлась она, если не ошибаюсь, «Колбасный цех». Производственная, так сказать, лирика. На первой странице этого «Цеха» был изображен здоровущий дядя в фартуке, спрятавший за спину почему-то красную руку

с огромным ножиком-свинорезом. Другой рукой он чесал за ухом у толстой и очень симпатичной хавроньи. Под рисунком крупными буквами были напечатаны такие стихи:

Почешут, понежат,
Ложится свинья,
Потом ее режут
Ножом острия...

В марте 1991 года (далеко не впервые) по первой программе Всесоюзного радио пара борзых актеров лихо исполняла «Муху-цокотуху» дедушки Корнея Чуковского. Из репродуктора гремело двусмысленное двугласие:

Вдруг какой-то старичок-паучок
Нашу муху в уголок поволок...

Мне невольно вспомнилась несчастная хрюшка из детской книжки двадцатых годов и как

Потом ее режут
Ножом острия.

Где-то в третьем классе тяга к сочинительству сделалась во мне такой беспокойной, что целых два месяца – сентябрь и октябрь – после школы я убегал в лес и писал там стихи. Писал с натуры, стараясь изобразить словами осеннее великолепие. У меня не получалось ничего путного, и я плакал сиротливо под пылающим багряным кустом. Потом, нагоревавшись, снова брался за карандаш – награду за стихотворение в школьной стенгазете. Премия за стихи! Как тут было удержаться от искушения вообразить себя поэтом?..

С годами стихотворческие приступы не проходили, но повторялись все чаще – больше всего осенью. Они, хвала

провидению, и посейчас тревожат сердце. Осень и теперь – самая плодотворная и любимая моя пора.

В мае 1934 года я получил «Свидетельство об окончании Веретенской сельской школы первой ступени» (4 класса). Оценки по всем предметам стояли «оч. хор.», а вот поведение – «уд.». Этим же летом мама увезла меня в Котлы, где уже поселилась наша семья. Первоначальный период моего житья-бытья закончился.

Мое детство и отрочество в Ситовичах были окружены любящими и любимыми людьми и благодатной природой. И с хутором я расставался горестно. Да, если признаться, я и ныне не перестал вздыхать о нем, как о минувшей первой любви.

Котлы – приграничный военизированный поселок с аэродромом, стройбатом, пограничниками и военными моряками – встретили меня ревом истребителей, фырчаньем грузовиков, пеньем марширующих матросов и эстонской скороговоркой (изрядную долю местного населения составляли эсты да ижоры). Речь здешних русских тоже отличалась от моей: тут не говорили «чаво, рябятя, куды,мень, стрекава, баркан», но – «чиво, рибятя, куда, налим, крапива, морковка». Я был ошарашен непривычной действительностью: увиденное и услышанное мне казалось диким.

В Котлах родители снимали полдома в Малом Конце (был там и Большой Конец) у хороших людей, Ефима и Евфросиньи Спиридоновых. У них был сын Вася, с которым я в первый же день своего новоселья крепко сдружился.

Новый приятель презнакомил меня с местными мальчишками, двое из них – мои одноклассники Федор Каменский и Виктор Рябов, вполне самостоятельные люди, боль-

шие вольники, певуны и удильщики – стали моими задушевными корешами. Рано повзрослевшие добытчики средств к существованию (у Феде отец был казнен в 37-м, у Вити – находился в нетях) не могли не вызвать моего сочувствия. Я и сейчас вспоминаю их с братской привязанностью.

До нового местожительства мы с мамой добрались в полдень. А ближе к вечеру отец повел нас на речку, которая протекала в трех километрах от Котлов. Господи, что это был за подарок мне – река Сума! Открытие и откровение, красота и ласка, колдовская песня, бесконечно близкое живое существо, которое с первой же встречи так глубоко проникло в душу, что я едва не тронулся от радости.

Мы купались в Митькиной яме, глубочайшем омуте в устье Кривого ручья (Кару сари – «Медвежьего ручья» – по-эстонски). В ручье бежала прозрачная, как роса, родниковая водица и водилась прекрасная форель, второе имя которой ей больше соответствовало – красуля. Позднее я вылавливал ее десятками.

Всю ночь я не мог уснуть от переполнивших меня впечатлений и сочинял стихи о счастье.

В первый же выходной, чуть свет, отец увел меня удить форель на далекую Толдовку – угрюмоватую каменистую ледяной воды речку в диком сосновом бору (тогда еще не перевелись дикие, а точнее, диковинные места на земле нашей). И я опять причастился благодати.

Время ушло уже далеко за полдень, солнце не жгло, а ласково грело. Речка переливалась нежнейшей августовской голубенью и радужными солнечными бликами. На перекаате играли крупные форелины. Лес дремал, источая дух жилицы и хвои, а заросли прибрежной таволги и сурепки истекали дурнопахнущим и медом. Как же хорошо здесь было!

Я сидел на плоском валуне и глядел на поплавок, крутящийся и подпрыгивающий в водоворотце. Две очень большие форели уже сокрушили мою леску в шесть конских волосков, и я был начеку. Вдруг позади меня что-то прошелестело, потом кто-то живой стал тереться о спину. Я оглянулся и не поверил глазам: медвежонок! Был он ростом с небольшую собачонку и нисколько не боялся меня. Лохматый малыш бесцеремонно забрался ко мне на колени и тихонько заскулил. Я почесал у него за ухом и в ответ услышал что-то вроде умиротворенного похрюкивания. Дал зверенышу кусок хлеба с вареньем. Тот, не отнекиваясь, съел подачку и облизнулся. И тут!.. У переката раздался предостерегающий рев, и медведица, ростом с сенную копну, заковыляла ко мне. Вопя благим голосом, я пустился к отцу, который рыбачил за поворотом. Глупый медвежонок увязался за мной, думая, что с ним играют. Сзади сотрясала землю разгневанная его мамаша.

Отец, увидев и уразумев опасность, нависшую надо мной, бросился навстречу медведице, предварительно отогнав от меня медвежонка. В его руке сверкнул охотничий нож.

– Беги к стогу, отвяжи Полаза!.. (Гончара мы взяли с собой для разминки. Но к вечеру, чтобы не остался гонять в ночь, привязали у стога.)

Вовремя подоспел пес. Отец крутился вокруг толстой сосны, а разъяренная медведица, поднявшись на дыбы, старалась запустить в него когти. Полаз вцепился в ляжку зверюги, и это спасло отца.

В конце концов медведица не устояла: отбиваясь от наседавшей собаки и гоня перед собой медвежонка, она перебралась через речку и скрылась в мачтовом сосняке.

А мне было страшновато и любо. И я, совсем некстати, подумал вслух:

– Увидь такое сам Иван Шишкин, наверно, написал бы новую картину – «Вечер в сосновом лесу». У него бы получилось еще как!

Возвращались из похода мы уже в потемках. У дома отец остановил меня:

– Рыбалка была что надо!.. Знаешь, давай не скажем мамке про медведицу, а то еще на Толдовку не отпустит.

– А Полаз? Мама ведь догадается, что тут что-то не так: у него же губа разорвана и шкура на боку спущена.

– Пса, конечно, жалко: досталось ему на орехи. Ну да ничего, подлечим. Заживет. А в лесу мало ли с кем он сражился, поди узнай.

– Твоя правда, батя.

Прошу познакомиться с ним.

Отец мой был человеком глубоко русским, незаурядным, странным и трагическим, словом – личностью.

В Первую мировую войну унтер-офицер Николай Григорьев показал себя храбрым воином. В одной из атак ротный был убит, и тогда роту повел отец. Наши пошли врукопашную, взяли немецкие укрепления, захватили три артиллерийские батареи и больше сотни пленных. В том бою отца тяжело ранило. И Георгиевский крест украсил его простреленную грудь.

После лазарета в Москве отца произвели в офицеры и назначили командиром роты в войска генерала Алексея Брусилова. И снова он отличился летом 1916 года в Брусиловском прорыве, был вторично ранен и демобилизован.

Стихи родитель мой любил до самозабвения, знал их множество и недурно читал наизусть. Особенно читал по-

этов Афанасия Фета, Алексея Толстого и Семена Надсона. Сочинять, по его словам, пристрастился смолоду. В 1916 году в Варшаве вышла небольшая книжка «Николай Григорьев. Стихотворения». Автору было тогда двадцать девять лет. Одно стихотворение из этого сборника отец почему-то любил больше других и иногда читал мне его, особенно на рыбалке ночью у костра. А вообще он никогда не афишировал своих произведений, хотя было их написано с дюжину толстых тетрадей в кожаных переплетках.

Светлана, дочь моей любимой двоюродной сестры Екатерины Тимофеевны, пишет, что Николай Григорьев был автором нескольких поэм:

«Я очень благодарна матери, что она много рассказывала, всегда с неизменной симпатией, о своих родных (о тебе особенно много), и дядю Николая я тоже очень живо представляю именно благодаря ее рассказам и чтению наизусть его народных поэм».

Спасибо, дорогая Света, за добрую память! Я знал лишь об одной поэме отца – «Коммунисты, Бог и дьявол», сочиненной им в Котлах летом 1936 года.

Стихи отца в толстых тетрадях погибли в пожаре Великой Отечественной. Но я помню любимое детище Николая Григорьева и дорожу им как частью души близкого и родного мне человека, поэта, которому не улыбнулась Муза. Вот оно:

Я вышел на улицу утром вчера –
Чуть лилися струи рассвета.
Повсюду уж осени скучной пора
Сменила отрадное лето.
Мороз серебристую ткань на земле
Соткал. И уныло глядели

Деревья в холодно-недвижимой мгле,
И листья на них онемели.
Над сумрачным лесом, в туманной дали,
Поднявшись в небо высоко,
Неслись, без умолку крича, журавли
Куда-то далеко-далеко.

Если бы душа твоя порадовалась моим воспоминаниям, батя мой дорогой! Ведь было бы безбожно с моей стороны не помянуть тебя добрым словом: и должник я твой вечный, и кто же, если не я, нынче помянет и оплачет тебя?

Родители мало донимали меня и брата опекой. Мать, бывало, еще поворчит, стараясь приструнить, когда мы уж очень разбаловывались: ну там, в колхозный сад заберемся, или без дозволения сутки-другие проведем на речке, или подеремся до крови, – мать пожурит. А отец только усмехнется.

Однажды, когда меня крепко поколотили старшеклассники, я пожаловался отцу.

– Упаси тебя Бог обидеть слабого. А сильному обидчику дай сдачи. А не можешь – сумей отстать, не празднуя труса при этом. Но не ябедничай: дохлое это дело. Понял?

Реки и речки: Сума, Толдовка, Систа, Кямишь, Святая; озера: Глубокое и Бабинское – заплонили душу и плоть мою.

Река Сума была заглавной среди них, «самой-самой». Она текла в довольно глубокой впадине, по неширокой луговой пойме, окруженной ласковым смешанным лесом. Километров через пять, сделав большую петлю, приняв Толдовку и несколько ручьев, поздоровевшая Сума направлялась в обратную сторону, пока не впадала в бы-

струи лососевую Систу. Верхнее и нижнее русла – Первая речка и Вторая – бежали почти параллельно: одна – вперед, другая – назад. И было от Первой до Второй рукой подать.

Светловодная, скорая на перекатах, извилистая, со множеством омутов (да еще какой глубины!), река затравела на мелководьях, которые мы переходили вброд.

Сколько же разной рыбы было в Суме! В ее верховье (куда мы с отцом нередко наведывались) водились форели и хариусы, а осенью сюда заходили лососи. Ближе к устью гуляли стаи язей. Веснами почти на каждую донку садилось по налиму. А летом мы удили щук и окуней, плотву и ельцов. Нередко на крючок попадались и крупные рыбины. Однажды отец поймал на блесну щуку в полпуда весом, а мой друг Витя Рябов подсек двухкилограммовую плотву: в магазине, где ее взвешивали, не хотели поверить! А какие раки таились в береговых норах и корнях: не замухрышки-семечки – лапты! И столько малины было в прибрежных зарослях, особенно на Второй речке!

Немудрено, что три месяца летних каникул (почти каждый Божий день, да и ночей сколько!) я проводил на рыбалке.

Чего тут не приключалось!

Как-то взял меня батя на рыбалку с ночлегом. Обосновались на Митькиной яме: тут и форели поклевывали, да и другие обитатели трехсаженного вира не брезговали нашими червяками-выползками. Сидим, значит, у костра, пьем смородиновый чай, вслушиваемся в беспокойные звуки ночи и ожидаем зарю. Косматый туман пошевеливается за рекой, сизый дым трепыхается и стелется над Кривым ручьем. Месяц-ветух полуосвещает белесую зем-

лю, иссиня-темную стену ельника и переполненную грозой черную тучу... Проползает десятка два тягостных минут. Темнота сгущается, переходит в тьму крошечную. Ночные бормотания и перешептывания замирают, уступая власть мертвой тишине, тягучей и тревожной. Неожиданно в этом заколдованном царстве блестит ослепительно лиловый зигзаг. Вослед ему – пушечный треск такой силы, что в ушах у меня застревает колотье, переходящее в свистозвон. И пошло: заревел ветер, застонал ельник, завсхлипывало небо, загрохотала тьма. И обрушился ливень.

Мы сиганули в лес и там укрылись под густой елкой. Другой такой грозы я не припомню. Полыхало, лило и гремело часа три подряд. И вдруг в полусотне шагов от нашего убежища из ничего возник светящийся ком. Мне показалось, что кто-то идет с зажженной «летучей мышью». Что за чудак вздумал бродить в такую непогоду и тьму, пусть и с фонарем, по лесу? «Фонарь» небыстро двигался в нашу сторону, то опускаясь почти до земли, то поднимаясь на несколько метров над землей.

– Батя, батя! Гляди! Кто это такой идет к нам с фонарем?

– Кажись, шаровая молния пожаловала. Стой, не дергайся.

Диковинка была почти рядом.

– Замри! – спокойно приказал отец.

Огненная штука проплыла в двух шагах от нас. Она и впрямь была похожа на зажженный фонарь «летучая мышь». Контуры ее были размазанными, нечеткими, матово-красно-лилового цвета. Она часто и однотонно потрыкивала: «Трык-трык-трык!..». Плыла «дочь грозы» медленно, иногда останавливаясь и вращаясь вокруг себя.

На наших глазах небесная бестия уперлась в ель, как бы силясь спихнуть преграду со своего шалого пути. Из такого противоборства, знамо дело, не могло выйти ничего путного. Раздался ужасающий взрыв – будто рвануло вагон тола (мне в войну случалось быть слушателем таких взрывов: очень похоже).

Дерево в два обхвата толщиной было срублено под корень и стало ворохом щепок. Мы тоже рухнули в мох, но отлежались, поднялись и отправились продолжать прерванную рыбалку, благо утро уже наступило и дождь переставал.

А вот еще такое происшествие стоит перед глазами. Батя и я удили окуней на Поповой яме. Подходящий это омуток: и глубина, по заключению огольцов, «ого!» – не всяк ныряльщик дно доставал (по себе знаю), и окуни там жили тоже «ого!» – «горбыли»!

Неподалеку от нас, в молодой отаве уже скошенного приречного луга, паслось стадо деревни Рятель (в те поры крестьяне еще имели обыкновение держать коров). Буренки пощипывали себе травку, а мы то и дело подсекали полосатых красноперых рыбех. Кругом солнышко, затишье, умиротворение и еще что-то неизъяснимое, чистое и возвышенное, завораживающее душу и наполняющее ее верой и любовью. Наверно, это и было счастье, а может, и сама Божья благодать.

Сами собой, легко и складно, роились рифмы, вязались в стихи, переполняя меня лихорадочным восторгом. Их бы записать с пылу с жару, да где там: поплавок ныряет, удилище сгибается в дугу и колючий «горбыль» брыкается у меня в руках. Клюет! До карандаша ли тут.

– Ничего окунек, – батя «полёгал» добычу, – фунта с два потянет...

Его слова перебил истошный человеческий крик. За воплем раздалось жалобное мычание перепуганных коровенок, вслед которому прокатилось трубное, страшной злобы, муканье быка. Огромный бугай швырял и подбрасывал на рожищах пастуха.

Отец схватил горящую в костре валежину и крупным скоком рванулся на помощь. Кое-как он отбил бедного дедка у расสวิрепевшего скота, взвалил раненого на плечи и, отмахиваясь от обезумевшей животины дымной головешкой, стал отступать к реке. Добравшись до берега, батя бросился в воду. Я – за ним.

Бык в реку не полез, но сокрушил наши удочки, корзинки с добычей, банки с червяками и другие манатки. Но нам было не до манаток: мы волокли тяжело раненного пастуха на шоссеиную дорогу, чтобы на попутке отправить в Котлы, в больницу...

Страшные случаи быстро забывались и моего ребячьего пыла ничуть не охлаждали. Все кругом и около было своим, родным, дорогим. Чего тут было бояться!.. Спустя два года, перейдя в седьмой класс, я так узнал Суму и так настропалился удить, что в этом деле мог потягаться хоть с кем.

Но не один голый азарт рыбалки гнал меня на любимую речку. Не одни только поплавки видел я перед собой в прекрасных омутах Сумы. Закаты и восходы, ночи и дни, прибрежные луга и лесные гривы, часы полного одиночества и ватага верных друзей-огольцов – становились неотъемлемой частью бытия, творили во мне Человека, будили жажду Жизни, Поэзии и Отдачи.

В первый день осени 1934 года я стал пятиклассником Котельской средней школы, где и проучился без малого три года – до весенних каникул 37-го.

Школа наша помещалась в великолепном особняке, можно смело сказать – дворце. Здесь когда-то было старинное дворянское гнездо: на фронтоне значилась дата постройки – «1837». Двухэтажное здание с колоннами, флигелями и парадным подъездом стояло на вершине довольно крутого склона. А по склону лет сто тому назад, если не все двести, старыми хозяевами имения был разбит большой парк из вековых лип, кленов и ясеней, в тридцатых годах XX столетия побитый и брошенный «молодыми хозяевами земли», которые «покоряли пространство и время».

Учился в Котлах я не ахти как: не хуже, да и не лучше многих ребят. Школа была как школа, педагоги – люди как люди, кроме одного – учителя немецкого языка.

На первом же уроке, когда Фридрих Августович прочитал нам по учебнику: «Ди фабрикен раухен»¹, я возразил:

– Раухен ферботен!²

– Во канст ду дойч?³ – спросил учитель.

– Их зельбст вайсс нихт, лерер⁴.

После уроков немец привел меня к себе и познакомил с домочадцами – женой, дочерью и сынишкой. Все трое совсем не умели говорить по-нашему. И я стал их учителем русского и, одновременно, учеником немецкого.

Фридрих Августович Гельманн, немецкий коммунист, поклонник ВКП(б) и друг красной Москвы, бежал вместе с семьей из проклятой нацистской Германии в страну, «где так вольно дышит человек».

Прошло месяца два-три, и я всем сердцем привязался

¹ Фабрики дымят (нем.).

² Курить воспрещается! (Нем.)

³ Откуда ты знаешь немецкий? (Нем.)

⁴ Я сам не знаю, учитель (нем.).

к «нашему немцу», как его окрестили школьники. Да и учитель относился ко мне по-свойски. Это был редкостный человек – мудрый, повидавший многие страны мира, крепко образованный, сердобольный, прямой и простой. И наставник настоящий. К тому же он отлично знал русский язык и писал хорошие стихи на немецком.

Сколько немецких книг я перечитал в доме учителя! Сколько народных песен услышал! (По вечерам супруги Гельманны частенько – и так голосисто, так слаженно и трогательно! – пели.)

Как сейчас вижу его кругловатое скуластое лицо с широким лбом и черными грустными глазами, его короткие усы «бланже», невысокую коренастую, слегка кривоногую фигуру. И добрую, чуть насмешливую улыбку. И слышу голос, доверительно-ласковый, негромкий, поокливающий:

– Милая Мария Васильевна, ваш сынок, мой ученик Игор – порядочный малый, но у него есть одна болезнь – ленус. Из уроков он только и знает русский да немецкий. Но зато какой ребенок, к тому же поэт!..

Слышать эти речи мне было хотя и стыдно, но весьма приятно.

В радости, мире и вольности незаметно промелькнули три лета и три зимы.

Подкрадывался гнусный 1937-й – год кровохлёб, год людоед. Господи, какого произвола пришлось мне быть свидетелем!

Фридриха Августовича, его жену и детей, семи и пятнадцати лет, обвинили в шпионаже и прикончили. Батек почти всех моих приятелей посадили и вскоре расстреляли.

Многих из них я знал: это были простые люди – кре-

стьяне, рабочие, русские, эстонцы, ижоры... Я ломал голову и не мог уразуметь: как это самый что ни на есть народ стал «врагом народа»?

И тут страшная чаша недоумения, страха и жалости переполнилась. Вот что было последней каплей.

В нашем доме жил бывший священник, девяностолетний отец Иван. Он учил меня добру и смирению, рассказывал о старом времени, давал читать интересные – не запрещенные – книги, помогал, чем мог. И лишь иногда, глядя в пол и протягивая деньги, почти умолял:

– Сняйше, принеси мне лекарство от всех скорбей!..

Я отправлялся в железнодорожный магазин и покупал там бутылку «московской», которая стоила тогда шесть рублей...

Еще полгода тому назад мама и папа вдруг «не сошлись характерами» и расстались. Сказав матери на прощанье: «Будь благополучна, дорогая!» – и земно поклонившись, отец забрал брата Льва и гончара Полаза и насовсем уехал под Псков, в поселок Плюсса. Я остался с мамой...

Было утро первого дня весенних каникул. Отчим и мать уехали на работу. Разбуженный шумом и суматохой, я выглянул за дверь. А там!.. В сенях два мента за волосы волокли отца Ивана. Начальник со «шпалой» в петлицах держал несчастного за сивую бороду и погано ругался. Священник не сопротивлялся и молчал.

Я заплакал:

– Товарищ капитан, дяденька начальник, не надо! Пожалейте дедушку. Он совсем старый и никому не сделал никакого зла!

Но меня будто не слышали. Тогда я попытался силком освободить бороду батюшки, вцепился зубами в пятерню изверга. Товарищ капитан завизжал, повернул меня спи-

ной к себе и изо всей мочи хватил носком хромового сапога под зад. Я отлетел за дверь нашей комнаты, сплюнул кровавую лепешку и бросился в угол, где стояла большая прутяная корзина. Там лежал «ТТ» отчима (тогда офицеры имели личное оружие).

– Руки вверх, гады! – заорал я, махая пистолетом.

Начальника и его ментов как ветром сдуло. Трясаясь и захлебываясь от слез, я наклонился над отцом Иваном. Дедушка был мертвый.

Скандалная вышла история, да и мал я был тогда, поэтому меня не тронули, но «посоветовали» держать язык за зубами и убираться из Котлов, куда глаза глядят. Мне не оставалось ничего другого, как отправиться вслед за отцом, подальше от греха: с властями в то безвременье шутки был плохи. Кстати сказать, отчима «за халатное отношение к оружию» исключили из рядов ВКП(б) и убрали из Котлов – перевели в военный городок Гора Валдай, базу форта Красная Горка.

Отроческий период моей жизни, такой животрепещущей и благополучной, закончился горьким горем: в начале апреля 1937 года я простился с матерью, с друзьями, с рекой Сумой и переселился на Псковщину, где предстояло вкусить самостоятельной жизни и провести семь лет.

Избушка наша в поселке Плюсса (Совхозная улица, дом 8) упиралась в кочковатое закустаренное болото, из которого вытекал ручей, превращенный в глубокую канавину. (В войну в этой щели мы прятались от бомб. Возможно, кто-то занедоумевает: «Как это прятаться в канаверучье? Ведь там же вода и грязь». Поскольку дело это бывалое, поясню: когда с неба, чуть ли не на голову, сыплются бомбы – грязь в убежище, а тем более вода не в счет. И не в такую дыру залез бы, кабы подвернулась!..)

Но до войны еще целых четыре года, поэтому пребудем в мире и войдем в наше жилище. Две клетушки о трех оконцах, двадцать квадратных шагов жилплощади – пять в длину, четыре в ширину – вот что такое наша избушка. В кухне было одно окошко, большая плита справа, помост из досок у задней стенки – моя и братова постель, колченогий стол, скамейка и три табуретки. В спальне – письменный стол, железная кровать отца и пара стульев.

Когда-то в этом строении находилась сушилка. Но мы в сушении не нуждались, ибо и так были довольно сухи благодаря тогдашним харчам. Жили по принципу: не до жиру, быть бы живу. С нами на равных проживали два славных существа – высоких кровей гончар, англо-русский выжлец Полаз и крупнуший, с полпса ростом, полосатый кот Касьян, который нередко приносил в дом то зайца, почему-то черного цвета, то тетерку белого пера, то еще чего съестного.

Теперешняя Плюсса, в которой поселилось множество сельских беглецов двух тогдашних районов – Плюсского и Лядского, не идет и в какое сравнение с Плюссой моей юности. Тогда это был ухоженный поселок с населением под две тысячи душ (сейчас тысяч семь человек). Железнодорожный вокзал, три магазина, столовая, казенка, пивная, даже церковь (наглухо заколоченная) были бревенчатыми. Каменных строений имелось только два – Белая школа, где учились первые-шестые классы (бывший помещичий дом) и пожарка. Да и здешние улицы можно было на пальцах пересчитать – не больше пятнадцати значилось их в райцентре.

Почти все плюссичи знали друг друга и относились один к другому доверчиво и доброжелательно, по-русски простецки и задушевно. Разные у всех были характеры и

судьбы, но добрые люди умудрялись жить в мире и согласии, будто большая ладная семья.

Имелись в Плюссе люди особенно почтенные, знаменитые на весь район, а то и дальше. Не партфункционеры, не совкраснобаи, но великие труженики, мастера золотые руки, чудодеи-умельцы – творцы всех статей. Упоминаю граждан, особенно чтимых.

Николай Петрович Богданов – «Коля Могель»: тот, кто может. И действительно, чего только не умел он и чего только не мог. Любое дело, за которое брался этот стройный сухощавый красавец с белой повязкой на правом глазу, ему удавалось на славу – хоть земледелие, хоть механика, хоть торговля, хоть еще что. Он был закоперщиком многих новых начинаний, которые обязательно доводил до благополучного конца. В Плюссе его еще величали заводилой.

Я и нынче дружу с милыми дочерями Николая Петровича – Людмилой и Ларисой.

Константин Константинович Лапин, учитель химии и биологии, наш строгий и благородный «Кассин Кассинич». Высокий, костлявый, лысый, горбоносый и больше ротый человек этот светился светом, который может излучать лишь чистая неподкупная совесть.

Меня к нему притягивало, как гвоздь к магниту. В судьбе моей он принял отеческое участие и сыграл важную роль, о чем ниже расскажу...

Был Константин Лапин хозяином, каких поискать, образованнейшим педагогом, глубоким и тонким знатоком человека, врачом телесных и душевных недугов наших, мудрецом и непререкаемым авторитетом в поселке.

Иван Михайлович Воронцов – «Вася Сазоновский», плотниксамоговысокогокласса,столяр-краснодеревщик, денный и нощный труженик (я всегда ломал голову: когда же он отдыхает?), могучий человек, умница и балагур. Иван Воронцов был плотен и мускулист, рыжеват, имел крупный, с большой горбинкой нос, жилистые руки, которые, за что ни брались, все делали добротнo. Глаза у него были синие, наивные, совершенно детские, не замутненные ни злым умыслом, ни корыстным поступком. Я дружил с его сыном Сергеем, парнем лихим и озорным, но очень добрым, жалостливым и сердечным. Сережа погиб на передовой в блокадном Ленинграде.

А в дяди-Ванину дочь Раю, мою ровесницу и однокашницу, я влюбился с первого взгляда аж в 1937 году. Мы и сейчас с Раисой Ивановной остаемся настоящими приятелями.

Не одну дюжину добротных домой в Плюссе поставил и отделал почтенный Иван Михайлович Воронцов. И за всю жизнь не навредил ни одному человеку.

Дмитрий Григорьевич Жуков, атлет и борец, уложивший на обе лопатки не одну знаменитость. Ему ничего не стоило без роздыха пронести двенадцатипудовый тюк от вокзала до склада на рынке, где он работал заведующим, – расстояние метров пятьсот.

Дмитрий Григорьевич роста был среднего, но очень широк в плечах. Руки у него бугрились такими бицепсами, что напоминали канаты. Силач поднимал тонну груза, чего в Плюссе никто не мог повторить. И столь же, сколь силен, был он уравновешен, спокоен и нетороплив, даже застенчив. Про него в Плюссе бытовало мнение: Митя Жуков воды не замутит.

Степан Федорович Клемин, конюх, влюбленный в лошадей, как скряга в золото. И не только в лошадей. Я был свидетелем, как в войну дядя Степа, партизан хозчасти бригадной разведки, стоял со «шмайссером» в руках перед мясниками, заслонив трофейную стельную корову.

– Корову извести не дам! Она же с теленком! Перестреляю, коли што!..

Но тягловая сила являлась первостепенной заботой. Лошадки у конюха – все семь – были гладкие, обихоженные, на редкость чистые и ручные. За своим «нянем», когда отправлялись в ночное или на купанье, они следовали без недоуздков, как дрессированные собаки за хозяином. Они не знали норова, понимали речь конюшего и только что не умели говорить сами. Были медлительны, хрупая овес, и отличались резвостью в дороге. Поселковый люд знал, что сказать о конюхе и его лошадях:

– Кавалерия Степана Клемина!

...Весенние каникулы отвеснели. Четвертую четверть я встретил на задней парте седьмого «а» Плюсской десятилетки. И в первый же день занятий попал в немилость к одноклассникам. А было так:

– О, у нас новенький! – сказал учитель химии. – Посмотрим, на что ты годен, парнище. – И стал гонять меня по таблице Менделеева.

Я был «в ударе», да и суть таблицы – валентность элементов – понимал.

– Подходяще! Честное химическое, подходяще!

Ребята мой триумф встретили без воодушевления.

Заканчивался этот день немецким. Немка, записав мою фамилию в классный журнал, предложила:

– Битте¹ к доске, геноссе² Григорьев!

– Кайн геноссе, их бин камерад³, – ответил я.

– Что-что? – переспросила учительница немецкого по-русски.

И я заговорил на немецком. Но номер не прошел.

– Да ты, как погляжу, больно учен. Посмотрим, что знаешь из грамматики.

Из грамматики я мало чего знал. И жирная двойка по немецкому языку угнездилась в моем дневнике под пятеркой по химии.

Когда мы отправлялись по домам, чернявая, очень симпатичная и страшно гордая Рая Воронцова, хозяйка первой парты, бросила мне:

– Что, выхвалился? Над тобой все ребята смеются. Эх ты!.. – сказала и пошла на улицу как ни в чем не бывало.

Это было уж слишком. Я догнал девчонку и, чтобы остановить, схватил за портфель:

– Ты завидуешь мне, чернуха...

Моя корительница поглядела на меня с насмешкой и грустно повторила:

– Эх ты!.. А сумку принесешь к нам домой. Да смотри не растрясси ее по дороге!

И, оставив мне портфель, убежала за подружками.

Волей-неволей пришлось исполнять повеление горячки. Вечером я пришелся к Воронцовым. Была суббота. Хозяева только что пришли из бани и сидели за самоваром. Перед главой семьи стояли сороковка и закуска – большая сковорода яичницы со свиной (с утра я ничего не ел, вот и далась мне эта сковорода).

¹ Пожалуйста (*нем.*).

² Товарищ (имеется в виду – по партии) (*нем.*).

³ Не товарищ по партии, я – просто товарищ (*нем.*).

– Рая портфель просила занести, так вот я его...

– А-а, зятек! Будем знакомы. Садись к столу. Настя, место дорогому гостеньке!

– Ваня, перестань, не видишь, мальчишка со стыда сгорит... Ты, сынок, на него не обижайся, он со всеми так неуклюже шутить изволит. Ты садись за стол, подкрепись. Слыхала я про вас...

Когда, накормленный и обласканный, я уходил от Воронцовых, Анастасия Прокофьевна завернула в холстину большой шмат сала:

– Снеси твоим. У вас такого нету. Свое.

Река Плюсса протекала совсем близко от нашего поселка, всего в каких-то полутора-двух километрах. Большая река. Щедрая река. Чистая река. Родная река. Кабы не она, наше меню было бы – хлеб да чай. А так мы жили припеваючи: рыбы всегда налавливали на уху и на жаренку. И рыбы крупной, первосортной: язей, голавлей, щук, линей, налимов, даже угрей и жерехов. Про окуней, плотву, ельцов и говорить не стоит. Словом, кормились. Хотя ехидная русская пословица «ружье да уда кормят худо» в известной степени не лишена оснований.

Но удочки – это летом. А зимой – чего есть? Выручай, охота!

В четырнадцать годков я стал всамделишным охотником, получив от отца подарок в счет окончания семилетки – ружье «Лебо» и гончара Полаза. Полаз крепко помог нам продержаться в полуголодное довоенное время.

Вспоминается такой случай. Я – ученик восьмого класса. На целый год мы с братом Львом остались одни в Плюссе. После школы я бегу за стадион, в лес, на охоту. На снегу – ледяная корка после недавней оттепели, и лапы у моей со-

баки ободраны до крови. Не то что бегать, ходить больно. И пес виновато возвращается из кустов, бросив гнать поднятого русака. Долог ли зимний день? Время к закату. Мороз под тридцать градусов. Дома ждут меня выстывшая плита и голодный брат. И я уговариваю псину:

– Полазушка, миленький, худо наше дело. Пожалуйста, поднимайся как-нибудь, полай: пригони косога под выстрел!

Собака понимает меня, глядит укоризненно, коротко взлаивает и продолжает гон. Через полчаса заяц – у меня в руках. Темнеет. Я выгаскиваю – на дрова – жердину из колхозной изгороди (благо все – наше) и, довольный, спешу домой.

Этим вечером мы сыты и в избушке у нас тепло.

А вот еще одна наша с Полазом охота. Начало января 1940 года. На градуснике – сорок мороза. Одежка на мне – фуфайка. Валенки нет. Но идти надо: есть нечего. Обматываю ботинки тряпками. Кликаю собаку. Идем по узкоколейке к реке. Полаз поднимает русака. Я стою у кромки болотины наготове. Гонный заяц выскакивает на поле и садится в двадцати шагах от меня. Цельсь в косога, но спустить курок не могу: так заоченели пальцы. Заячонка замечает меня, пробует прыгнуть, но падает и барахтается в снегу: задние лапы ему не подчиняются... Мороз пошел на пользу: у нас будет обед. Маню гончара. Но тот лает на одном месте и не является на зов: похоже, зовет меня к себе. Иду на лай и вижу разрытую кучу хвоста и очень крупного хоря, лежащего на снегу. Полаз виновато виляет хвостом, будто извиняется: добыть добыл, а принести не мог – больно духат бродяга. Ты уж не обессудь, хозяин.

Я не скрываю радости:

– Крупный зимний хорь – это же целый восемнадцать рублей! Молодчина, пес! – и обнимаю гончара.

Не поведать об одном «ЧП» – значит ничего не рассказать о Полазе. Однажды весной выжлец куда-то подевался. Прошло месяца четыре, наступила уже осень. Выхожу как-то утром в школу и вижу: у крыльца лежит полуживой Полаз, кожа да кости, с обрывком железной цепи на шее. Кое-как мы выходили бедолагу...

– Николай Григорьевич, – признался плюский шофер отцу, – диву даюсь, глядя на эту собаку. Она заслуживает того, чтобы я покаялся. А ты меня извиняй. Охотник я. Собаколюбие во мне. Вот эфти сто рублей, за которые был продан Полаз. Они твои по праву хозяина. Хочешь знать, как дело было?

– Говори, Алексей Иванович.

– Отвез я, значит твоего гончака на машине в Лугу. А в Луге покупатель – на поезд его и в Питер. А там скорый – и в Москву. А из столицы, на электричке, – в Сергиев Посад. Дальше, в автобусе, до нового местожительства... И что бы вы думали: пленник сокрушил цепь и убег домой. Недель пять был в пути, с тыщу километров, ежели напрямик, покрьл. И не сбился с дороги. Нашел Плюсу. Ну и ну!

– Такие уж мы, Алексей Иванович. Нас лучше не продавать и не покупать.

Полаз был бесподобной собакой. В райцентре и в округе не было ни гончего, ни поединщика, ему равного. Все поселковые псы – от мелких шавок до крупнущих овчарок – признавали его первенство и при нем вели себя культурно и смирно. Он прожил долгую, по собачьему счету, жизнь – семнадцать лет и пал в 1943 году от германской пули, бросившись на оккупанта.

Да будет благословенна жизнь, в которой как среди

людей-братьев, так и среди «братьев наших меньших» не переводятся существа весьма значительные и яркие. И их на белом свете больше, чем нам порою кажется.

Понадобилось полвека с гаком, чтобы понять: а ведь тогда мы жили (в удивлении), а вот теперь пребываем (в недоумении). Но по-тогдашнему жилось нам – и материально, и морально – туговато, как выразился бы соцспец нынешнего дня.

Очередь за хлебом мы занимали чуть свет, а если появлялся сахар, то с вечера становились в людской хвост. Помню, мы с Лекой глядели на конфеты «Белая ночь» и их цену – 18 руб. кг – и диву давались: неужели есть такие люди, которые едят эти конфеты?

Я подрабатывал, как мог: ловил кротов, собирал ягоды и грибы для заготконторы, грузил дрова, был подсобником – «агентом по сбору пушнины» – в охотничьем магазине отца. И, конечно же, рыбалил и охотился. Брат помогал мне изо всех сил.

Веснами в реке Плюссе на донки хорошо ловились налимы, а иногда попадались и угри. И от конца ледохода до просветления и потепления вешней воды два-три раза в неделю мы ночлежничали на рыбалке.

Пару недель спустя, когда вода прогревалась и налимы переставали браться, а другая рыба еще слабо клевала, я с головой окунался в охоту, празднуя вечерние зори на тяге, а утренние – на току. Какие это были тяги! За вечер пролетит – «протянет» над тобой – вальдшнепов пятнадцать. И что это были за тока! На ином птичьем ринге билось, горланило и ликовало тетеревов по тридцать. Хорошо хоть, что стрелок я тогда был отнюдь не «ворошиловский» – большого губления природе не причинял.

Когда я учился в девятом классе, со мной приключился некий казус, который окончательно сблизил меня, даже, пожалуй, породнил с учителем химии Кассин Кассиничем.

А дело было так. В субботу, после занятий в школе, отправился я в деревню Лешевицы, что находилась в семи километрах от Плюссы, на охоту. Тяги и тока там были отменные.

Я побродил по лесу и болоту несколько десятков верст, двое суток не спал, уморился так, что искры сыпались из глаз. Утром в понедельник, оседлав свою последнюю парту, я сначала задремал, потом заснул как следует и наконец сладко захрапывал. Класс захихикал. Шел урок химии. Учитель подошел к моей парте и долго стоял молча, качая головой. Класс затих, предвкушая потеху. А мне снился хороший сон: будто подобрался я к больше-енному, с банный котел величиной тетереву. Птица не чует беды, токует-заливается, а я шарю в патронташе жакановскую пулю, чтобы наверняка завалить великана. И вдруг он как налетит на меня, как долбанет! Я открыл глаза. Константин Константинович, ухватив костлявой пятерней за ухо, будил меня:

– Встать, мерзавец!..

А пару недель спустя, когда педсовет решил исключить меня из школы «за неблагоприятные стихи», он же, мой дорогой учитель химии, встал горой на мою защиту:

– Выгоните Григорьева – гоните и меня. Один из школы он не уйдет.

И я, вместо «волчьего паспорта», получил табель успеваемости, где фиолетовым по белому было написано: «Переводится в десятый класс».

Выпускной класс требовал серьезной учебы, так что от

приработка мне пришлось отказаться. А семья наша в это время разрослась до шести душ (мачеха, две маленькие сестренки и мы). Ни земли, ни живности, кроме гончара Полаза да кота Касьяна, у нас не было. Хлеб стоил 95 копеек кг. Зарплата отца – 400 рублей в месяц минус заем (две зарплаты в год) и налоги. Чистых – три сотни на шестерых, или 1 рубль 67 копеек в сутки на едока.

А тут новая денежная напасть: сто пятьдесят целковых в год со школьника – плата за обучение. Денег этих, видит Бог, у моего отца не было и быть не могло. И вылетел бы я из школы как злостный неплательщик, когда бы не выручил мой славный Кассин Кассинович. Он внес деньги за меня. А ведь у Константина Лапина, кроме его большой семьи да скромной зарплаты, ничего не было.

В феврале 1941 года меня вызвали в военкомат и предложили поступать в военное училище. Военком объяснил коротко и ясно:

– Все равно от армии никуда не денешься!

В марте я сдал досрочно экзамены, получил аттестат зрелости и с пятого мая стал курсантом бывшего Пажеского корпуса – Ленинградского пехотного училища. Но проучился там лишь малую толику. Заболели глаза, и 15 июня 1941 года я вернулся в Плюссу.

До конца моей юности оставалась ровно неделя. Но прошла она, и вот – «Гореванье»:

Как ты глухо стонешь, Поле,
Выбито стальной пятой.
Может, не было русской доли –
Колос не звенел литой?

Как ты горько тужишь, Речка,
Братскою могилой став.

Может быть, забиться сердечку
Первый час еще не настал?

Как ты тяжело дышишь, Небо,
Желтые крыла неся.
Может, жизни еще и не было? –
В пламени планета вся!

(1941, Плюсса)

Отечественную войну я встретил и провел на Псковской земле. Хлебнул унижения, тоски, горестных тревог, черных мук оккупации. Время-лихо, жуткое время, до предсмертного вздоха своего не перестану вспоминать о тебе! И у последней черты не отрекись от ненависти к атрибутам фашистов, правильно – национал-социалистов: кровожадности, подлости, холуйству и шкурничеству!

Про военное лихолетье собираюсь написать роман «Горит вьюга», о котором давненько помышляю.

В годы германского нашествия было суждено мне стать руководителем плюских подпольщиков и возглавить группу разведки во вражеском тылу...

Глаголовать об оккупации, задыхаясь ли от страха, или захлебываясь от ярости, поносить ее, пусть даже самыми гнусными словесами, наделяя проклятейшими эпитетами и изощреннейшими метафорами, – все равно ничего не сказать о ней. Оккупацию, наверно, нельзя выразить ничем и никак. Разве что песней. Песни мои в оккупации были горестны.

...Никому спасенья от крестов безбожных!
Никакого лета в убиенных пожнях.
Грех и разоренье, кровь и униженье.
Умирают села, как в костре поленья...
Обмерла осинка у горюн-крылечка,
Будто потеряла знобкое сердечко, –

Горькая не может в быль-беду поверить:
Мертвых не оплакать, горя не намерить...

(«Лихо», 1941)

Но мы слышим, слышим, слышим
Жаркий голос русской вьюги.
Да! Мы дышим, дышим, дышим –
Копим жилистые руки.

(«Непокорство», 1942)

Оккупация – это свои люди сами не свои, чужеземцы вокруг и около, анабиоз жизни, полицаи, подпольщики, есть очень хочется, но еще пуще жаждется жить. И заново нарождающаяся, поправная, но бессмертная вера в Бога, и, как Божий дар, любовь к Отечеству и свободе с надеждой на спасение и Победу.

Немцы вернули крестьянам землю. И всего за два года, без всякой техники, бабы да старики ухитрились произвести столько хлеба, что его хватило и для налога, и для прокорма партизанской многотысячной братии, и для себя, и для товарообмена, и осталось даже для пожаловавших на отвоеванную землю колхозов (хотя возвращения колхозов крестьяне боялись).

Все это и много чего иного – оккупация.

Знамя у немцев было ошеломляющее: кроваво-красное полотнище (обычно из шелка), на которое нашит белый круг во всю ширину, а в кругу, опять же нашита, толстая абсолютно черная свастика – Hakenkreuz, «крюк-крест».

Такое знамя висело в Плюссе на флагштоке перед солдатским казино (бывший банк). Когда его касался ветер, оно начинало шевелиться, будто ползла неимоверно мерзкая и страшная гадина. Оно повергало в трепет и вгоняло в ужас проходящих мимо невольников. Не буду запираться: на себе испытал.

Какие же они, немцы, если судить о них не понаслышке? А вот какие.

13 июля 1941 года, в день захвата Плюссы чужеземцами, я пробрался в оккупированный поселок и завернул в нашу хату. Она уцелела от огня и железа, но там уже поселились трое солдат. Один из них, долговязый, нескладный, черный ефрейтор с мальчишеским лицом и капризными губами, на которых и молоко-то как следует обсохнуть не успело, оглядел меня и спросил:

– Тебе сколько лет?

– Через месяц – восемнадцать будет. А тебе?

– Девятнадцать было месяц назад. Давай бороться! – сказал он и, не дожидаясь ответа, схватил меня в охапку, зажав так крепко, что я едва не задохнулся.

Скажу, не хвляясь: был я в те поры хотя и тощеват с виду, да жилист. И к разного рода схваткам и борениям – от «кто кого пересидит в парилке» до «кулачков» – годился. И падать в грязь лицом перед немецким молокососом мне, русскому водохлебу, было негоже.

Вначале пришлось ой как туго, и все мои силенки уходили только на то, чтобы устоять на ногах. А потом, спустя минут десять, немец стал обмякать, и мне удалось подпятить его к сосновому пеньку, за который фриц зацепил сапогом и полетел наземь. Тут я крепко-накрепко повис на нем: как он ни взвивался, ни ерепенился, сбросить меня не мог.

За победу мягкая часть моих телес отвела подкованного немецкого сапога. Но я, пусть и такой ценой, крепко понял, что немцев одолеть можно – они хлипки: надобно только выстоять в начале единоборства, выдержать первый нахальный натиск противника и не выдохнуться. А там валяй его наземь!..

Где-то в феврале–марте 1943-го на скотный двор бывшего совхоза «Плюсса» эсэсовцы пригнали роту немецких солдат-штрафников. Глядеть на этих горемык было жалко и страшно, настолько они были замордованы. На вопрос, за что их приговорили к такой жестокой пытке свои же братья и не гуманнее ли было бы просто убить их, охранники отвечали одно и то же, видимо, крепко заученное: «Осужденные – воры, которых мало убить. И каторга их имеет большой политический смысл».

Как-то к нам домой забрел один из этих штрафников. Лицо и уши горемыки были отморожены и представляли сплошную рану. На одной ноге у него был ботинок, на другой – какой-то опорок. Он рассказал, что штрафники никакие не воры, но они не угодили фюреру и «новому порядку», отказавшись воевать. И за это всех их ждет лютый конец. Еды им почти не дают. Их заставляют выполнять совершенно бессмысленную работу: уминать снег на поле, ни для чего долбить лед на реке, зряшно черпать в проруби воду, относить ведра на сто шагов и выливать на лед, на себе таскать песок из карьера и высыпать его в промоину... Помещения, где они ночуют, не отапливаются. Их бьют плетками и палками не только надсмотрщики, но все, кому не лень. Их можно забить до смерти: ведь они «воры» – враги честного райха.

И я ужаснулся: не только жестокосердый Восток, но и сердобольный Запад, воплощающий бредовые идеи вождей и партий, дьявольски безбожен.

Оккупация! Захватчики и захваченные, усмирители и непокоренные. Много чужих и еще больше своих. Своих по русскому духу и по ратному делу. Но слово мое о самых близких из близких.

Лев Николаевич Григорьев – при его жизни самое близкое и дорогое мне дитя человеческое – мой родной брат,

кровный друг и почти сын. Да-да, сын, хотя он и родился всего двумя с половиной годами позже меня – 26 февраля 1926 года. Не считая редких и коротких расставаний, мы жили с ним вместе единой душой от первого его приветственного всхлипа до последнего стона, выплеснутого им в бою 26 сентября 1943 года – в семнадцать с половиной лет.

Был Лека (так его все звали) лучше меня: проще, спокойнее, сильнее, рассудительнее и, наверно, талантливее. Стихи он любил не меньше меня, да и писать их начинал не хуже, чем я. Проба его пера сгинула в огневороте войны.

К семнадцати годам Лев перерос меня на полголовы, да и плечи у него раздались пошире моих. Никто из его сверстников не мог потягаться с ним силенкою, и я в том числе. Был он белокур, лобаст и сине-синеглаз. Его крупный «римский» нос, чувственные губы и мягкий красивый подборок с ямочкой выказывали натуру влюбчивую, верную, сильную и сдержанную.

Мой брат имел тонкий музыкальный слух и очень хорошо пел.

Лев крепко жалел зверей и птиц, не любил охоту, отказывался ловить даже кротов, хотя за их первосортную шкурку заготовители платили по рублю. Но не рыбачить он не мог: чем-то надо было кормиться...

Когда у нас было нечего есть и добыть съестного не удавалось, мы довольствовались стихами. Рифмы натошак – это совсем не то, что лирика после плотного ужина и сладкого вечернего чая с пирогами. Совсем не то! Испытайте, сами убедитесь в правдивости моих слов.

Любимыми нашими поэтами были Александр Блок, Алексей Кольцов и Афанасий Фет. Сергея Есенина к нам

не пуцали, и мы лишь понаслышке знали о величайшем певце Руси. Читали мы охотно поэтов-классиков. Да и прочих поэтов, если они попадались под руку, не обходили стороной. Не забывали мы и самих себя – тоже почитывали. Лев знал наизусть всю поэму Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и иногда часами читал ее собравшимся в нашем домике ребятам, а то и взрослым.

Лев хорошо знал немецкий язык (знал он и испанский), работал у немцев на продуктовом складе грузчиком и в подполье был незаменимым разведчиком. По его данным не одна груженная машина врага натыкалась на мину, а ее продукты попадали в руки партизан.

Своих домашних Лев подкармливал: то овса принесет в голенищах сапог, то крупы какой, а то и колбасину умыкнет на складе...

А вот еще незабвеннее существо – Любовь Алексеевна Смурова, моя первая помощница по разведке и подполью, переводчица на плюсской бирже труда.

Любовь до конца пронесла своя тяжкий крест ратоборицы, пролила кровь свою до последней кровиночки, сгорев в пожаре Великой войны. Сгорела, чтобы подогреть в нас веру и надежду на победу и жизнь.

Люба была на год моложе меня. Внешне неброская, курносая, невысокая, крепко прихрамывающая, очень сдержанная и строгая, тихая и застенчивая. Существо это было чистое, гордое, светлое, человеколюбивое, верующее и верное. И обязательное. К войне разведчица относилась, как к необходимой работе, которую надо делать любой ценой.

Весной 1943 года Люба Смурова и я ходили на связь с подпольным центром, который находился тогда у дерев-

ни Машутино Стругокрасненского района. Дорога наша была неблизкой – двадцать два километра туда и столько же обратно, да там немереные версты.

Из Плюссы мы вышли ранним вечером (когда немцы ужинали). За ночь надо было управиться с делами и вернуться домой, чтобы «комар носа не подточил».

Мы миновали совхоз Симоново, оставили позади себя болото Соколий мох, обогнули стороной деревню Радовье и вошли в большой лес. Солнце клонилось к маковкам деревьев. Птицы пели во всю ивановскую. По бокам извилистого проселка цвели медуница и ветреница, а на полях – первоцвет. Было тепло и духмяно. Мы шли, охмелены весной. И лета наши, Любе – восемнадцать, мне – девятнадцать, подбавляли в нашу кровь вешнего хмельку...

И оба мы в этот вечер нравились друг другу. И оба понимали, на что пошли, с кем вступили в единоборство и что может нас ждать по возвращении из партизанского леса в захваченную ворогом Плюссу. Да что там – по возвращении! Может быть, вот сейчас, вот за этим поворотом дороги...

Грозовая обитель,
Заколдованный круг.
И наган-утешитель –
Твой единственный друг.

А лес укрывал нас от недоброго глаза и людского пересуда, птицы и цветы славили жизнь, любовь и красоту, закатная заря обещала ведреный день назавтра. Но нам было совестно и боязно грешных чувств. Мы не посмели даже поцеловаться.

На обратном пути от партизан, обсуждая опасное за-

дание начальника разведки подпольного центра, Любовь Смурова сказала как будто не только себе и мне, но всей ночи, всему лесу, всей замершей земле:

– Я жизни не пожалею для России!

Она не пожалеет...

Однако, пока нас не хватились, вернемся в Плюссу. Там у подпольщиков хлопот невпроворот.

Три месяца – май, июнь и июль 1943 года – для плюских разведчиков были жаркими: ведь служили не за страх, а за совесть, и поединки были не на живот, а на смерть.

9 июня меня вызвал комендант местной комендатуры майор Флото. В кабинете у коменданта сидел лейтенант Абт из фельджандармерии.

– Переводчик немецкой комендатуры обязан быть в военной форме, – сказал Абт.

– Разрешите подумать.

– Думайте. Все взвесьте. На раздумье – трое суток, – бросил Флото.

За полночь я пришел в подпольный центр, благо находился он в это время всего верстах в десяти от Плюссы.

– Почему внеочередной визит? Что случилось, Игорь? – встревожился начальник разведки. Он знал: зря в центр не ходят.

Я рассказал о решении немцев.

– Что надумал делать? – вмешался в разговор командир.

– Ихнюю форму ни за что не натяну на свою шкуру! Хоть убейте!

– Не горячись, – мягко заметил начальник разведки.

– Иван Васильевич, что хотите делайте, не могу. Форму не надену!

– Хватит с него! – утвердил командир. – Утверждаю отказ.

– Спасибо, батько Тимофей Иванович.

Через три дня лейтенант Абт выговаривал мне:

– Не желаете, ваше дело. С завтрашнего дня опять будете вывозить почту. А когда наберем партию на этап, отправитесь в Германию. – И добавил с ухмылкой: – Желаю удачи.

– Данке, экцеленс!¹

Этот разговор происходил в комендатуре утром 11 июня 1943 года. А назавтра, под злорадные смешки земляков, уже второй раз в этом году я вез почту на вокзал, впрягшись в почтовую тележку. Выезжать старался пораньше: мимо вокзала катили немецкие эшелоны на фронт и с фронта. Что ни говори, а мне и на этот раз повезло...

В первых числах августа центр приказал дать сведения о немецкой агентуре. К этому времени нам удалось выявить нескольких немецких агентов – от «цеппелиновцев» до сотрудников СД².

Моей помощницей по разведке была Любовь Смурова, переводчица на бирже труда. На бирже имелась картотека, в которую были занесены все взрослые работоспособные люди Плюсского района.

– Люба, мне нужны карточки кое на кого из картотеки биржи труда. Слушай и запоминай их фамилии.

– Вот карточки, – сказала Люба на другой день.

Я переписал данные карточек и вернул их моей помощнице.

– Немедленно верни в картотеку. А то схватятся и догадуются, что кто-то охотится за немецкими агентами.

¹ Спасибо, ваше превосходительство! (Нем.)

² Служба безопасности.

– Поняла. Но возвращу карточки на место завтра. Сегодня вечером я ухожу на связь с центром.

Любовь Смурова ушла вечером 10 августа 1943 года, унесла сведения о немецких агентах, иные разведданные, увела в партизанский отряд подпольного центра восьмерых наших военнопленных.

Назавтра, в семь ноль-ноль, как было условлено, Люба не пришла с рапортом о выполненном задании. Не явилась она и в восемь часов. И я направился к дому Смуровых. Навстречу мне шла Любина соседка и подруга по работе Галина Бывшева.

– Уходи, Игорь! – сказала Галя. – Любу арестовали прямо на работе. Проходя мимо, Люба, губами, сказала одно лишь слово: «Игорь». И вот жду тебя, чтобы предупредить. Уходи! – И девушка удалилась.

Легко сказать: «Уходи!». Но я не мог этого сделать, не узнав, что с Любой. Домой возвращаться было рискованно. Оружие наше хранилось вне хаты, в земле, и, вооружившись, я отправился на Болотную улицу, к моему товарищу Алексею Степанову.

– Плохи дела, Алеша! Арестовали Любу Смурову. Мне мельтешить в поселке нельзя: могут схватить немцы. Погуляй по Плюссе, узнай, что там делается...

В полдень Алексей вернулся.

– Слышал от наших людей: Люба арестована полевой тайной полицией. В лагере военнопленных взят переводчик Игорь Трубятчинский. С полчаса назад в ГФП привели Любину двоюродную сестру Анну Егорову и ее мать, тетку Ирину из деревни Радовье. Другие подпольщики остались на воле...

Ночь с 11 на 12 августа я провел в доме Алексея Степанова. Не спалось. Какой тут сон. И почти всю ночь писал

стихи. Алексей, поднятый с постели взрывами на железной дороге, спросил, зевая:

– Никак стихи сочиняешь?

– Их, Алеша, такое дело.

– Нашел время.

– Когда же и сочинять, если не в такой момент...

Назавтра, в середине дня, когда я покинул убежище и вышел на улицу, ко мне подошел связной в немецкой форме, сказал тихо пароль:

– Зажги вьюгу!

– Горит вьюга! – чуть не крикнул я от радости. Но это только показалось – крикнул. На самом деле лишь прошептал отзыв. Так велико было напряжение последних суток и такой сильный спад последовал за этим напряжением.

– Вы должны немедленно уходить. Отзывает центр. Брата берите с собой. Домой не заходите: там засада. Дороги перекрыты. Уходите через минное поле. Там нет охраны. Перейдете заминированный участок напротив дома Ломакиных: там – проход. Держитесь. Явка в Машутине у Валентины. Счастливо.

12 августа 1943 года, ровно в 14 часов по вокзальным часам, мы с братом Львом перешли железную дорогу и по Болотной улице поспешили к минному полю. Навстречу нам, как доброе предзнаменование, шла Раиса Воронцова.

– Рая, мы уходим насовсем. Но я приду за тобой. Жди. И прими стихотворение. Много я тебе их написал за шесть лет. Возьми еще одно. Я его сочинил сегодня ночью. Оно – тебе.

Девушка, стоявшая перед нами, была та самая бывшая семиклассница, которую я в 37-м году так неосторожно и так несправедливо обозвал «чернухой». Все эти годы я безнадежно любил ее.

На другой день утром мы добрались до лагеря Стругокрасненского межрайонного подпольного центра в Радовском лесу.

Как стало известно позднее, Любовь Смурову допрашивали в ГФП – полевой тайной полиции – месяц и три дня. Что там было? Бог весть. А я могу сказать лишь то, что после ареста Любы в Плюссе не пострадал ни один человек, тем более подпольщик. И мне Любовь даровала жизнь.

В ночь с 15 на 16 сентября 1943 года, девятнадцати лет отроду, Любовь Алексеевна Смурова и с нею трое подпольщиков были расстреляны в Плюссе, на краю стадиона, у железной дороги, напротив семафора.

К лесу мне с братом не привыкать: и рыбалка с ночевкой, и охота, и походы по грибы-ягоды были для нас привычным и естественным делом. Поэтому лесной партизанский лагерь с первого дня стал нам родным и надежным домом.

Под густой елью, на подстилке из хвойного лапника мы устроились, как на доброй русской печке. Костер на всех был один – в середине лагеря. Его обычно жгли либо ненастными ночами, либо непогодными днями, чтобы не углядели вражки самолеты. В подпольном центре в то время было не много партизан – человек сорок.

Находился лагерь километрах в трех от деревни Радовье Плюского района, в старом лесу, на самой кромке огромного болота Соколий мох. Впрочем, летом и осенью 1943 года центр подолгу не задерживался на одном месте: чаще несколько дней тут, неделю там и опять на новое местожителство. Дольше других мест партизан принимал Зареченский лес.

Партизанские старожилы встретили меня и Льва дру-

желобно и сразу приняли как равных. Но мы глядели на них с обожанием: шутка ли – два года, летом и зимой, про-вести в лесу!

Забегая наперед, скажу: руководитель Стругокрасненского межрайонного подпольного центра и главный командир партизанского отряда Тимофей Иванович Егоров стал мне близким другом на всю жизнь. И я никогда не разлюблю этого замечательного человека. Никогда. Я почитал его как отца. Да и партизаны величали его батькой. А было ему летом 43-го всего тридцать шесть лет.

Тимофей Иванович запомнился мне светлоголовым, широколобым, скуластым и желтолицым. Его мучила язвенная болезнь, а он и не думал покидать поле боя, не собирался бросить свой отряд и отправиться в наш тыл в госпиталь. Со всеми и во всем он был прост, прям и откровенен; с подчиненными вел себя «на равных», мягко и не строго; к провинившимся и повинным относился великодушно и милостиво. И что делало большую честь нашему руководителю – он никогда не проливал людскую кровь зряшно и нам запрещал быть жестокими и кровожадными с противником. За эту мудрую человечность люди платили ему верной дружбой и смелыми ратными делами.

В отряде не сидели сложа руки. Каждую ночь, кроме разведки, засад, диверсий, ходили «на заготовки» – на добычу еды. Иногда мы лакомились провиантом попавшего впросак противника. Но чаще кормились за счет населения, которое уступало нам без особого энтузиазма.

Вскоре после нашего появления в отряде Тимофея Егорова группа партизан, в которую попал и я, отправилась встречать «Дуглас» с Большой земли. Самолет прилетел около двух часов пополудни. На наш сигнал – четыре костра квадратом и костер в середине – было сброше-

но на парашютах около десяти грузовых баулов: оружие, взрывчатка, мины, патроны, одежда, еда. И почта – письма счастливым и газеты. Даже курева и спиртного, хоть и немного, перепало нам из тех баулов.

Приняв самолет, мы довооружились «до зубов» и как следует приоделись. Вечером того же дня группа из семи человек отправилась на «железку». Осуществить диверсию было намечено у самой Плюссы, между железнодорожным мостом и поселком, на 179-м километре. Здесь немцы меньше всего ожидали нападения партизан.

Шли ночью, быстро и скрытно. Следующий день провели в лесу почти у самой железной дороги, наблюдая за охраной полотна и движением поездов, выбирая подход к цели.

Взрыв было намечено произвести с помощью «удочки» – партизанского изобретения. В пакет с толом вставлялся капсюль от гранаты Ф-1 («лимонки»). К чеке капсюля привязывалась веревка из связанных парашютных строп длиной метров 100–150. Такую импровизированную мину устанавливали под рельсы, маскировали и взрывали, дергая за веревку, обычно под паровозом или перед ним. Толу закладывали килограммов 10–15, а иногда и больше.

Стемнело. Настало время разматывать «удочку» и минировать «железку».

– Пойдут братья Григорьевы, – решил командир группы. – Игорь понесет мину и заложит ее, Лев будет разматывать веревку.

Мы были новичками, понимали, что на нас не только смотрят, но нас проверяют «на прочность». С непривычки было не по себе, особенно когда подбирались к дорожному откосу, перед которым для защиты от парти-

зан дыбился завал из поваленных кустов и деревьев, колючей проволоки и всяких побрякушек (пустых консервных банок, бутылок, железок) подвешенных к проволоке и сучьям. Кроме того, и завал, и откос были заминированы минами-сюрпризами. Однако на линию мы заползли благополучно и мину – пуд взрывчатки (сорок шашек) – под рельс угнездили. Я вставил взрыватель, а потом, как мог, а вернее, как умел, закопал и замаскировал смертельный груз. Брат тем временем размотал веревку и насторожил «удочку» со стометровой «лесой». Все пока что обошлось без сучка без задоринки. И мы стали ждать эшелон.

Под утро со станции в нашу сторону направились два патруля. Они шли медленно, освещая карманными фонариками рельсы. У заминированного места немцы остановились, заподозрив неладное. Свеженарытый песок под рельсом и на шпалах выдал нас. Патрули коротко посоветались, опустили на корточки и стали разгребать грунт. Веревка «удочки» дернулась раз-другой, потом ее потянул к себе немец.

– Ключуло. Чтоб им неладно! – прошептал командир. – Дергай!

Грохнул взрыв. В поселке и на железнодорожном мосту раздались выстрелы. Нам ничего не оставалось, как уносить ноги...

В двадцатых числах августа невдалеке от деревни Должицы, когда переходили шоссейку Плюсса–Ляды, наша группа нарвалась на немецких егерей. Бой был неравным и не в нашу пользу. Пришлось утекать. На большой поляне, которую мы перебежали, легло семеро партизан.

До конца поляны, то есть до спасения, оставалось ме-

тров сто. И тут меня хлестнула пуля. Я упал. Неподалеку от меня лежали мои собратья. Немецкий пулемет замолчал. На поляну вышла цепь фашистов со «шмайссерами» в руках. По простоте своей я решил прикинуться убитым и отлежаться. Но не тут-то было! Немцы шли развернутой цепью и стреляли в лежащих партизан. Нет, лежать было негоже! Я поднялся на локтях, поднатужился и прыгнул. Потом сделал второй прыжок, третий... То на руках, то катясь к спасительному лесу, подобно деревянному кругляшу, вскакивая на здоровую ногу, падая, подымаясь, скрипя зубами от боли и моля Бога о спасении, я пробивался к чащобе, чтобы укрыться там, как стреляный дикий зверь. Цепь карателей, не ускоряя шага, шла вперед, пристреливая убитых, а может, и раненых. Меня осыпало автоматными пулями. Потом я вынул несколько из фуфайки, из карманов, из-за пазухи. Три пули торчали в спине. Но счастье было на моей стороне: немцы шли в полный рост, мешая пулемету стрелять. Автоматчики были все-таки довольно далеко, и пули «шмайссеров» не достигали меня на излете, поэтому, полумертвый и полусведенный с ума, добрался я до леса. Немцы дошли до кромки, постреляли по кустам, кинули несколько гранат и вернулись на опушку, под защиту своего пулемета.

Дело было вечером, часов около десяти, наверно. Я перевязал сквозную рану нижней рубахой. Седалищный нерв, как потом выяснилось, был поврежден. Не стану записывать, растерялся я вначале: часов на руке не было, ни компаса, ни полевой сумки, вещмешка тоже не было. А там – патроны для автомата и пистолета, ну и еда какая-никакая, и перевязочный пакет. Темнело в лесу. А может быть, это темнело у меня в глазах. Вскоре я впал в забытье. Очнулся на рассвете от озноба. И пить хотелось огненно.

Рана нагноилась, и нога распухла. Но все равно надо было двигаться. И я пополз к людям. Без них мне было никак нельзя.

Через день меня подобрала на сельском кладбище крестьянка деревни Посолодино Плюсского района Ольга Артемьевна Михайлова. Добрая душа на ручной тележке, ночью привезла меня к себе в глинобитную хату на берегу речки Черной, привела в чувство и выходила.

Спустя месяц на своих двоих мне удалось найти наш отряд. Радостно было вдвойне: и ранения нет как нет, и свои тут как тут.

Однажды утром радист сообщил нам:

– Ночью в Зареченском лесу приземлился «кукурузник». Поздно вечером самолет улетит на Большую землю. Пишите письма в наш тыл.

Брат Лека в этот день был на задании. А я, расположившись на толстом еловом пне, написал короткое письмецо маме, которую война застала в городе Ораниенбауме (Ломоносове, шутовское название – Рамбов). Потом я, чуть ли не весь день, сочинял стихи о нашей тогдашней жизни, чтобы приложить к письму. Вот что у меня получилось:

Письмо

Мы в надежном месте, мама,
Все спокойно. Тишина.
Вкруг – природа: дача прямо.
И как будто не война.

Я и жив, и в полной силе:
Вишь, как бодро речь веду.
Коль в плену не уложили –
На свободе ль пропаду.

Лека наш ершишек удит –
Есть надежда на улов.
Да к тому же скоро будет
Вдоволь ягод и грибов.

Так что, так что до удачи
Недалече, милый друг...
Я пока сижу на даче,
Лажу «удочки на щук».

Тут была одна загвоздка:
По березнику кружа,
В трех верстах от перекрестка,
Наступил я на ежа.

Еж военный – зверь колючий:
Взял и ногу занозил.
Не таюсь, случился случай:
Лес не милует мазил.

Но меня не удручает
Тот конфуз и перешлет.
Поговорка выручает:
Все до свадьбы заживет.

Ты-то как в своем Рамбове?
Ждешь сыночка у крыльца?..
Ах, в Рамбове не в Тамбове –
Ад блокадного кольца.

Фронт в пяти верстах, не где-то –
В Петергофе. На носу...
Да, нечаянную лето
Нам натучило грозу.

Потрепи! Не будет грома,
Поразведрит облака.
Худо-бедно, мы ведь дома.
Ад земной не на века.

А пока, хоть понемногу,
Хоронись от бомб и мин...
Я за нас молюся Богу.
Твой уверовавший сын

Игорь Григорьев.

21 сентября 1943, немецкий тыл.

Эти стихи стали первой главой поэмы «Двести первая верста».

Я сложил письмо солдатским треугольником и простым карандашом написал памятный мне по мирным дням матушкин адрес:

*город Ораниенбаум,
улица Красного Флота,
дом 3, квартира 24,
Марии Васильевне Лавриковой.*

И хотя мама еще в августе 1941 года была эвакуирована в Костромскую область, весточка моя нашла адресата. Да, по совести работала тогдашняя почта, с нынешней не сравнишь: из Санкт-Петербурга из трех писем доходит одно. И идет оно до Пскова две-три недели.

Отправив самолет с нашими письмами на Большую землю, уморившись многоверстной ходьбой по азимуту, мы устроили трехчасовой привал. Я спал на еловых лапах под плащ-палаткой. И приснился мне сон. И был этот сон до того четок, резок и нещаден, до того осязаем, что я не могу понять: пригрезилось ли это мне? Или еще что?

Посреди пустой песчаной дороги в белой домотканой рубаше стоит босой брат. У его ног – таз. В лице ни кровинки, оно серое и совершенно безучастное. В правой руке Лев держит большой партизанский нож. Левый рукав его балахона засучен выше локтя, и рука на сгибе перереза-

на до кости. Лека держит руку над тазом, в который течет кровь. Таз уже полнехонек, и кровь через края сливается в песок.

Я кричу, я молю, я заклинаю брата опомниться, но он как-то загадочно и грустно усмехается и медленно растворяется в пространстве...

Я вскочил на ноги, то ли от кошмарного сна, то ли от команды «Подъем!». Надо было продолжать солдатский путь.

Днем меня и брата вызвали в штаб центра.

– Как нога? Затянуло рану? – спросил начальник разведки майор Иван Хвоин.

– Приседаю малость, Иван Васильевич, а так – топаю.

– Топаешь? Это и надо! Дело есть. Переодевайтесь в немецкую форму и дуйте в Плюсу. За шефом районной полиции! Он нам нужен. Обязательно живой. В двадцать два часа двадцать пятого сентября господин начальник в полицей-управе будет ждать двух немцев – капитана и унтер-офицера. Они должны отправиться к месту казни за поселок, на карательную акцию. Немцы пунктуальны, а шеф-полицай услужлив. Наверняка явится раньше назначенного времени. Впрочем, и мы позаботимся, чтобы явился раньше. В двадцать один час тридцать минут вы с ним выйдете за Плюсу. И там захватите его. Пароль у немцев на двадцать пятое – «Фатерланд».

25 сентября в 22 часа я, мнимый немецкий хауптманн, и Лев, мнимый немецкий унтер-офицер, вместе с шефом районной полиции были уже за поселком и шагали к Зареченскому лесу.

Тихой туманной ранью 26 сентября мы подошли к деревне Насурино Стругокрасненского района. Лев шел

впереди, проверяя дорогу, я с «языком» – шагов за двести от брата. Вдруг впереди раздалась стрельба.

– Засада! – закричал Лека. – Уводи «языка», а я задержу немцев!

Стрельба разгоралась. Полицейский шеф с криком «Я свой!» бросился бежать навстречу немцам. Пришлось сбить его с ног и принудить ползти в лес, подальше от засады. На дороге, где залег Лев, рвались гранаты, частили «шмайсеры». В ответ короткими очередями огрызнулся автомат Льва.

В семь утра шеф Плюсской районной полиции был передан начальнику разведки майору Хвоину.

Два часа спустя я привел на место засады группу партизан во главе с Тимофеем Егоровым. Все было конечно. Лев лежал в траве, изрешеченный пулями и осколками. Местные жители, которые везли немцев на подводах в Струги Красные, рассказали, что староста деревни Насурино заметил партизан, идущих на задание. Ночью он привел на это место немцев, и те устроили засаду на нашем пути.

Лека был храбрым и сильным человеком. Таких война не милует в первую очередь.

Товарищи по оружию, партизаны подпольного центра, похоронили Льва Николаевича Григорьева на месте его гибели, на лесной поляне возле деревни Насурино, в тот же день. Тимофей Егоров приказал мне:

– Предателя уничтожить! Дом сжечь!

Я зажег паклю, сваленную на чердаке, и ворвался в дом старосты. Был какой-то праздник. Перед иконами горела лампада. Семья во главе с хозяином сидела за столом. Ели мясные щи (голодному ли не учуять их запах!). На столе стояла бутылка самогонки. Староста был «под мухой».

– Веришь в Бога? – спросил я, почти хрипя. – Становись на колени под иконы! Я пришел за твоей подлой шкурой!

Хозяйка и дочь, повалившись в ноги, обнимали мои сапоги, молили о пощаде. Мне стало страшно и тоскливо. Выпустив в потолок длинную – на полдиска – автоматную очередь, я бросился на улицу. Пятистенок пылал.

– Тимофей Иванович! Дом предателя горит. А вот самого я прикончить не смог. Солдат я, не палач...

Млад я был и глуп в те годы, поэтому нередко попадал в истории комичные, зряшные, а то и опасные: то, возжаждав полакомиться медом, я драпал от разъяренных насекомых на смех всей деревне; то взрывал мост в деревенской глуши, уничтожить который было вовсе необязательно; то, в форме немецкого хауптманна заявившись во вражеский гарнизон, от обиды и бессильного гнева приставал к германскому нижнему чину, заставляя его козырять мне, гоня строевым шагом, распекая захватчика самыми обидными немецкими ругательствами. Но это мальчишество.

А дело приходилось делать. Ратное дело. Грозное дело. Страшное дело.

Между тем наступило время моей разлуки с подпольным центром Тимофея Егорова, который стал мне домом и семьей.

Утром 16 ноября меня затребовали в штаб центра. В штабе, крестьянской избе, было тепло, пахло свежеспеченным хлебом, антоновскими яблоками и мясной похлебкой. Начальство центра – Тимофей Егоров, Василий Красотин и Иван Хвоин – из большой глиняной миски ели суп.

– Разведчик Игорь Григорьев по вашему приказанию явился!

– Снимай амуницию и фуфайку, садись за стол. Валентина, дай парню ломоть хлеба. А ложка у партизана всегда при себе, – сказал начальник разведки.

– Это точно: без ложки нынче, как без автомата, Иван Васильевич. Не смею отказаться от приглашения.

Командиры потеснились, и я подсел к миске с варевом.

Когда завтрак окончился, помощник командира Василий Кузьмич Красотин сказал мне:

– Надо поговорить о деле. Приказано перевести тебя в бригадную разведку Шестой партизанской бригады. Назревают события. Там сейчас силы нужны. Речь идет о скором прорыве блокады.

Тимофей Иванович Егоров подошел ко мне, сказал с ласковой грустью:

– Сам понимаешь, не отдал бы я тебя, будь моя воля. Но приказ есть приказ. Не тужи. Вот тебе мой подарок на дорогу: носки и варежки. Носи на здоровье!..

Ночью 16 ноября 1943 года я ушел в деревню Волково Плюсского района, в распоряжение Шестой партизанской бригады. И назавтра стал бригадным разведчиком.

В бригадной разведке было 38 человек, лихих и отчаянных вояк, сорвиголов. Из них – не меньше десятка бывших плюских подпольщиков: в бригадную разведку брали не абы кого – опытнейших, самолучших. Я прижился здесь скоро, хотя и крепко скучал по моему Струго-Красненскому подпольному центру и по его руководителю Тимофею Егорову.

В конце ноября, во время диверсии на «железке», я был тяжело контужен. Придя в себя и оклемавшись, взялся за шлифовку моей пьесы «Черный день» – драмы об оккупации, которая была написана с полгода назад. Бригадное начальство и лично комбриг Виктор Обьедков, поощряя

мою писанину, освободили меня от службы и войны на целых две недели.

Дело спорилось. Пьеса была переписана набело. Мы решили поставить ее. Комбриг затею одобрил. В самодеятельных артистах недостатка не было. Нашлись и режиссеры, и художники, и музыканты, и гримеры. Да еще какие!

Ставили «Черный день» в канун Нового, 1944 года в коридоре школы-восьмилетки в деревне Клескуши Лужского района. Зрителей – партизан и местного народа – было битком.

Спектакль закончился полным успехом перед полночью. Мы отправились домой счастливые и взбудораженные. Шел двенадцатый, последний час старого, кровавого и горемаятного 1943 года. Было снежно, холодно, и радость быстро сменилась тревогой. Кругом, куда ни глянь, пылали, отсвечивали, трепетали и извивались зарева пожаров. Везде – вверху, внизу, справа, слева – зарева. Зарева, зарева... Я насчитал их шестьдесят три...

Небо не только горело, но и гудело: множество самолетов – чужих и наших – кромсали темноту, нагоняя на душу тоску.

Немцы уматывали на запад, превращая Россию в сплошное пожарище.

Всякое бывало на войне. Но все бессердечное и страшное заживало, забывалось. Все человеческое и светлое помнится доньине. И согревает душу, и роднит человека с давно ушедшим от нас. Может, поэтому и не забыть мне такой благословенный случай.

После второго налета на Плюссу 2 февраля 1944 года в деревне Манкошев Луг я повстречался с моим отцом, ко-

торый скрывался от карателей в соседнем лесу. Пять месяцев лесной жизни, без хлеба, без махорки (а батя всегда много курил), без одежды – без всего. Целую осень и половину зимы в земляном бункере. Еда – вареные березовые почки, курево – сушеные ольховые листья...

12 августа 1943 года, когда мы с братом бежали в партизаны, отца арестовали фрицы. И привели в тайную полицию – ГФП. Расспрашивали про нас: что мы делали, с кем общались, куда ушли. Велели найти нас и доложить о нашем местонахождении. Взяли подписку о молчании. И выпустили на волю.

Отец все понял, домой не пошел, а направился в лес, где заболел и застрял в заброшенном бункере чуть не на полгода.

После этого нашу избенку в Плюссе сожгли немцы, а мачеху Марию Прокофьевну и сестренку – Тамару и Нину – угнали в Германию...

Свидание с отцом было коротким. Мы дошли до рощи за деревней Тушиново. Отсюда начиналась дорога на Лышницы – прямая, как стрела, на все семь километров. Мне надо было догонять ушедшую в Лужский район партизанскую бригаду. Мы обнялись на прощанье и троекратно поцеловались по русскому обычаю. Отец осенил меня крестным знаменем. Я подарил ему мои трофеи: пистолет, часы и пачку денег, поклонился в ноги и попросил:

– Скажи мне, батя, что-нибудь на дорогу!

И Николай Григорьевич Григорьев, старый закаленный воин, захлебываясь слезами, стал говорить:

– Ты теперь один у меня, Игорь. Береги себя. Не лезь на рожон, горяч больно, знаю я тебя. Но и воевать за тебя другой не должен, умирать то есть. Неси свой крест. Пом-

ни это, сынок. Я молюсь о тебе. Верю, что не погибнешь. Да сохранит тебя Господь Бог! – сказал и снова перекрестил меня трижды.

– Салют в твою честь, батя! – Я выстрелил несколько раз в воздух. – До встречи, дорогой! Сам береги себя!

И тронул коня. И пока видели глаза мои, отец, офицер русской армии, стоял неподвижно, опершись подбородком о посох, уставившись в невидь, в которую удалялся его сын – разведчик Отечественной войны.

А война бушевала. Вороги отступали. И мы без передышки воевали.

11 февраля 1944 года, поутру, германцы захватили возвышенность перед деревней Островно, что в Лужском районе. Множество немцев наперло. А партизан и солдат (мы к тому времени соединились с действующей армией) было негусто. Поэтому в контратаку бросили бригадную разведку.

Под озерной кручей, слева от деревни, выстроились бригадные разведчики – тридцать восемь ратоборцев. Перед нашим строем появился комбриг. Речь его была короткой и ядреной:

– Знаете, зачем пришел?

– Знаем, Вик Пал!

– Молодцы! Сам поведу!..

В тот день, 1 февраля, мне выпало на долю четвертое, последнее ранение на войне.

Как я радовался концу своей военной стези, когда очнулся в госпитале! Ведь убивать куда страшнее, чем умирать – а именно это мне отныне предстояло: несколько десятков лазаретов и больниц и восемь операций.

И – видит Бог – со Дня Победы до сегодняшнего неутешного дня мне не по себе от жгучей думы: «Вот они –

двадцать семь миллионов (а в действительности намного больше) сыновей и дочерей, и с ними Любовь Смурова и Лев Григорьев, – полегли за Родину, а ты остался в живых!». Но ведь очень даже мог и не остаться. Судьба!

В госпитале на тот раз мне крепко пофартило: я попал под опеку Александры Агафоновой, медицинской сестры милостию Божией, пра-пра...внучке «полудержавного властелина» Александра Даниловича Меншикова.

Ростом, статью и обликом светлейшая Александра Анатольевна как две капли воды была похожа на своего славного пращура. Тот же крупный нос с породистой горбинкой, тот же все понимающий открытый взгляд, то же грустное вдохновенное чело.

Безаветная сестра милосердия выносила раненых с поля боя еще в Первую мировую войну. Не изменила она себе и в Великую Отечественную: многих спасла и уберегла от смерти. Выходила и меня, вынянчила, выпестовала. И поставила на ноги.

А потом в течение пяти лет с материнским терпением, кротостью и упорством врачевала мой встревоженный бунтарский дух, унаследованный от мачехи-партизанщины, укрепляла во мне человеческое достоинство, веру и сострадание ближнему. И кое-чего ведь добилась.

И кто знает, что бы стряслось со мной, если бы не она?..

До страшной Октябрьской революции Александра Агафопова зналась со многими замечательными людьми России и Санкт-Петербурга – писателями, живописцами, актерами, духовенством, медиками, военными. Она любовно рассказывала мне о поэтах Константине Романове, Игоре Северяnine, Сергее Есенине, о художниках Илье

Репине и Василии Максимове, о певце Федоре Шаляпине, о медике Иване Павлове, о генерале Алексее Брусилове, о святом Серафиме Саровском...

Благодаря Александре Анатольевне мне посчастливилось познакомиться с писателями Евгением Федоровым и Михаилом Зощенко, медиком Елизаветой Хлебниковой, актерами театра имени Горького, музыкантами консерватории.

Когда, в середине 1944 года, я появился в доме сестры милосердия, мой художественный вкус оставлял желать лучшего. Со стыдом и благодарностью вспоминаю мой первый урок по музыке.

– Что исполнить? – спросила меня дочь Александры Анатольевны Марина, студентка консерватории, садясь за рояль.

– Сыграйте и спойте «Раскинулось море широко».

– Почему именно эту песню?

– Ее поет Утесов, а этого певца я люблю за душевный голос и за народность. Возьмите хотя бы его джаз...

– Вот оно что, – растерянно пробормотала девушка.

В разговор вмешалась ее матушка:

– А по-моему, музыка Михаила Глинки народней джаза Утесова. И душевней. Исполни, Мариша, арию Антонида из оперы «Жизнь за царя».

И Марина стала петь, аккомпанируя сама себе. Потом он спела романс на слова Сергея Есенина «Заметался пожар голубой». Потом пела еще и еще.

Я был потрясен.

С этого дня и мать и дочь взялись за мое эстетическое воспитание самым серьезным образом. Марина, добывая средства к существованию, по вечерам играла в оркестре театра М. Горького. Благодаря ей, двери Большого драма-

тического театра для меня открылись. Водила меня Марина и в Филармонию, а Александра Анатольевна – в Большой театр оперы и балета.

Словом, я начинал постигать разницу между «народностью» советской эстрады и настоящей народностью русской классики и моего народа.

Стихи мои в доме Александры Анатольевны принимались с воодушевлением и сердечностью. И дочь, и мать, и их гости видели во мне искру Божию, приветствовали мою лирику и распространяли ее среди своих высоких друзей. Они вселяли веру в мои творческие силы.

Но и спуску мне не давали, если я писал не то и не так – плохо и серо. Услышав от меня стихи слабые или злые, Александра Анатольевна грустно утврждала:

– Конь вышел из борозды.

Она смахивала нечаянную слезу, гладила мою голову, вздыхала и, как бы думая вслух, тихо говорила:

– Боязно за тебя, сорвиголовушка! – и, помолчав, добавляла: – Спаси тебя Христос!

В августе 1944-го меня демобилизовали «по чистой». С того года я и обосновался в «Петра творенье» – тогдашнем Ленинграде. Штаб партизанского движения «выкроил» мне жилье – девятиметровую комнатку на улице Егорова. А Ленинский райсобес пожаловал пенсию – 129 рубликов.

Буханка хлеба с рук – тридцатка, пять целковых за пару папирос «Беломорканал» и так далее...

А жить хотелось! И, не задерживаясь в Северной Пальмире, я отчалил в костромское село Большое Николаевское, которое находилось в шестидесяти километрах от станции Шарья и в пятнадцати – от районного центра Пыщуг.

В Николаевском временно обосновалась моя матушка, эвакуированная туда в начале войны из Ораниенбаума.

Так начиналась моя мирная жизнь.

На гражданке промышлял охотой в костромских глухоманях, фотографией на Вологодчине, бродил с геологической экспедицией по Прибайкалью, вкалывал грузчиком и строителем во «граде белых ночей».

Осенью 1949 года – с третьего захода – поступил на русское отделение филологического факультета тогда Ленинградского университета, которое окончил в 1954-м.

Университету я обязан встречей с большими русскими людьми, сыгравшими немаловажную роль в моей судьбе, – с преподавателем родного языка Антониной Вильгельминой, писателем (в те годы завкафедрой советской литературы) Федором Абрамовым, с языковедом академиком Иваном Мещаниновым. О них я не волен умолчать.

Антонина Александровна Вильгельмина.

1 августа 1949 года в университетской аудитории на вступительном сочинении я «поплакался» наблюдавшей за «сочинителями» молодежкой, но седовласой женщине с живым ласковым взглядом:

– Третий год пишу сочинение. Неужели опять наделаю грамматических ошибок и провалюсь? Хорош писатель!

– Да? – только и спросила Антонина Александровна. Это была она.

В первый день благословенной осени я уже слушал ее удивительную лекцию по русскому языку. И с этого же дня стал своим человеком в ее опрятной бедной коммуналке – узкой десятиметровой комнате. Все пять студенческих лет она учила меня, остерегая от житейских соблазнов, пестовала и кормила. Впрочем, у нее находили при-

ют, заступу и кусок хлеба многие студенты и аспиранты. Диву даюсь: как это мы не объели и разорили ее вконец?

Антонина Вильгельминина была невесткой знаменитого русского художника-передвижника Василия Максимова, получила в наследство больше сотни его бесценных полотен. И все это безвозмездно передала Русскому музею. Себе оставила лишь несколько небольших эскизов.

- Да вы толику денег с музея взяли бы, себе на пальто хотя бы, - упрекал я Антонину Александровну.

- Не могу, нельзя брать за то, что принадлежит России и только ей, - отвечала она.

А что же Русский музей? С милой небрежностью упрягал полотна в запасник. «Больно много в них, в этих картинах, посконной Руси и русского духа».

Вот ведь как бывает.

Десять лет тому назад, за неделю до своей кончины, Антонина Александровна прислала мне свой преподавательский билет и последний привет: «Сынок! Мне под девяносто. Я на пороге. Передо мною - открытая дверь туда. Мне остается лишь благословить тебя. Знаю, что "с дороги не свернешь и не проклянешь затученное солнце"» (это были две строчки из моего стихотворения «Письмо любимой»). Я плакал над этим прощанием и прощением от благодарности и жалости.

Когда мне горестно, когда на душу найдет разлад и сам себе готов стать чужим, выплывает вдруг из житейского тумана светозарный облик невысокой тонкой женщины с моложавым лицом, притягивающим и все понимающим синим взглядом, с белоснежной челкой на прекрасном, будто мраморном, лбу. И потеплеет на душе, и устыдишься себя, и покаешься, «в чем был и не был виноват»:

- Простите меня, дорогая Антонина Алексеевна!

Федор Александрович Абрамов.

Я любил этого человека. Говорят, что и он любил меня. Но я не знаю, любил ли он когда-нибудь кого-нибудь. Разумеется, кроме своего творчества.

Писателя Федора Абрамова теперь знает и глубоко чтит не только Россия. О его творчестве и жизни написано немало. Поэтому буду краток – расскажу лишь то, что знаю один я.

Познакомились мы в 1953 году. В то время Федор Александрович был руководителем моего университетского диплома.

На очередной консультации, прочитав черновик моей работы, он заявил без тени сочувствия – спокойно и сухо:

– Худо дело, батенька. Литературоведа из тебя не получится. И что тебе делать, не знаю.

– А я и не собираюсь отнимать у вас литературоведческий хлеб с маслом. Мусолить чужие книги, распиная или вознося их, – не мой удел. Пусть уж лучше распинаят или возносят мои книжки.

– А знаешь, ты, кажется, прав.

– Да уж как не знать...

Через пару часов мы сидели с Федором Александровичем в его большой комнате во дворе университета, и он читал мне начальные главы своего первого романа.

И хотя я был никудышным литературоведом, я понял, что значит роман Федора Абрамова «Братья и сестры». Это было так глубинно, цветисто, ошеломляюще ново и честно, что никаким «социалистическим реализмом» не пахло. И я с первых черновых глав уверовал, что в России нарождается новый великий писатель.

Уже за одно то, что он был первым, кто мужественно и могуче противопоставил себя бабаевским, ажаевым и

иже с ними, – честь и хвала ему! Но он был, по мощи голоса, первым и в решении темы деревни и селянина, то есть родины. Его глубь проникновения в психологию русского человека, его слегка затяженный покаянный юмор, его живой искристый русский язык, его нещадная правдивость, вся система ярчайших образов и картин природы – все незабываемо и значительно.

Уже после двух–трех книг, выпущенных зарубежьем, Федора Абрамов оценили по заслугам.

«Вы – лучший современный писатель земли», – писало ему крупнейшее издательство Англии.

«Вы – самый значительный прозаик наших дней», – общало ему американское издательство.

Много, очень много таких хвалений.

А в стране «зрелого социализма» «Известия» в это время громыхали статьей жителей деревни Верколы Пинежского района Архангельской области: «Куда ты зовешь нас, земляк?». А в статье той – злобная отповедь творчеству Федора Абрамова. И подписи: «доярка А., свинарка Б., хлебороб Х., кузнец У., овощевод И.».

За долготное наше знакомство Федор Абрамов прочитал мне, возможно, одному из первых, немало своих произведений. Вспоминаются «Поездка в прошлое», «Жила-была семужка» (тогда еще в первой редакции, с очень резкой натуралистической концовкой), «Вокруг да около», пьеса из жизни ученых (по-моему, слабая пьеса), «Безотцовщина», «Пролетали лебеди», «Медвежья охота»...

О рассказе «Однажды осенью» (одном из первых, если не самом первом рассказе Федора Абрамова) поведаю подробнее.

Как-то, в конце октября 1961 года, отправились мы с Фе-

дором Александровичем гонять зайцев. На хуторах Гречухина, разбросанных по берегу Кима-ярви – Комсомольского озера, жила-была моя добрая кума Полина Захаровна Саввина, переселенка из Рязани. На просторном пригорке, недалеко от ее жилища, стоял еще один дом. В нем поселилась молодая вдова Шура, мать пятилетнего мальчугана.

До Гречухина от станции Громово было километров восемнадцать, и мы с большенными рюкзаками, ружьями, смычком гончих – Идолом и Арфой – по расквашенной и разгромленной нашей сельхозтехникей грунтовой дороге, почитай, вдвоем на двух ногах (и у Федора Абрамова нога, и у меня ноги были стреляны в войну) добрались до пристанища лишь к вечеру.

Дом кумушки был на замке: она еще не вернулась из колхозного телятника. На крыльце перед запертой дверью, сиротливо съезжившись и по-птичьи нахохлившись, сидел посиневший от холода малыш.

– Ты – кто? – спросил Федор Александрович ребятенка.

– Шурин сын.

– А почему ты не греешься у себя на печке, а зябнешь на этом крыльце?

– Так в избе один боюсь.

– А где твоя мама?

– Где-где... Загулявши она на стороне. Вот и жду тетю Полю али ее Зину, – сказал, и захлюпал носом, и заплакал тихо, покорно и отрешенно.

Я знал, где хозяйка прячет ключ. И мы – все трое – вошли в большую, жарко натопленную кухню (у финнов кухни были не нашим чета). Вскоре и Полина Захаровна с дочкой Зиной вернулись домой. А за ними и Шура в однокороче пожаловала.

– Завернула за сыном вот, – скороговоркой пропела она.

Накрыли стол. Мы привезли из города пару бутылок «старки». Я переглянулся с кумой, и та поставила еще один стакан, пододвинула к столу лишнюю табуретку.

– Садись, Шура, гостьей будешь. Мой кум красивых любит, транжирить на красоту не скупится, угостит – я те дам. Да и Федор Александрович чаркой не обнесет.

– Ну, раз такое дело...

Часом позже к Зинаиде пожаловали ухажеры – тройка парней-механизаторов. Заиграла гармонь. Словом, скучать было некому и некогда.

Уже за полночь, укладываясь в постель, я предложил:

– Давай напишем по рассказу обо всем этом. Любопытно, что у нас получится?

– Идет!

Через неделю Федор Абрамов читал мне свой замечательный рассказ «Однажды осенью». И я был глубоко взволнован зоркостью и пронизательностью автора, его умением отобрать самое-самое в ворохе фактов и деталей, его способностью возвысить обыденную прозу жизни до сверкающей поэтической высоты... Слава Богу, что я тогда был занят стихами и не набил себе шишек на прозе!

Читал Федор Александрович только написанное им от руки – до машинописи. Страницы рукописи были исполнены твердым, четким, несколько разгонистым почерком. Правок в рукописях почти не встречалось. Голос писателя во время чтения звучал негромко, но четко и выразительно, я бы сказал, артистично.

Когда я делал какие-либо замечания по тексту, автор как бы пропускал их мимо ушей. Но при доработке рукописи нередко учитывал эти замечания.

Немало поездили и походили мы с Федором Абрамо-

вым по земле нашей. Возил я его и на мой Гришин хутор, и в Белоруссию, и на Карельский перешеек к моей куме.

Как-то в мае заявили мы порыбачить на озеро Мустанлахти-ярви (Щучье озеро), которое лежало в полутора верстах от мызы Полины Саввиной. Мы поймали на спиннинг штук двадцать довольно увесистых щук, которые после нереста хватали блесну очень даже усердно. При поклевке я бросал слово: «Сачок!». И надо было видеть, как проворно и ловко орудовал им Федор Александрович: ни одной не упустил.

Ночь мы коротали у костра. Почти три часа подряд в ту ночевку мой напарник пел частушки, одну забористее другой, не повторившись ни разу. Ей же ей, он пропел их не меньше сотни. Такое я слышал впервые.

Вокруг и около Федора Абрамова вращалось и мельтешило немало литературного и еще больше окололитературного люда, который курил ему фимиам. Но в его доме, где бывал довольно часто, я не встречал никого, кроме тещи Федора Александровича да его брата Василия Александровича, очень милого и тихого сельского учителя.

Федор Александрович Абрамов был невысок ростом, ладно сложен, в движениях нетороплив, косолапил раненой ногой. В разговорах – всегда немногословен, часто насмешлив, говорил без жестикуляции, негромко, веско и убедительно, так что с ним трудно было не согласиться.

Глаза у него были карие, печальные, задумчивые, слегка раскосого разреза. На высоком и очень широком лбу писателя таились горестные складки. Рот был большой, тонкогубый и тоже грустный. На смуглом лице нечастые, но глубокие оспины...

Иван Иванович Мещанинов.

БСЭ сообщает:

«Мещанинов Иван Иванович (р. 1883) – советский язы-

ковед и археолог, академик (с 1932), Герой Социалистического Труда. Был академиком-секретарем Отделения литературы и языка Академии наук СССР (с 1934 по 1950). Исследованию урартского (халдейского) языка и письменности с позиций Н. Я. Марра посвящены первые языковедческие работы Мещанинова. С конца 20-х гг. он стал пропагандистом вульгаризаторской немарксистской лингвистической теории Марра. С середины 30-х гг., отходя от некоторых частных взглядов и методологических приемов Марра, продолжал вместе с тем развивать основные положения т. н. “нового учения” о языке и прежде всего немарксистскую “теорию стадиальности” («Общее языкознание. К проблеме стадиальности в развитии слова и предложения», 1940). Убедившись в бесплодности своих попыток найти какое-либо морфологическое или синтаксическое обоснование стадиям развития языка, Мещанинов перенес проблему стадиальности в область категорий мышления, которые он произвольно включил в язык и назвал “понятийными категориями” («Члены предложения и части речи», 1945, «Глагол», 1948).

В опубликованном в 1950 труде И. В. Сталина “Марксизм и вопросы языкознания” вскрыта полная несостоятельность и немарксистская сущность созданного Марром и развивавшегося Мещаниновым “нового учения о языке” и положено начало подлинному внедрению марксизма в языкознание. После 1950 Мещанинов, признав свои ошибки и преодолевая их, отошел от вопросов общего языкознания и вернулся к исследованию урартского (халдейского) языка с позиций советского языкознания» (Большая Советская энциклопедия. 2-е изд. М., 1954. Т. 27. С. 401).

Меня обескряпывали и вминали в землю некомпетентность, абсурдность и вредоносность идеологических «на-

правляющих». Горький тому пример – творческая судьба почтенного лингвиста академика Ивана Ивановича Мещанинова.

После нелепого скрещивания языкознания с марксизмом, что выразилось в плоде «Марксизм и вопросы языкознания», Ивана Мещанинова вызвал в Кремль «корифей всех наук».

– Товарищ Мещанинов, вы читали работу товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания?»!

– Да, товарищ Сталин.

– Вы, товарищ Мещанинов, конечно, поняли всю пагубность вашей антимарксистской теории языка. И вы, естественно, готовы изменить свои взгляды. Когда вы заявите об этом публично?

– Я, товарищ Сталин, четверть века был сторонником своей теории. И переделаться сразу не смогу.

– Все ясно!..

На Ученом совете филфака, где его громили все, кому не лень, принуждая к покаянию, Иван Мещанинов только и сказал:

– Господи, как много в наш век Добчинских и Бобчинских!

И вот у студентов экзаменационная сессия. В нашей «пятой русской» группе – последний экзамен: «Марксизм и вопросы языкознания». В моей зачетке – пять пятерок. Нужна последняя, чтобы получить 25 % надбавки к стипендии. К экзамену поэтому готовлюсь не в шутку, а всерьез.

Нас экзаменует сам академик Мещанинов. Я взял билет и света Божьего не взвидел: первый и второй вопросы как вопросы, а третий, как наваждение: «Критика товарищем Сталиным теории Мещанинова».

Само собой как-то вышло – на два вопроса ответил, а на третий отвечать не стал. Сказал:

– Иван Иванович, я не знаю ответа на третий вопрос, – и сунул злосчастный билет в кучу уже отэкзаменованных бумажек.

– Как же так? Хорошо отвечали на два первых вопроса. Да и пятерки в матрикуле за этот семестр по всем предметам. Как же так?

– Я не знаю ответа на третий вопрос, профессор. (И действительно, что я мог сказать о той бредовой «критике».)

– Пять да пять да ноль – десять. Делим на три и получаем... Короче говоря, «посредственно» – три балла. Очень сожалею.

Троечникам тогда не платили, и я на целых полгода остался без стипендии. Но воистину нет худа без добра. В начале месяца я извлек из почтового ящика конверт без обратного адреса, опущенный, по штемпелю, на Главпочтамте. Мой адрес был написан от руки печатными буквами. В конверте лежал двойной тетрадный лист в клетку, а в нем – десять сторублевых купюр. И так было в начале каждого месяца в течение целого семестра. Ни меньше, ни больше.

Уверен, что посылал эти деньги не кто другой, но академик Иван Иванович Мещанинов.

А вообще-то пять моих университетских лет – это пять ненаписанных книжек стихов. И я не совсем уверен, стоило ли так упрямо стремиться в его стены. Яркие личности, осветившие и обогревшие мою душу в пору студенчества, остались бы светоносными для других счастливых. Но что бы я делал без них, ума не приложу.

Женился я в тридцать и не прогадал: не опоздал и не поторопился. Ленинград никогда не был мне домом. И теперь, на целых десять лет, я обрел пристанище в белорусском городе Городке под Витебском. В собственном доме «бати Васи» – моего тестя Василия Захарова – мне жилось, как у Христа за пазухой. Это были самые счастливые и удачливые годы мои.

Сам Городок, речка Горожанка, бегущая у нашего дома под крутым склоном, добрый десяток окрестных озер, Воробьевы горы – стали мне своими сразу. Так же как, волею судьбы, стал батей Василий Ильич.

Не заметить этого внешне неброского белоруса было трудно. Жило в нем нечто такое, что привлекало внимание, располагало к себе, пожалуй, даже притягивало человека, заинтересовывало, обнадеживало. Не берусь утверждать, но, возможно, секрет притягательности заключался в его положительном и мощном биополе. Впрочем, встречались в Городке граждане, которые питали к «кулаку» злобу. Наверное, порождали это античувство глупость и зависть.

Невысокого роста, коренастый и плотный, Василий Захаров имел темные волосы и светлую голову. Глаза у него были голубые, большие и пронизательные; нос несколько подкачал – курносоватый и недостаточно внушительный для его серьезного лица. Зато лоб – чистый, слегка выпуклый и высокий, лоб думающего человека – стоил многого. Да и все черты его лица – губы, подбородок, щеки – делали облик своеобразным, очень славянским и славным.

А как хорошо пел батя! Чаще всего это происходило где-нибудь в Мошниках, в лесах бывшего партизанского края, на озере Гвоздок, или Березица, или еще каком, у ночного рыбачьего костра.

Мы принимали по чарке под уху, и песняр заводил берущим за живое лирическим тенором мою любимую «Песню бобьяля»:

Ни кола, ни двора,
Зипун – весь пожиток...
Эх, живи – не тужи,
Умрешь – не убыток!..

Над костром мелькал козодой и мельтешили летучие мыши, в прибрежных кустах гукала выпь, в озере всплескивали рыбы; сама ночь потаенно вздыхала, может – во сне, а может – в бессоннице. А еще были звезды, тени, всхлипы росы, трепет листвы и тяжелые шаги какого-то крупного зверя на тропе.

Все звуки и песня у костра сливались во мне воедино, преображали меня, наполняли благодарными слезами.

Мой тесть не только был поклонником пения, но и неутомимым тружеником и мастером-домоводом. Нельзя было не зауважать этого хозяина, ничуть не потерявшего (в наш-то век!) вкуса к семье, к дому своему, к собственной душе. Под стать господарю была и его супруга Ольга Александровна – умница, тихоня, работунья и, конечно же, красавица. Да, крепко мне повезло!

Дом, где я стал своим человеком, был просторным, удобным и красивым. Его придумал, и спроектировал, да и построил во многом своими руками сам батя Вася. В Городке таких хором нынче немало: все они – копии с дома Василия Захарова.

К дому примыкал приусадебный участок с хозяйственными постройками, огородом, садом и цветником, в котором росли действительно прелестные цветы, например роза «Глория». Нет нужды говорить, что все: и дом, и в

доме, и строения во дворе, и сад с огородом – было умело и любовно обихожено.

Василий Ильич сделался моим путеводителем по чудоземле, стал первоучителем ее языка и вдохновенной поэзии. Это с его легкой руки я всем сердцем прикипел к *Беларусі* и навсегда полюбил *беларусаў* – славный славянский народ.

В пятидесятые годы трудно было поверить в мою поэтическую звезду, но мой тесть поверил:

– Не слушай слабаков и маловеров, не бойся далекущей дороги. Трудись – добивайся. Я с тобой.

– А если прогорим?

– Не похоже: не тот ты человек, да и я не лыком шит. Вижу, чего хочешь и для чего. Чую, делу служишь. Читал я тебя. Эх куда ты загадал!.. Прогореть немислимо. Тут можно разве что сгореть. Да ты не из робких. Дерзай!

В Городке я работал обычно по ночам: садился в полночь и до пяти утра сочинял. Худо-бедно, а в городокскую творческую страду я написал пять книжек стихов да переводов сколько.

Хорошо творить ночью: ты наедине сам с собой, мысли четкие, слова значимы, крепкий чай, как награда, тишина и тьма за окнами полна смысла, и трижды каждую ночь – концерт певней. Вообще-то из многих обожаемых пернатых певцов мне милее всех других иволги и коростели. Но не только: с детства питаю слабость к петушиному пению. А в Городке – кочет на каждом насесте. И все поют, славя грядущий свет. И ни одно «кукареку» не похоже на другое. И силы разной, и азарта разного. Разные петухи, одним словом. Один – тонко заходится: хорошо, да уж очень ординарно, «без изюминки»; другой – и подходяще шуманет, но хрипловато: как-то тускло для достойного про-

славления зари; зато иной – как гаркнет, будто базилопротодиакон на молебне: ночь шарахнется, темень будто поредеет, сердце возрадуется!

Я так часто просиживал ночи за письменным столом, что знал дома, где жили выдающиеся «солисты». И прислали мне белорусские сябры по перу приличный гонорар за переводы. С помощью тех денег заполучил я желанную забаву. И принес домой. Спросите: как это? Какой хозяин или хозяйка продаст хорошего петуха? Очень просто: на рынке красная цена петуху была тогда трояк, а я за каждого Петю отвалил по четвертному билету.

Бабушка Ирина Егоровна мою покупку не одобрила:

– Знаю я тебя: не торгуясь, поди, взял? Небось, рублика по три отвалил за петуна?

– В этом роде что-то, но торговался, да еще как! Так что все в полном порядке.

– Почто сразу четыре? Куда нам столько? Да и где ты такую мелюзгу выкопал? В йих и весу-то всего фунта по два, и то если с пером да с потрохом.

– Забыла, что ли, к нам Федор Абрамов на днях будет. Надо же угостить дорогого друга. А что петухи не с индюка ростом, так уж какие есть. Надо их побережь до приезда гостя. – И я расцеловал бабулю.

– До, до! Ладно уж, если так случай, неси их в дровяной сарай. Нонешний березень теплый. Пушай там сидят. В курятник не пуцу: биться будут с нашим кочетом.

И я понес «солистов» в дровяной сарай, предварительного пронумеровав им спины и присвоив имена: 1 – Певень, 2 – Певел, 3 – Петел, 4 – Пет. На вид они весьма невзрачны: мелкие, белый, правда, с шикарными гребнями и весьма внушительными гнутыми шпорами. А кроме гребня и глядеть не на что. Но так было только днем.

О полночь в сарае вдруг застучало, забарабанило, забабало! Мне сначала показалось, что обрушилась поленница дров. Вслушался, а это хлопают крылья. И что тут пошло! Едва подав глас – не голос, а именно глас – запевала, как вслед за ним ударила, тоже не безгласая, тройка:хватила почти одновременно в шесть крыльев и в три глотки!

Четыре петуха, не желая уступать пальму первенства, выхвалялись друг перед дружкой – бушевали, заходились, орали, голосили с полчаса. Но это были лишь первые петухи – глашатаи начала новых суток.

Через пару часов все повторилось. И хотя пенье длилось не так долго, зато что это было за ликование! Отродясь не слыхивал такого. Да и вы вряд ли слышали. И все-таки это были только вторые петухи, «петухи зари», как их называли встарь.

Третьи петухи привели меня в полный восторг, чего не сказал бы про домочадцев. На заре в сарае разлилось половодье голосов. Диву даюсь, как это они ухитрились устроить такой концерт? Впрочем, надо понять: захотел быть первым – ухитряйся.

Прошло несколько дней, и ранняя весна дала дикий крен: ночью ударил крепкий мороз, а наутро все завалило снегом. Снова стало зимно, впору на печку залезать. Но недаром говорится: охоту тешить – не беду платить. Впрягся я в дровянки и отправился на мельницу в Третьяки, ловить налимов. Льда на реке там не было.

Плетусь по заснеженной дороге, и хоть бы глаза мои не глядели: и там и тут на полях, целыми косяками, валялись птицы – грачи, скворцы, чибисы, жаворонки... – дело рук постылой зимы, захватившей власть у простодушного марта. И вдруг впереди – пара аистов! Лететь уже не мо-

гут, совсем оголодали и обессилели. Похоже, «доходят». Бросил я санки, давай ловить неудачников. Им от меня не скрыться, а мне их не поймать. Снегу – чуть не до пояса, тут не шибко разбежишься. А все-таки одну птаху настиг. Клюется, дуреха. Пришлось связать и в санки уложить. Какая уж тут рыбалка: повез птицу домой. Другая поковыляла за санками. Так и до нашего двора добрались.

Аистов батя определил в курятник. Он-то знал, что делает. Да и кто бы ему возразил. И я не сидел сложа руки: намял вареной картошки, хлебца в нее покрошил, отрубями присыпал и отнес пленникам. Аисты успели очухаться в тепле, почуяли съестное, подошли к корытцу и – отнюдь не травоядные птицы – стали ушлетать растительный корм. Воистину голод не тетка.

Василий Ильич запер курятник, утешил меня весело:

– За эту пару буселов¹ будь спокоен: до внешнего пира дотянут на бульбе.

Я согласился:

– Непременно дотянут, куда деваться. Не отметить ли, батя, этот факт?

– А почему бы и нет?

И мы отметили!..

В один прекрасный апрельский выходной я и тесть заглянули на Святое – поблеснить и на мормышку попытать рыбачьего счастья. Лед на озере был жухлый, конечно, но по утреннику держал надежно. До солнцеграя мы неплохо помормышничали: семь фунтов плотвы и окуней да шупака² на четыре фунта поймали.

Вернулись из похода, вошли во двор, а там... сущий скандал. Квохча и охая, носились перепуганные курицы.

¹ Аист (белорусск.).

² Щука (белорусск.).

Их законный супруг, лишенный своего пышного хвоста, сидел аж на печной трубе и вопил истошно. А возле колодца выясняли отношения выравшиеся из заточения четыре моих протеже. Они бились молча, самозабвенно и нещадно. Вокруг драчунов носился белый пух, на земле валялись выдранные перья, из шикарных петушиных гребней лилась кровь только что не рекой. Словом, шел самый что ни есть решительный бой.

Бабушка Ирина Егоровна сидела прямо на пороге настежь распахнутого дровяного сарая, терла сильно поцарапанные и расклеванные руки и голосом, перепуганным до хрипа, урезонивала вошедших в раж дуэлянтов:

– Хрысь! Хрысь!.. – наверно, вместо «брысь!» простанывала она.

Василий Ильич выпустил из курятника аиста и успокоил встревоженную тещу:

– Бусел мигом наведет порядок!

Так и случилось. Аист деликатно и степенно, но крепко поколотил хулиганов и загнал их в дровяной сарай, отлучив от рябушек и хохлаток. После этого случая все пять петухов, под присмотром одного из аистов, будут мирно пастись во дворе, не помышляя о стычке.

На этот день у аистов был рыбный стол, и они закусывали с явным удовольствием.

До теплых дней так и сидели аисты в курятнике на бульбе. И опускали свои почтенные носы в корытце с едой только после того, как все куры накушаются. Впрочем, пищей аистам была не одна бульба: крыс в курятнике поубавилось чуть не до нуля. Может, бестии сбежали от красноклювых страшилищ, а может быть, попали в их клювы, и увы и ах...

Вскоре после возвращения весны из отступа и освобож-

дения аистов из курятника батя Вася не дюже весело втолковывал мне:

– У моей тещи – бессонница, у твоей тещи – мигрень, да и соседи того. Кроме тебя да меня, все в обиде на артистов: шуму больно много от них по ночам. Так что капеллу придется закрыть. А певунов куда хошь девай. Такое дело.

Побранился я (и не только про себя), посовал в корзинку ретивых петухов и возвратил их прежним владельцам. Иду и рассуждаю сам с собой:

– А что поделаешь? Не везти же птиц в большой город в нашу девятиметровую комнату?

К слову сказать, Федор Абрамов в тот год действительно пожаловал в Городок... спустя три месяца. И недель пять–шесть мы с ним жили в глухой и ласковой вёске¹ Бабарыки в Езерищенском районе Беларуси.

А время брало свое – текло. Добралось оно и до моего городокского возвышения: осенью 1964 года «по семейным обстоятельствам» я остался без Городка – бездомел и осиротел. Я отчалил из милой *Беларусі* куда глаза глядят, всхлипнув прощальными виршами:

Беларусь

Василию Захарову

Говорят про тебя, что ты – Белая Русь.
Так ли, нет ли – судить не берусь.
Но тобой причастился, голуба,
И зажгла ты Руси однолюба,
Одарив неразменной казною –
Песней «Бульбой», утехой лесною,

¹ Деревня (белорусск.).

Пригожуньей моею жадобной,
Простотою твоей бесподобной.
Приоткрыла лицо вековое:
Ни покоя, ни слез – роковое.

В воспитании своего сына Григория мы не были оригинальными: сплавили чадо на попечение тещи и тестя в Городок. Он там и жил с двухлетнего возраста до окончания белорусской средней школы.

Сколько походов в окрестные поля и отдаленные леса мы совершили с моим сыном! Сколько дней провели с удочками на бегучей зеркаловодной Горожанке и на пригородокских озерах – Луговом, Ореховском, Щербаковском, Озерках, Святом, – озерах, тогда почти не замутненных плодами техреволюции, самой непредсказуемой и нещадной для природы и души пагубы!

Произведения великих поэтов в нашем доме не переводились, и мы очень часто – то по книгам, то наизусть – читали вслух. И не только читали, но и сами напару с сыном довольно часто слагали стихи. Поэтому хоть одно из ранних стихотворений Гриши Григорьева я решаюсь привести. Написано оно было на берегу Горожанки 3 сентября 1962 года (автору тогда было шесть лет).

Река поет

Гуляют тени на горе,
Внизу вода поет.
Я ужу рыбу на заре,
А рыба не клюет.
Ни уклея, ни пескари –
Не ловятся никак,
Зато я греюсь от зари!
А вы могли бы так?

В это же время Гришкой была придумана трагикомедия «Происшествие в огороде»: Червяк женился на Лопате. Рассеченного молодожена склевал Петух. Добрая бабушка посадила жадюгу Петуха «в кутузку», а злую жену Лопату вонзила в землю «для очищения от греха».

У меня от этих сочинений сына было такое впечатление, будто вдругорядь я одарен детством...

Окончив среднюю школу, в том же 1973 году сын поступил на морской факультет ныне снова санкт-петербургской Военно-медицинской академии. И через шесть лет (в 1979 г.) стал врачом на подводной лодке, которая базировалась во Владивостоке.

Служилось сложно, трудно, а иногда и лихо. За пять лет службы (1979–84 гг.) – три аварии на подлодке и три ЧП. Но удручала не столько рискованная служба, сколько укоренившаяся в начальственной среде пагуба прислужничества. С чем, разумеется, молодой лейтенант, с детства возвращенный на честности, человеколюбии и свободомыслии, примириться никак не мог. За это и впал в немилость у своего начальства. Приходилось терпеть. Но уныния не было. Тому пример – письмо сына ко мне.

«7 августа 1984 года, Владивосток.

Дорогой отец! Здравствуй! Твое обещанное письмо пока не получил. И потому сам решил тебе написать.

Новостей у меня нет. Я по-прежнему подвешен между несколькими столбами. Но это меня нисколько не удручает. Вед я умею не замечать этого. Мне легко и спокойно, светло и радостно. Я знаю: происходящее сейчас – лишь “репетиция оркестра”, не больше и не меньше. Единственное, что меня волнует, – когда от вас подолгу нет писем. Наши бои еще впереди.

Сегодня, пользуясь многотысячным расстоянием между нами, я хочу сказать отцу, что чем дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи. Я их часто перечитываю, многие из них для меня, как молитва. В них истинная боль и крик вещей русской души! Кто из нынешних поэтов постиг в такой глубине истоки Русской земли? В его стихах сплав времен, их неразрывное единство. Повторяю, стихи его, как молитвы, и сами собой входят в память. Теперь я знаю: отец прежде других, в одиночку, начал тот бой за наше будущее, о котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки будят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим бравурным маршам.

То, что я написал, – это мое глубокое убеждение. И сообщить об этом я должен был с края света, с беспредельных берегов земли Русской.

Крепко целую тебя. А ты за меня поцелуй бабушку.

Твой сын Григорий Григорьев».

Еще в бытность курсантом академии Григорий серьезно увлекся психиатрией, психотерапией и биоэнергетикой человека – элементами душеведения. Заниматься этими премудростями он продолжал и на флоте. Изучал тибетскую и индусскую медицину. Читал недозволенные по тем временам иностранные книги по психоаналитике, гипнотерапии, телекинезу, биоэнергетике. И достиг хороших результатов в лечении людей с нервными и душевными недугами.

После окончания интернатуры по психиатрии и успешной практики он стал начальником отделения психиатрии и психотерапии Центральной поликлиники Тихоокеанского флота, где прослужил три года.

Нетрадиционные методы лечения, безлекарственная терапия, неформальный подход к хворающим, наконец, высокий эффект исцеления (за три года сын полностью или в значительной мере избавил от недугов, иногда тяжелых, а то и тяжких, более трехсот человек) принесли ему любовь больных и ненависть влиятельных завистников. Чего только не инкриминировали молодому лекарю-чудодею: нарушение уставов, разложение офицеров, порчу больных, психические заскоки и, наконец, кришнаизм и шпионаж. В немаловажную вину ставили и его богоискательство.

В 1984 году, полуживой, однако с неукрошенным духом, несломленной волей и неугасшей верой, сын был выпихнут с флота – демобилизован.

Вернулся к своей матери, на Выборгскую сторону родного Ленинграда. К работе по психотерапии не пущали бдительные партдяди, и два года он был участковым терапевтом в районной поликлинике. Наконец, в 1986 году, ему удалось устроиться психотерапевтом в больницу Академии наук СССР. В течение двух лет (1986–1988 гг.) сын прошел специализацию по гипнотерапии в Государственном украинском институте усовершенствования врачей (г. Харьков). Окончил он и полный курс обучения наркологии методом кодирования и стрессотерапии у выдающегося нарколога Александра Довженко в Наркологическом центре (г. Феодосия).

С 1988 года Григорий Григорьев является первым вице-президентом и главным специалистом Международного института по изучению резервных возможностей человека. Успехи Института налицо: за четыре года его существования больше двадцати тысяч человек были избавлены от алкоголизма, курения и наркомании. Десятки тысяч людей прошли курс саморегуляции и обрели доброе здравие.

Я уже говорил, что сын пишет прозу. В 1991 году у него вышли сразу две книги: «Сказка про Алю и Аля» и сборник рассказов и повестей «Накануне чуда». Мне эти книги нравятся. Буду рад, если и вам они приглянутся и придутся по сердцу.

Таков мой Гриша, которому 23 декабря 1991 года исполнится тридцать пять лет.

2 сентября 1956 года (когда мне стукнуло тридцать три) псковская областная газета напечатала три моих лирических наброска. И это было, как первый поцелуй с любимой. А в середине 1991-го для своего 20-тысячного номера та же «Псковская правда» заказала мне стихи, которые, конечно, не напечатала. Вот они:

Юбилярше

Тебе, родимый орган, стих:
Ведь это ж надо ж – двадцать тысяч!
Но сочинителей твоих
Давно пора бы крепко высечь.

Начать с ответственных мужей,
Чтоб нос по ветру не держали,
Спросить: «Не много ль нарожали?
Не жжет ли где от партвожжей?».

Не придержал бы я словца,
Ругая стиль и слог увечный,
Не жалуя «ура-певца»,
Да сам, увы, не безупречный...

Скажи: за двадцать тысяч раз
Как ты вконец не разорилась?
Вокруг тебя ведь столько нас –
Писцов – кормилось и поилось.

Не сетуй, хворая, что я
От умиления не таю –
Вокруг да около витаю,
Надежду на «авось» тая.

Стремясь в заоблачную высь
(Куда деваться – век таковский),
Хоть с кем греши, хоть как зовись,
Лишь не останься «правдой псковской»!

Как видите, за тридцать пять лет мое отношение к «родимому органу», да и отношение «Псковской правды» ко мне, обезрадужело. И, наверно, это стихотворение есть мой последний поцелуй на ее холодном лбу.

По-настоящему я взялся за стихи с 1940 года, после того как уяснил, что хочу, на что надеюсь, без чего мне и жизнь не в жизнь. А с 1956-го Поэзия всецело завладела моим существом. Люблю ее и я – однолюб: ни на что не променял бы!

С первой книжкой стихов мне просто повезло. Нежданно-негаданно на моем самостоятельном поэтическом пути повстречался большой одухотворенный человек, к тому же умный и лиричный – сотрудница издательства Татьяна Владимировна Боголепова. И «Родимые дали» (Лениздат, 1960) увидели свет.

Вот как это произошло. Получив «полный отлуп» за «русопятство» и «сомнительный идеологический крен» в моих стихах от очень партийного члена СП тов. Ч., я приплелся в Лениздат за рукописью. Но в ворохе бумаг ее не нашли, и мне было указано заглянуть через недельку-другую.

Когда папка с моими стихами отыскалась, ее стала перелистывать старший редактор редакции художественной литературы Татьяна Боголепова. Стихи ей пригляну-

лись. Она унесла рукопись домой и прочла ее. Так, вместо возврата, со мной был заключен договор на выпуск книги.

Мало того, редактором моего первенца, его крестной стала деликатная, умная и опрятная Татьяна Владимировна. Хорошо работалось с такой помощницей! Она учила, но не поучала, хвалила, но не подхваливала, доказывала, но не указывала... Воистину мир не без добрых людей.

Теперь у меня опубликовано восемнадцать книжек лирики и поэм. А итога не получается. И Бог с ним, с итогом! Впереди непочатый край многотрудной, сверхответственной и прекрасной муки – «Кровью чувств ласкать чужие души», как завещал поэтам великий Сергей Есенин. И я, как могу, стараюсь следовать непреложному закону Поэзии: верой и правдой Музе служить. Но брезжит мне вечерняя заря.

В жизни я порядочно переводил: больше для пропитания, но и для утехи сердца случалось переводить стихи.

Прозой тоже иногда маюсь. Это чаще всего рассказы. Но проза хоть и родная сестра поэзии, да не совсем то, что стихи. Проза – дело весьма сложное и хитромудрое. Мой сын Григорий, неплохой прозаик, услышав слабые мои вирши, непременно подтрунит: «Стихи у тебя сегодня, папаня, прихрамывают, не иначе, вчера на прозе споткнулся». Наверно, он прав: на прозе даже очень нехитро оступиться. Впрочем, на поэзии оступиться не хитрее...

Со вздохом облегчения признаюсь: журналы меня не забаловали и не обременили. Журнальные корректуры своих стихов, которые пофартило мне держать, мог бы пересчитать на пальцах (не прибегая к пальцам ног). Так что на перегрузку периодикой мне грех обижаться.

Нет причин сетовать и на перегрузку популярностью, и ничего: пою себе и в ус не дую.

Один критик (большинство других помалкивает) окрестил меня: «Поэт последней деревни». И хотя в это страшно и невозможно поверить, но две трети наших весей и сел убиты вчерашней и нынешней действительностью, а уцелевшие сегодня деревни дышат на ладан. И не понимать этого – всем нам – нельзя! Никак нельзя!!!

Подбивая бабки, не могу удержаться от тяжкого вздоха. Наши чувства притупились и наболели от ажиотажа стихотворных репортеров, от амбиций и заявок на главенство и лидерство в художественных процессах, от хрипучей и визгливой шушеры, от красной, желтой и зеленой горлодерщины, от авангардизма, от бесноватой масскультуры. И, как никогда, людей потянуло к Пушкину, Кольцову, Клюеву, к «Коробейникам», к «Барыне», к «То не ветер ветку клонит», к опере «Жизнь за царя»: кого – к кому, кого – к чему. Но непременно к настоящим провидцам и певцам ныне неслыханно поруганной и обиженной, обожаемой земли Русской, ее обкраденного – осовеченного и обностраненного – Глагола и Напева.

Услышьте меня!

В человеке я дороже всего ценю веру, любовь, доброту, красоту и талант.

В Поэзии мне ближе всех Сергей Есенин, Александр Блок, Николай Рубцов – исповедующиеся исповедники.

Поэму Александра Твардовского «Василий Теркин» знаю наизусть.

Из ныне здравствующих поэтов крепко люблю Глеба Горбовского, Светлану Молеву и Владимира Соколова – Поэтов, а не стихотворцев. Да будут они благословенны!

В прозе самые чтимые писатели Николай Гоголь, Федор Достоевский, Николай Лесков, Михаил Пришвин, Фе-

дор Абрамов, Константин Воробьев, Василий Белов, Виктор Астафьев, Владимир Личутин и, конечно же, первый из современников – Валентин Распутин.

И еще одно, последнее, признание. В жизни и литературе я не мыслю себя без России, без боли и гнева, ныне пренебрежительно прозванных «эмоциями». Время и безвременье понимаю, как ни чем и тем более ни кем не сокрушимый сплав будущего, настоящего и прошлого. Все перемелется.

1991, Псков

Станислав Золотцев

«ЗАЖГИ ВЬЮГУ!»

1

Русский урок

А по земле прошёл Поэт,
Перекрестив, оставил землю.
Оставил Боль и долгий Свет,
И я стихам, как птицам, внемлю.

Эти строки сказаны Поэтом о Поэте. О замечательном и самобытнейшем Русском Поэте, с чьим творчеством и с чьею судьбой я хочу вас познакомить вкратце. Замечу, что строки эти принадлежат тому, кто был Поэту самым близким человеком. Иначе они и не явились бы на свет... Написал это – и сразу подумалось: но ведь б л и з к и м и, действительно и по-настоящему близкими людьми для него были все, кто не просто звали, но ощущали себя русскими людьми. Принадлежащими к крупнейшему славянскому народу и его стране, его земле, его духу (и не столь уж важно Поэту было, как они относились к его творчеству и к стихам вообще), а не к тому или иному государственному «режиму», политической «линии» и прочим временным делам. Близкими ему с юных лет, отданных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, кто, не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вражеской кары, ни даже смерти самой, – готов был отдать и все

силы свои, а если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский народ, во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие были ему, Поэту и Воину, не близкими. По крайней мере не своими, не родными. Да, так жестко и так резко он жил. Так он и творил свою поэзию...

Понимаю: сказанное выше может показаться читателю, особенно молодому, патетическими, выпренными словами. А к таким, к высоким, словам нынче у людей мало доверия: слишком обесценилось такое слово от частого употребления в недавние годы. Всё так... Но – я многие годы знал этого поэта, он со временем стал и до последних дней своей жизни оставался мне верным, добрым и строгим старшим другом, и потому мне, как мало кому, очевидно: о нём невозможно говорить «с температурой 36,6». Он сам не боялся никаких слов, ни самых простых и даже грубоватых, ни самых пронзительно высоких: все его слова были им выстраданы. Он оплатил их своей судьбой – и своей кровью. Так говорил он и в самых ранних своих стихах, написанных между партизанскими боями, когда решалась судьба страны, когда в души многих русских людей вкрадывалось сомнение – победим ли?

И полдни черны и косматы,
И горького горше – дымы.
Отчизна, твои ль это хаты?
И, может, не русские мы?
...Бежали без ружей солдаты,
Как тени, ползли старики...
Куда ты, Россия? Куда ты?
Хоть слово надежды реки!

Но юный поэт-воин сам изрекал это слово надежды, слово решимости к смертельной битве:

Мы внемлем. Мы жить не устали,
Но грозно на крестной стезе
Мы стиснули души, мы встали –
Живые и мёртвые – все.

И через многие годы после великого сражения с вражеским нашествием он хранил в себе эту решимость, эту волю – эту огненную память:

Доньне свинец чужеземца-солдата
Покою спине не даёт;
И тяжкий валун над могилою брата
Сжимает дыханье моё.
Нет! я ничего не забыл, хоть и рад бы
О многом, что знаю, не знать.
И жжёт мою душу огонь нашей клятвы,
И сердце попробуй унять!

Его сердце никогда не унималось, не успокаивалось. И тогда, когда в жизни страны наступило время относительной стабильности, то, которое позже нарекут «застоем», что не совсем точно: народ жил и трудился, в рост шло очень многое и в экономике, и в науке, и в культуре, – в застое действительно находилась часть верховной и средней бюрократии, многие представители коей позже стали ведущими «демократами-перестройщиками»; она-то и вгоняла общественную жизнь и моральный климат в некую сытую (верней, полусытую) сонливость, в равнодушие к бедам и горестям ближних и дальних и своей родной страны, – Поэт не принял эту «стабильность» всем своим горячим сердцем.

А я не верю, я не верю,
Что всё на свете – всё равно, –

так с болью за бытие родной земли и за души сограждан писал он тогда. И много ещё тревог пророчески выразил он в строках той поры – и сбывлись его горестные предчувствия! И в противовес тем, кто уже тогда, и «на кухнях», и в печати, начинал швырять камушки в Отечество – дескать, «мне недодали», Поэт утверждал:

Нас в люди выводила Русь
Всей строгостью земли и неба;
Пусть хлеб её был чёрным, пусть,
Но никогда он горьким не был...

И когда с Отчизной и народом вновь произошёл гигантски кошмарный катаклизм, длящийся и по сей день, когда «перестройка» перешла в «катастрофику», когда в развалинах оказалась та Держава, за которую Поэт сражался с фашистской агрессией, та многонациональная страна, что звалась Советским Союзом, но для всех в мире она-то и являлась Россией, когда почти в мгновение ока огромное народное множество оказалось обездоленным, ограбленным и разорённым, – он, в самую последнюю зиму своей жизни (оттепельно-гнилую, столь не схожую с той лютой, когда я пишу этот очерк), не впадая в отчаяние, но по-русски отчаянно воскликнул, обращаясь к отческой земле:

Заплакали берёзы:
«Зима нас подвела:
Крещенские морозы –
Три градуса тепла».
Захолодело сердце –
В ретивом перебой:
Любовью не согреться.
– Россия, что с тобой?

...Так и всегда получалось у него в творчестве (как, впрочем, и у каждого настоящего русского художника Слова): судьба Отчизны, нации, государства неотъемлема была в его душе и сознании от судьбы земли. В самом буквальном смысле – земли, почвы нашей северо-западной, супеси, суглинка, подзола, прорезанных слоями девонского плитняка (из которого в нашем краю сложены и крепостные стены, и стены крестьянских дворов). Ибо Поэт был сыном этой земли, почвы, природы, натуры: и его натура – по крайней мере для тех, кто хорошо и близко знал его – словно бы выростала из почвы, из нашей природы, суровых и даже неласковых порою на первый взгляд – но столь щедрых на добрые свои плоды...

Поэт был сыном псковского села.

Он родился 17 августа 1923 года в деревне Ситовичи Порховского уезда Псковской губернии. Ушёл из жизни 16 января 1996 года.

Его звали Игорь Николаевич Григорьев.

Стихи, которыми открылся мой очерк, написаны были подвижницей отечественной культуры, историком-искусствоведом Еленой Николаевной Морозкиной. Она спасла ещё в советское время не одну жемчужину древнерусского церковного зодчества. Но была она и настоящим русским поэтом – под стать тому, чьей женой ей выпало стать в последние 20 лет его жизни. И не будет преувеличением сказать, что среди спасённых ею ценностей нашей духовности была и жизнь её мужа, Игоря Григорьева. По крайней мере можно сказать: он не прожил бы этих двух десятилетий, не будь с ним рядом она, Елена Николаевна, так же, как и он, бывшая воином Великой Отечественной войны, «пушкаркой», рядовым в женском артиллерий-

ском подразделении... «Оставайся там, где был, / Оставайся тем, что есть. / Сократи свой скорбный пыл, / Сбереги, свой ум и честь» – вот одно из женски мудрых увещаний, с которыми она обращалась к своему любимому другу, и в пожилом возрасте остававшемся с по-юношески максималистским характером, не мирившимся даже с мельчайшей подлостью, не приемлющим компромиссов с непорядочными людьми... Поэтому правильно будет сейчас обратиться прежде всего к её, Елены Морозкиной (1922–1999) строкам воспоминаний об Игоре Григорьеве, – их даже невозможно назвать книжным словом «мемуары», это страстный и живой набросок портрета, который она не успела завершить, однако и то, что ею написано, даёт «огнепальное» впечатление:

«Игорь Григорьев – уникал, поэт Божьей милостью. Это прежде всего и на все времена. Стихи его останутся жить с нами, в них – его душа.

И вместе с тем Игорь – подпольщик (а ему было 18 лет), Игорь – партизан. А после войны Игорь – охотник, Игорь – каменщик. Игорь – фотограф (в том числе – участник археологической экспедиции в Забайкалье). Игорь – студент филфака Ленинградского университета, который он окончил. (А чтобы зарабатывать, позировал в Академии художеств – недаром он был красив.) Игорь – создатель Псковской писательской организации и её руководитель в течение многих лет.

Игорь Григорьев <...> глубинный талант, глубинно чистая душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или даже запредельно) самоотверженная. Даже незнакомому человеку он мог отдать последнее. Вспоминается такой случай. Женщина, лишившаяся на войне рук, строила для себя дом, но ей не хватило денег

на кровлю. Она попросила помощи через газету. Игорь Николаевич получил пенсию и послал ей деньги. Кровлю возвели, но её сорвало вихрем. Игорь Николаевич послал ей ещё. В прошлом году эта женщина, выступая по радио, сказала, что Игорь помог ей “из своих сбережений”. Никаких сбережений у него не было. Он отдал последнее.

Любовь к Родине была для него главным в жизни, а стихи – его сутью и сутью выражения этой любви... Подпольщик, партизан, он был весь изранен, изрезан хирургами. Больницы. Больницы. Больницы... До конца дней к нему приходили письма с обращением “товарищ командир!”. Он был инвалидом Великой Отечественной войны» («Псковская правда», 28 октября 1998 года).

Здесь – своего рода «штрих-пунктир» жизни и творчества Игоря Григорьева. Поэтому далее мы и пойдём по линиям этого штрих-пунктира, начертанного самым близким Поэту человеком. Будем приводить воспоминания о нём, написанные людьми, которые знали его со времен его юности. Но вначале – слово самому Поэту. Говорю же вам: мне, знавшему его с моих юных и с его молодых лет, совершенно невозможно отделять его жизнь, его биографию, его человеческую судьбу от его поэзии. Это – две взаимопорождающие стихии, как в судьбе любого русского художника слова; вот он в самые что ни на есть «стабильные» времена говорит землякам и согражданам самые тревожные слова, задаёт им самые горькие, неудобные и вроде бы неуместные по времени вопросы. Он по-прежнему говорит с ними как воин, как партизан:

Стокровьем закат пересия,
Победу над ночью зажгла,
Россия, Россия, Россия,
А если бы кровь изошла?

А если б разверстая бездна
Пронзила заволжский песок?
Тебе-то, вещунья, известно,
Как в даль твою впился б Восток.

Но эти слова – ещё более или менее привычные для литературы 60-х, хотя и очень тревожные; однако вот строки, для нас ставшие самыми актуальными сегодня:

Нельзя повторить Нагасаки,
Зане ноне порох не тот.
Авось перебьёмся: без драки?..
А если «авось» не спасёт?..

Не спас... И сегодня мы претерпеваем трагедию нашей страны без всякого «авось», мы все сегодня встретили великое новое бедствие державы. И во многом так произошло потому, что власть имущие в ней предпочитали не прислушиваться к тревожным и острым предупреждениям лучших и правдивых поэтов, но слушали сладко-велеречивые успокоительные голоса льстецов из так называемой придворной оппозиции. Псковский поэт никогда не принадлежал к последним. Ибо он был истым сыном земли, речью которой всегда была только правда. Жгучий Глагол...

Он всегда понимал и знал, что жизнь сложна, многослойна и неоднозначна. Уже на склоне лет он так говорил об этом в одном из своих интервью:

«...Отец мой четыре Георгиевских креста получил в царской армии, дослужился до штабс-капитана¹, был любимцем генерала Брусилова – а в восемнадцатом году стал начальником Порховской ЧК...

¹ Николай Григорьевич Григорьев начал Первую мировую войну унтер-офицером, а закончил в должности командира саперной роты.

Я по-немецки читать и писать научился раньше, чем по-русски. Учила меня немка, которая жила в нашем хуторе. И в подполье нашем, кстати сказать, один паренек тоже был немец. Так что я против того, чтобы из-за национальности ярлыки клеить» («Псковская правда», 14 мая 1992 года).

...Это знание немецкой речи сыграло не только в боевой биографии, но и в послевоенной жизни Игоря Григорьева серьезную, можно сказать – роковую, роль. Первоначально он со своими сверстниками, оставшимися в тылу врага (Псковщина была захвачена фашистами столь стремительно, что лишь немногие юноши и мужчины призывных возрастов успели стать красноармейцами) организовал самостоятельную, сугубо молодежную группу для борьбы с врагом. Но позже он получил задание подполья – согласиться на предложение оккупантов работать переводчиком в комендатуре. «Служба» эта длилась недолго: над пареньком нависла угроза разоблачения, и он вместе с несколькими юными товарищами вынужден был бежать в лесную глухомань, где уже стал настоящим партизаном... Однако прошли многие годы, даже десятилетия – многих свидетелей народного мщения не стало в живых, а в немногих уцелевших архивах их отрядов царил неразбериха. Тогда-то и родилась, и поползла среди псковичей грязная клевета: дескать, служил Григорьев у немцев по доброй воле. Он и не думал оправдываться, знал: к тому времени его поэзия уже говорила сама за себя – как правда Времени. Лишь в нескольких его строках прорывались болевые ноты, например вот эта: «Я Родине своей не изменял...». Но те, кто знал его и как поэта, и как человека, верили в его воинскую честь, даже и не будучи знакомыми с такими его (долго лишь в черновиках

остающимися) откровениями. Ибо все в его книгах было сутью и статью воина.

Вот и автор этого очерка впервые увидел и запомнил его именно таким – воином всей сутью и статью.

Это произошло в один из самых памятных дней моей ранней юности (или еще позднего отрочества?), в конце мая 1960 года. То было в одном из не только живописнейших, но и самых исторических мест нашей Псковщины: там, где красивейшая – а в те поры еще почти девственно прекрасная – лесная речка Череха впадает в главную реку нашего края, в Великую. Близ ее устья когда-то, 23 февраля 1918 года, под Псковом, красногвардейский отряд и принял первый бой с наступавшими на древний город кайзеровскими войсками. Тот день с тех пор и считается датой рождения Красной Армии. Множество славных и героических людей стали тогда гостями слета юных псковичей, где одних из нас принимали в пионеры, других – в комсомол. Мне запомнился и седовласый генерал Черепанов, командовавший теми красноармейцами, и его соратники, и гордость наших горожан – бывшая в том бою 16-летней гимназисткой-пулеметчицей, но уже управлявшаяся с оружием мастерски – Ангелина Золоцевская (вскоре воспетая тогда еще молодым журналистом Василием Песковым в его очерке «Псковитянка»)… И так органично с разгоравшимся, еще синеватым белоночьем сливался наш многоголосый хор: «Взвейтесь кострами, синие ночи!», – ведь и костры огромные пылали, и сам автор этой песни, Кайдан-Дешкин, композитор из Великих Лук, прибыл на наш слёт… Было чему запомниться!

Но меня, уже «баловавшегося» стихами, естественно тянуло к тому костру, где звучали строки поэзии. Там тоже

увидел я ряд людей, уже считавшихся живыми псковскими, а то и питерско-московскими легендами... Однако буквально сразу же мои глаза были прикованы одним лицом – да нет, скорее ликом: сей лик и впрямь словно с иконы сошел. То был облик, с одной стороны, принадлежащий типичному псковскому крестьянину – из той нашей глубинки, которой в давние столетья не коснулись никакие восточные нашествия. Прямой, крупный, «скобарско-чудской нос», темновато-русые, с легким «льняным» отливом и очень густые волосы, – они у него до последних дней такими оставались, не редели, и седина их, казалось, почти не трогала... А с другой – это лицо отличалось столь резкой неповторимостью, что в любом многолюдье таких же наших земляков из глубинки он сразу же выделялся. Уже значительно позже я понял: выделяла его жесткая печать перенесенных болей и страданий. Она виделась во всем – и в глубоких морщинах впалых щек, и в суровом взоре донельзя – ну, поверьте, просто невероятно синих глаз. Их синева сияла даже ночью... Словом, этот воин – а он никем иным не мог выглядеть в своей гимнастерке, хоть и без погон, но с орденом и медалями, – так поразил мое воображение, что даже его младший товарищ по поэзии и по партизанским боям Лев Маляков, смотревшийся в те годы истинным Лелем, не столь поразил мое воображение своим обликом...

Игорь Николаевич читал нам тогда не одно и не два три свои стихотворения. Но у меня в памяти от того позднего вечера осталось лишь одно: «Великая». Быть может, потому, что «натура» – широкая водная гладь – поблескивала и поплескивала рядом. А может, так мне запомнилось потому, что его книга «Родимые дали», вышедшая в том же 1960 году и тогда же мною прочитанная, этим стихот-

ворением о моей реке детства открывалась. Вот и вправду: первое впечатление – самое сильное. Многие вещи моего старшего товарища по перу кажутся мне художественно более мощными и весомыми, но его главным «поэтическим паспортом» осталась именно «Великая». Лишь несколько строф приведу здесь из нее – тех, что наиболее живо передают звучание его голоса, его боевой судьбы:

К тебе придет рассеянный турист,
Взберется на карниз известняка,
Посмотрит равнодушно сверху вниз,
Холмистые окинет берега,
Пожмет плечами: «Ты невелика,
Хваленая Великая река».
А я с воспоминанием вдвоем
На берегу твоём стою без слов.
Не нагляжусь на чистый окоем,
На стену поседелых плитняков,
На псковских синеглазых мужиков.
Не надышусь лучистым холодком.
...Не кто-нибудь другой, а ты меня
Избавила от лютого огня
В пылающем сорок втором году,
Когда отряд наш угодил в беду
И пасть свою сомкнула западня.
Горела гимнастерка у меня.
Горел в груди свинец:
«Конец... конец...»
И задыхался я, судьбу кляня.
Не кто-нибудь другой, а ты
Мне пламя залила
И остудила кровь живой водой,
И, от карателей пригорком заслоня,
Скрывала в камышах до темноты.
Что было бы со мной, когда б не ты!..

...И о чем и о ком бы ни писал автор «Великой» – два главных мотива, две стихии всегда звучали (и звучат!) в его книгах: родная Псковская земля – и война. Псковщина, опаленная войной. Война, сгубившая столько прекрасных земляков... Даже когда говорил о красоте родной сельщины – пламя пожарища пылало в глубине этих лирическо-пейзажных строк... Вот характерная черта его творческой натуры: он почти никогда не писал не только так называемых путевых произведений, – на страницах его книг мы почти не встретим упоминаний о тех краях и городах, где ему довелось не просто бывать, но и жить подолгу. Это роднит его с наиболее глубоко русскими поэтами. Да, у Есенина отразилась в стихах Москва, звучали и «Персидские мотивы» – но ведь не этими творениями он прежде всего запечатлен в нашем отечественном сознании. Так и Николай Рубцов не стал ни «маринистом», ни певцом Северной Пальмиры... «Я поэт потому, что у меня Родина есть» – это Игорь Григорьев мог бы сказать (и говорил) о себе с полным правом: родной край не был для него «малой родиной», только – с большой буквы.

Но точно так же, читая его книги, лишь очень чутким сердцем можно ощутить, что они написаны человеком, перенесшим невероятную уйму физических и моральных страданий. Поэт-партизан Лев Иванович Маляков, познакомившийся со своим старшим другом еще в партизанском отряде, учился с ним вместе и на филфаке Ленинградского университета в первые послевоенные годы. Он оставил немало воспоминаний о Григорьеве (которые еще ждут своей публикации), столь же колоритных, сколь и тяжеловатых для восприятия: ведь речь идет в них о людях муках инвалида, которому приходилось «для поддер-

жания штанов», да и ради прокорма семьи (Игорь в городе на Неве уже обзавелся первой – и, прямо скажем, не последней семьей) заниматься таким приработком, что и не каждому здоровяку было под силу; вот что, в частности, он вспоминал:

«Тяжелая работа спровоцировала выпадение диска в позвоночнике. С адскими болями он лежал в постели и все равно писал. Тайком от его жены я приносил “маленькую”, чтобы приглушить боль. Помогало, но ненадолго. Как инвалида войны Игоря положили в Военно-медицинскую академию. Сделали операцию, но неудачно. Через несколько лет операцию пришлось повторить. К перемене погоды донимали сильные боли. Приходилось спасаться наркотическими снадобьями, которые ему выписывали врачи. Когда наркотиков не было (вспомним, что шло самое начало 50-х, – что представляла из себя тогда наркология «для простых людей»? – С. З.), переходил на водку. Потом мучительно выходил из болезни, в рот не брал по нескольку лет. Помогали выйти из “транса”, как называл он свое состояние, все те же стихи. Поэзия была его звездой».

Трудно сегодня представить, чтобы человек в столь трудном, болезненном состоянии в те же самые времена мог бы создавать строки, которые иначе как жизнеутверждающими – а нередко и щедрым юмором пронизанными – назвать нельзя; вот такие, к примеру:

Я иду через покосы
Прямиком.
Я иду, простоволосый,
Далеко.
А вокруг меня давнишняя
Родня:

Бусы свешивает вишенью
С плетня.
Над колодцем – долговязый
Журавель.
При дороге дремлют вязы,
Дремлет хмель.
Утро искры горстью мечет
На пруду...
Ничего, что мне далече,
– Я иду!

И он шел – к своим друзьям, прежде всего ленинградским, и он был душой их компании в те действительно не простые для страны и для ее общественно-идеологической обстановки годы. И тут стоит упомянуть хотя бы несколько из имен тех его товарищей, которые собирались у него в девятиметровой (!) комнате коммуналки, как вокруг магнитно-притягательного, теплого духовного очага. Это были и фронтовики, и те, что юношами пережили блокаду. Его гостями-приятелями и сотрапезниками становились тогда еще совсем начинающие Федор Абрамов, Глеб Горьшин, Владислав Шошин (ставший потом его постоянным исследователем), наш земляк Александр Решетов... Мне в мои студенческие 60-е годы посчастливилось – да и позже – знать их, и могу свидетельствовать: не такие то были люди, чтоб собираться вокруг болезно-хмурого человека. Он в их глазах был кремень-парень, искрометный, хотя порой и непредсказуемый... «Даже трагические истории он подавал с юмором, на что был большим мастером. В любой компании Игорь оказывался в центре внимания», – так вспоминают о нем его тогдашние питерские товарищи-коллеги... И в грустную минуту он мог совершенно «в порядке импровизации» выплеснуть такое откровение, от коего всем становилось легче на душе:

Рыжеглазый, хмельный, рослый,
Долгожданный грянет праздник:
Дождь пролился, слезы, росы –
Все проветрит, все разъяснит.

...Словом, при всей своей невероятной мужской цельности он, наш пскович из Ситович, наш плюсский партизан, наш балагур и весельчак порой (даже сам для себя неожиданно) мог поворачиваться к людям самыми разными гранями своей натуры. Здесь уместно будет сказать, что невероятное его обаяние не всегда сослуживало ему добрую службу – как в писательской судьбе, так и – не в меньшей мере – в его лично-семейной мужской жизни. Что и говорить: такого мужчину не могли не любить многие женщины... А после войны многое в отношениях мужчин и женщин измерялось уже на других весах.

А потому я считаю здесь должным привести несколько строк, написанных одной из тех, которую он всерьез – не только по паспорту – звал своей женой в 60-е годы, и много сделал для ее творческого восхождения, поэтессой Светланой Молевой; это – из ее работы, обращенной к памяти старшего друга:

«Сколько бы теперь ни написали о нем, нам и всем миром не собрать малой доли стремительного, яркого, разрываемого противоречиями образа. Скорее всего, не удастся даже последовательно выстроить биографию, разбросанную по всей стране».

...К слову сказать, я такой задачи перед собой в этой работе и не ставлю. Ведь пишу всего лишь небольшой очерк о жизни и творчестве большого русского поэта. Думается, действительно, «большое видится на расстоянии». Игорь Григорьев заслуживает серьезного и фундаментального

исследования, как, впрочем, и целый ряд поэтов Псковщины и всей России, недавно ушедших. Верю: такое время придет. Я же хочу в этом очерке выделить главное, заключенное в заглавии одной из самых его главных книг. Она называется по его центральной поэме – «Русский урок». Вся творческая судьба его была и остается для нас Русским Уроком...

А все же родной край – и в том тоже состояла для Поэта главная часть его Русского Урока – манил к себе отовсюду, из Питера, из Сибири, – не только памятью о войне, но миром своим. Миром – во всех смыслах этого древнерусского слова. И эпическим спокойствием зеленей, пажитей, боров, перелесков, где уже затягивались окопы и траншеи, и мирным созидательным трудом псковской сельщины. Радость полнокровного бытия он, как истый сын деревни, мог испытывать лишь в стихии с детства близкой ему природы. Об этом в каждой из его книг есть стихи, исполненные просто возрожденческим ощущением красоты:

В деревне сейчас полонила поляны
Такая большая трава!
На зорях гривастые бродят туманы
Да плещется синь-синева.
А день ничего себе:
Точен и прочен,
Всему свой и срок и черед.
Здесь даже осиновый тын у обочин
Что может от жизни берет.
Бездонное небо звенит и ликует
От крыш невысоких до звезд.
И, годы суля мне, кукушка кукует,
И мир удивительно прост!

Но это – отнюдь не простота примитива, а простота тысячезвучья и тысячецветья – тысячелетья! Игорь Николаевич, можно сказать, обладал в этом плане ястребиным зрением, но то было зрение души, зрение сердца, взор натуры пахаря и охотника... Тут опять придется сослаться на воспоминания самых близких ему людей. (Хотя, как мне видится, стихи его говорят сами за себя...) Вот красноречивые воспоминания Е. Морозкиной:

«Без родной природы Игорь Григорьев не мог. Он знал ее таинства, подобные чудесам. Он был страстный рыболов. Это было для него таинство слияния с природой. Однажды, когда Игорь поехал в деревню, снег выпал в мае. Выросли сугробы. Мертвые птицы лежали кучами. Соловьи, ища спасенья, бросались к нему, забивались ему в карманы, за шиворот...».

Вроде бы – чудо? Но так все живое может относиться лишь к своему, к родному человеку, в ком оно чувствует защиту, а не угрозу...

Надо сказать, что, еще живя на берегах Невы, автор «Русского урока» вдохновлялся не только воспоминаниями детства и юности, не только недавнюю партизанскую страду воплощал в стихах. Он становился уже в начале творческого пути настоящим поэтом-историком. Главное свидетельство тому – его поэма «Колокола». По-разному историки и сейчас оценивают факт воссоединения вольного Пскова со стольной Москвой: это событие действительно дает несколько путей для трактовок. Григорьев же рассматривает его прежде всего с точки зрения историко-эстетической – как свидетельство мастерства псковских древних умельцев-художников... По приказу великого князя Руси вечевого псковский колокол был разбит на мелкие части и разбросан в дремучих валдайских лесах. Но

местные жители собрали куски разбитого колокола, и в золотых руках кузнецов ожила и запела на чародейном языке старинная бронза... И вот с тех пор звенят валдайские колокольцы, и под этот звон

Припомнятся были и сказки,
Припевки веселой Псковы,
Мечей забубённые ласки
И плач неутешной вдовы.
Тягучие вопли набата –
Забытого вольного брата...

Поэма «Колокола» начинается описанием схватки плесковичей с ливонскими рыцарями, картиной, где стремителен уже сам ритм, передающий тревогу и напряженность битвы:

У стен стон,
Звон со всех сторон,
Ключьями чад:
Котлы со смолой кипят –
Кромешный ад!
И над ночью –
Набат! Набат! Набат!

Автор здесь предстает мастером эпического масштаба – оставаясь при этом лириком: не столь уж частое качество у русских советских поэтов второй половины XX века. И главная музыка сего лирического эпизода – личностность восприятия. В немалой мере художник дает слепок своего псковско-воинского мироощущения.

Да, в сущности, таким он оставался во всем, и не только в поэзии, но и в жизни. Могутный былинный богатырь на вид – и чрезвычайно ранимый, порой невероятно обидчи-

вый человек. С ним даже очень близким людям бывало не просто. И он сам знал, и сам остро переживал такую свою «совместность несовместного»... Но самое его большое переживание было не за себя – за судьбу угасающей (после первого послевоенного подъема) псковской сельщины. Сердце болело у него за хиреющие в «кукурузную пору» родные деревни его округи... Он, живя в 50-е годы на невских берегах, все чаще приезжал в родную Порховщину, и стихи, там рождавшиеся, становились опять-таки сплавом проникновенной сыновней лирики с гражданственной эпикой:

Мое родимое селенье,
Тебя уж нет,
Да все ты есть,
Волненье, тяга, повеленье,
Моей души беда и честь.
Вон там, за сонным косогором,
Вдали от зла и суеты,
Окружено былинным бором,
Дышало ты, стояло ты... –

так обращался уроженец Ситовичей к уже исчезнувшему отчему гнезду... И все чаще обуревала его мечта о возвращении в родной край. И непросто было это по многим причинам. Каждый приезд – это и возвращение к могилам погибших товарищей по оружию, это новая боль и без того изболевшегося солдатского сердца... «Лихое и страшное время, никогда не перестану думать о тебе!» – чуть не в отчаянии воскликнул он после одного из таких приездов. Тогда-то и родились у него строки, вошедшие в одну из первых книг, а потом не раз перепечатывавшиеся в последующих сборниках:

И мне мерещится доньне
Ребенок, втоптанный в песок,
Забитый трупами лесок,
Как бог, распят старик на тыне.

И все-таки Игорь Николаевич все отчетливее понимал: его партизанские стихи, написанные в юности, на войне – лишь своего рода «фундамент» для главного здания его поэзии, и возвести это здание, достойное родной земли и ее героев, он сможет, только вновь повседневно ощущая дыхание этой земли – дыхание, в те поры еще хранящее гарь великого народного побоища. И многие его товарищи по оружию, псковичи-партизаны, были еще живы, и в дружеских разговорах с ними он душой и сердцем возвращался в были народных мстителей... Да и попросту говоря, то состояние, что издревле зовется «голосом лирным», вдохновением, вселялось в него не среди каменных петербургских громад (пусть и овечьих голосами стольких златоглавых гениев), а все же среди «горушек да болотинок», среди супеси, суглинка да подзола, чей дух и был для него основой того самого вдохновения. Короче, Псковщина все сильнее звала его вернуться – не как блудного, а как верного сына. Вот доказательство тому – одно из самых, по-моему, озаренных и молодой ярью пронизанных стихотворений – «В снегопад», и неслучайно оно посвящено загадочному григорьевскому другу, с которым они не раз и «полевали», охотничали вместе – и спорили до хрипоты. И опять же неслучайно оно создано в пору, когда и у друга, у Федора Абрамова, начинался новый творческий подъем (он всюю стал работать над «Пряслиными»), и Григорьев на Псковщине стал ощущать в себе новый прилив сил как для лирики – причем горячей, любовной, так и для больших поэм. Приведу его почти целиком:

Вы видели кукушку на снегу?
Вы слышали раскатистую птаху?
Как будто голову кладущую на плаху,
Когда другие птицы ни гугу;
Когда апрель с морозом заодно:
Притих, забыл свое предназначенье.
И стонет, тонет голубое пенье,
Ложась на зимнее зияющее дно...
Так не бывало: валит снегопад,
И огневает ломкий клич кукушки, –
Как будто разгорается набат
На голой, обессоченной макушке.
И, немо вопия, взметнул старюка-клен
Кривые руки к серому восходу:
«Даруй, апрель, зеленую погоду!»
Но глух апрель, куржою убелен.
А снег лежит. Не хочет плакать снег.
Хочет снег: «Сожги меня попробуй:
Прохоложу – не запоешь вовек!».
И кроет землю белую хворобой.
Да, не до песен теплomu комку
В тисках у холодоги-великана.
Но твоему горящему «ку-ку»
Уже поверил юный лес, Весняна.
Веди, буди от ледяного сна:
Земля должна. Земля еще задышит.
Зови, бедуй: тебя поймет весна,
И солнце огнеперое услышит!

...Не удержался-таки: процитировал этот натур-философский шедевр целиком, чтобы с полным правом на то воскликнуть – «КАКОЕ МАСТЕРСТВО!!!» – и продолжить эту мысль восторга некоторыми сугубо стиховедческими комментариями. Но ведь и то сказать: даже по-доброму относившиеся к моему старшему другу-земляку

исследователи чрезвычайно редко задерживали взгляд на фиоритурности его стилистики, на чрезвычайной точности и сочности его определений, на слаженности и органичности движения внутреннего мелодизма. А заметим: тут нет ничего от «изыска», от внешнего «эксперимента» – но вся образная система дышит новизной и свежестью – как дышит готовая очнуться внешняя земля. А эти ненавязчивые внутренние созвучия – «стонет, тонет», естественная игра созвучий – «зимнее зияющее»; а как «подогнаны» друг к другу в одной и той же строке архаичное «вопия» и просторечное «старюка». А главное: вся эта роскошь поэтики, звукописи, метафорики сведена автором в предельно цельную картину – в Зов Жизни, в Предчувствие Надежды, рожденные самой землей. Природой. Натурой – причем и человеческой натурой... Неслучайно же и Федор Абрамов, и Игорь Григорьев – при всей простоте своих характеров – были для меня едва ли не самыми натуральными людьми среди литераторов, которых мне довелось знать в моей литературной молодости.

...Но именно потому, что ее начало пришлось на 60-е годы в Ленинграде, могу с определенностью сказать: таким людям тогда приходилось весьма сложно в питерской художественной среде. Не впадая в подробности и детали многих ее особенностей, одно замечу (и пусть кто-то, если возжелает, приклеит на меня очередной «политизированный» ярлык): такие писатели были для нее слишком, даже вызывающе русскими. И не потому ли уехал из Питера целый ряд талантливых художников слова, и не «в полный рост» поднялись в глазах читателей такие самородки разных поколений, как Владислав Шошин и Александр Решетов, а как тяжело всю жизнь приходилось Глебу

Горбовскому, – список можно бы длить и длить... Можно заметить и еще одну особенность творчества Игоря Григорьева конца пятидесятых – начала шестидесятых лет. Напомню молодым: то было время так называемой оттепели, когда мало кто даже из порядочных писателей (хотя бы ради конъюнктуры) не ударялся в так называемое «разоблачительство», избегал мотивов «борьбы с культом личности». Без таких «паровозов» тогда в Ленинграде (даже более, нежели в Москве) трудно было пробить не только книгу, но и журнальную публикацию...

Перечитайте все первые книги Игоря Григорьева – ничего подобного даже слабым намеком не сыщете!

А уж ему-то, крестьянскому сыну, видевшему бедования псковской сельщины 30-х годов прошлого века, черные последствия коллективизации, казалось бы, было что сказать в стихах на тему «перегибов и репрессий!» Но – он и рос – на войне, и сражался – с той неколебимой Верой, которая была чужеродна всяческому временным конъюнктурно-политическим поветриям.

И не потому ли в 90-е годы, уже незадолго до своей кончины, с зубовным скрежетом видя, как ненавистный ему власовский триколор стал государственным штандартом, взвившимся над окончательно разорвавшимися псковскими селами, он на разные лады произносил две свои импровизационные строчки:

Я многое не принимал в том строе,
А в этом – ничего не принимаю!¹

...Но это произошло уже гораздо позже. А тогда, в начале 60-х, будущему автору «Русского урока» и «Красухи» на берегах Невы дышалось во всех смыслах тяже-

¹ Точнее, в авторском исполнении эти строки звучали так:

В строе том – не признавал я многое;
В этом строе – отрицаю всё! – *Ред.*

ловато. И в прямом, медицинском: питерский воздух не лучшим образом действовал на его легкие, да и вообще на весь израненный организм. И, как было уже сказано, в общественно-литературном. И – в личностно-семейном тоже...

Не хочу, не могу, не имею никакого права хоть как-то комментировать причины, по которым у моего старшего товарища в Ленинграде семейная жизнь пришла к кризису. Об этом даже Лев Маляков, его друг, осведомленный во многих нюансах личного бытия своего партизанского «кореша», упоминал с чрезвычайной осторожностью – а уж куда как был размашист в сугубо «мужских» разговорах... Сам же Игорь, когда в 80-е и особенно в 90-е годы мы с ним сдружились, порой отзывался о том семейном кризисе, называя «себя любимого» такими словечками из «псковского говора», что и мне, бывшему псковскому мальчишке, прошедшему завод и флот, не всегда было удобно впускать их в слух. А можно сказать проще: кто же из поэтов не влюбчив, и кто же, даже в зрелом возрасте, способен четко отличить любовь от влюбленности?.. Тут и другое надо сказать: как бы там ни было, Игорь Николаевич вырастил замечательных детей, среди которых мы, псковичи, с особой гордостью смотрим сегодня на бывшего морского врача Григория Игоревича Григорьева¹, ставшего замечательным ученым-наркологом, избавляющим множество людей от тяжелой зависимости...

Наконец, в начале 60-х в жизнь уже 40-летнего человека вошла юная псковичка, ставшая впоследствии (и во мно-

¹ В прошлом офицер-подводник, ныне Г. И. Григорьев – заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик, член Союза писателей России и иерей Русской Православной Церкви. Дочь И. Н. Григорьева Мария – петербургская поэтесса. – *Ред.*

гом под его началом) настоящей поэтессой. Да, через несколько лет он и к ней обратит полные светлой печали строки:

Заря, заряна, заряница,
Червоннокрылый небокрай,
Моя печальная жар-птица,
Не улетай, не догорай...

Улетела... И в конце концов догорела... Но – начиналось все действительно красивой сказкой, которой завидовали едва ли не все, знавшие Игоря и его юную избранницу.

Словом, к середине 60-х вся судьба нашего поэта вновь и уже окончательно повернулась «на родиму сторонушку». Но – это и в наши-то «беспробисочные» дни такие проблемы не просто и не вдруг решаются, а уж тогда, в жесткие советские! – порой тут возникали трудности чуть не вселенского масштаба с почти шекспировскими страстями... Однако, тавтологически переиначивая известное присловье, скажем так: не было бы счастья, да счастье же и помогло!

...В «перестроечно-катастрофические» времена самым хорошим тоном стало ругать «партократов», людей из высшего партийного руководства – особенно на уровне секретарей обкомов. Верно, разные среди них люди попадались, встречались и – людишки. Но – нашему родному Пскову все 60-е годы с «персеком» исключительно везло. В начале десятилетия обком возглавил Иван Степанович Густов, наш, местный, до того работавший в Великих Луках. Не буду его перехваливать, утверждать, что это был человек какого-то исключительного интеллекта. Но – за область и за ее благосостояние он болел так, как никто из

его предшественников и последователей. До сих пор его добром вспоминают и люди старшего поколения селян, и зрелые производственники, и – что еще более удивительно – творческие люди. Достаточно сказать, что его радением по-настоящему встал на ноги наш областной драмтеатр, открылся театр кукольный, а также образовалось местное отделение Союза художников. И, само собой разумеется, И. С. Густов удивился – как же так, в городе и в краю столь мощных литературных традиций нет своей писательской организации?

И она – возникла! И первым ее руководителем стал приглашенный из Ленинграда и уже множеству читателей известный в области Игорь Григорьев. По этому поводу «новый старый пскович» написал так:

Мне не в Невском жаться скопище,
Не локтями ближних пхать –
У реки, низины топящей,
Песней зори колыхать...

И он, новоиспеченный ответственный секретарь новоиспеченной писательской организации древнейшего города, впрямь поселился в новой же квартире – именно у реки. У своей любимой воспетой им реки Великой.

Так начался псковский писательский путь Игоря Николаевича Григорьева, продлившийся без малого 30 лет...

2

Чернобыльный пепел Красухи

Слово настоящего поэта всегда самоценно. То есть, разумеется, у него есть всегда определенный смысл в определенных обстоятельствах, есть многозначие. Но подлин-

ный художник Глагола на то и прорицатель, что может провидеть, какой смысл слова может стать магически уникальным через многие десятилетия. Это и есть самооценный смысл...

В городской псковской библиотеке шел литературно-художественный вечер. Время было мрачное во всех отношениях: между «недворотом» 91-го с последующим разрушением Союза и между Кровавым Октябрем – 93-го. Разгар гайдаровской «шоковой терапии». Вроде бы пора шла не для мероприятий изящной словесности и музицирования, но город мой таков, что подобные встречи здесь не прекращаются ни при каких обстоятельствах. Вот и в тот холодно-дождливый вечер в стенах библиотечного зала звучали стихи музыка и песни. Я тогда еще не вернулся в Псков на «преимущественное» житье в нем, лишь приезжал довольно часто, вот и стал в тот раз в какой-то мере «гвоздем программы». А среди местных поэтов сразу заметил высокую прямую фигуру Игоря Григорьева; рядом с ним сидела Елена Морозкина, почти хрупкая, но излучающая какую-то особую, «светящуюся» энергию. Игорь, как показалось, довольно хмуро кивнул мне (он, надо сказать, не прочь был порой «срезать» заезжего гостя: мол, тоже мне, столичная штучка, приехал тут нас, скобарей тысячелетних, учить уму-разуму; да, было в нем, было и кое-что от «чудиков» шукшинских, и порой не чуждо было ему и ёрничество, и веселое лицедейство...), и внимал он моим стихам и глаголениям, похоже, тоже без особого энтузиазма, с печалью в и без того невеселых глазах. С толку меня такая его реакция не сшибала: ведь и строки, и рассуждения о ту пору звучали даже на таких дружеских встречах не шибко радужные... Но вдруг, когда я уже дал понять, что мне «пора и честь знать», Игорь Николае-

вич глянул в мою сторону и своим глуховато-трубным голосом произнес: «Станислав, Чернобыльскую свою балладу изложи!».

Не место здесь повествовать об этом моем стихотворном «хите» второй половины 80-х, родившемся в год катастрофы на Припяти и поначалу многострадальном, – но уже года через два она «прокатилась» по всей центральной прессе и была опубликована в нескольких моих книгах. Скажу одно: в эту большую балладу я вложил главные свои тогдашние тревоги и предчувствия грядущих несчастий государства и народа. Вот лишь один из ее рефренов:

Звезда моя полынь. Горящий чернобыль.
Дитя мое полынь. Земля моя – Чернобыль.

...Вечер завершился, но люди еще не спешили расходиться, и, приобняв меня, мой старший земляк-коллега (он был все в той же гимнастерке – и уже со всеми регалиями, а прежде носил лишь один орден), вздохнул и сказал: «Эту твою штуковину я враз наизусть выучил: проняло! Вот ты и предсказал все это бл..ское кошмарище, которое теперь происходит...».

Ей-Богу, не думал я отвечать Григорьеву никаким «аллаверды», не до ответных комплиментов было пасмурной душе, а просто само собой вырвалось:

«Игорь Николаевич, но ведь ты (я уже перешел с ним на «ты», но по-прежнему звал его по батюшке: так у нас на Псковщине принято в дружеских отношениях меж старшими и младшими), ведь ты сам про тоже самое сказал еще 40 назад!». И прочитал ему:

Чернобыль над пепелищем
Да густой бурьян.

Оголтело ветер свищет,
Прахом сыт и пьян.
Только красные у речки
Трубы, трубы в ряд –
Непогашенные свечки –
Над золой горят.
Только ворон хрипло, глухо,
Каркнет о беде.
Что ж с тобой, моя Красуха?
Где ж ты? Где ты? Где?

«А ведь тоже с чернобыла, с чернобыльника, со Звезды
Полыни ты этот зачин начал, Игорь Николаевич... – ска-
зал я поэту-партизану. – Это ведь я еще где-то в конце 60-х
прочитал...»

Григорьев схватил меня за руку и повел к себе домой...
Только я и успел по телефону предупредить родителей,
что задержусь (наши дома – в полуверсте друг от друга
стояли). Какое там ненадолго! Много встреч «при ясной
луне» было у меня с синеглазым ветераном за несколько
десятилетий, но столь долгой – до позднего осеннего рас-
света – еще не случилось...

«Да, главной моей книжкой считается “Красуха”, да
так оно, видно, и есть. Но пойми ты, Станислав, что и лю-
бая моя книжка – от первой до последней – могла бы так
величаться. Да потому что вся моя война – сплошная КРА-
СУХА!..»

«Конечно, – говорил он, слегка успокоившись, – ког-
да я ту дедовическую беду сам увидал – вздрогнул, шут-
ка ли – почти 200 человек заживо сожгли. Но, что дума-
ешь, я таких пепелищ не видал к тому времени? – Да не
мене тридцати, а то и сорока, разве кое-где людских огар-
ков поменьше было. А ведь по всей нашей Псковщине не
менее сотни таких Красух насчитать можно – и всюду жи-

вые люди жили, бабы с детишками да со стариками. И я их видел! Сам видел, эти пепелища, эту гарь вдыхал, с чернобыльником смешанную! Вот откуда он у меня, чернобыльник этот... А потом – после войны – дробь на эти темы; выяснилось, не столь фрицы в карателях служили, сколь эстонцы да латыши, а ведь они вроде “нашими” стали после Победы... Так что в эту книгу, в эту поэму, в “Красуху” – когда о ней писать разрешили, когда памятник там открыли – я, Станислав, всю свою войну вложил, всю свою партизанщину!..»

«Вот, стихотворение у меня есть, “Сгоревшее – несожженное”, – уже свистящим шепотом говорил мой старший друг, опять переведя свое трудное, затрудненное астмой дыхание, – и оно тоже в красухинские страницы входит, а ведь родилось-то оно после боя под Плюссой, в 43-м еще:

Я помню горестную ночь,
Третила адскую работу,
Вконец измотанную роту,
Не властную земле помочь...
Я вижу, вижу, как сейчас,
В дымище бурую лавину.
Чужого, рыжего детину,
Его налитый кровью глаз.
Метались люди, как в бреду...

А Ситовичи мои, Слав, что – тоже не та же Красуха? Та же: в войну почти дотла спаленная, а после так и не поднявшаяся... И там же все чернобыльником поросло!» – горестно вздохнул ветеран со слезящимся синим блеском глаз и замолк надолго...

Но тут время дать место в этом очерке фрагменту из записок партизанских газетчиков-журналистов

В. Кириллова и В. Клемина¹ «Огненный круг. Очерки о плюсских разведчиках», что были опубликованы в книге «Контрразведка», вышедшей в Пскове еще при жизни И. Григорьева. Этот эпизод повествует как раз о той полосе его партизанского пути, когда он, уже 21-летний подпольщик, под угрозой разоблачения вынужденный оставить работу переводчиком в комендатуре, возглавил ударную группу партизан. Она получила задание задержать подразделение фашистских танков, шедших на карательную операцию:

«...Партизаны приготовили гранаты. Игорь Григорьев поглядел на дорогу: танк был совсем близко. И тут партизан, лежащий впереди, рванулся с места, подбежал к танку, бросил ему под “брюхо” гранату. Глухо рвануло... Танк горел. Игорь пробежал шагов десять. Вдруг в нескольких метрах разорвался снаряд. Что-то ударило разведчика в правую лопатку, будто обухом. И он упал на колени. Спину заливало жаром. К Игорю подбежала Людмила Маркова, его добрый друг, плюсская подпольщица. Девушка стала сдирать с него одежду.

– Тебя ранило! Ишь как пальто на спине рассадило! Терпи, дорогой, я сейчас помогу тебе! – утешала Люся товарища.

Это был последний бой руководителя плюских подпольщиков и разведчиков, бригадного разведчика 6-й Ленинградской партизанской бригады Игоря Николаевича Григорьева».

(Забегая вперед, скажем, что именно обнаружение этих «спецхранных» очерков во второй половине 80-х годов по-

¹ Один из этих двух «партизанских газетчиков-журналистов» – сам И. Н. Григорьев, по этическим соображениям выступивший здесь под псевдонимом. Названные записки публикуются в настоящем издании, см. с. 171-256. – *Ред.*

могло окончательно развеять в глазах широких масс псковичей лживую и грязную легенду о том, что Поэт-Партизан якобы сотрудничал с оккупантами добровольно.)

И начались мытарства юного поэта-подпольщика по госпиталям... И вот, слушая его полночную исповедь, не мог я не вспомнить четыре заключительных строки одного из самых его исповедальных стихотворений:

И Русь не та, и сам не тот –
Иные времена.
Но в ворохе золы живет,
Горит моя вина.

Вот так... Знаю немало людей, палец о палец не ударивших ради Великой Победы: кое-кто из них до сих пор получает различные ветеранские надбавки к пенсиям и пользуется привилегиями, – но никаких угрызений совести не чувствуют. А тут предо мной сидел изрубленный, израненный воин, отдавший Отчизне и родному краю буквально все – и здоровье, и жизненный опыт, и талант недожинный, и – мучавшийся тяжелой виной. Навсегда запомню его слова: «Как рванул этот Четвертый блок, как дошло до меня – Чернобыль, так и заглодело во мне все: ну вот, и закипит по стране тот самый чернобыльщик над пеплом! Вот и ты, видно, тогда то же самое почувл...».

А все же неслучайно у руководимых юным поэтом партизан-подпольщиков пароль и отзыв были следующими: «Зажги вьюгу!» – «Горит вьюга!». Игорь Григорьев всей своей судьбой зажигал вьюгу...

Чувство горечи и вины тех народных мстителей, кто обладал хоть каким-либо литературно-журналистским

дарованием, можно понять. История Партизанского Движения (повсюду, не только на Псковщине), подлинная, во всем ее происхождении и развитии, во всей полноте и правде – это та часть Истории Великой Отечественной войны, которая теперь, уж видно, обречена быть ненаписанной. Ведь и в годы войны, и почти все советские десятилетия после нее официозная версия сводилась примерно к следующему: на оккупированной фашистами территории все как один поднялись на борьбу с врагом. А ведь движение народных мстителей началось гораздо позже, когда оккупанты стали проводить жесточайшие карательные операции и против тех крестьян, вблизи чьих селений были замечены диверсионные организованные группы (нередко засылаемые с «Большой земли»), и против тех, кто утаивал урожай, который надобно было сдавать «рейху». Пришлось бы писать и о том, что поначалу у многих жителей захваченных земель сохранялось по отношению к гитлеровским войскам ожидательно-настороженное отношение, а кое-кто и впрямь видел в них «освободителей от большевизма»: слишком сильна была в людях память об ужасах коллективизации. И лишь к 1943 году – к Сталинградскому перелому – партизанское движение начало становиться массовым...

Но такие факты ни в какой, даже самый «закрыто-специализированный» справочник не могли попасть. Конечно, существовала замечательная проза о партизанах (П. Вершигора, Д. Медведев и другие авторы), но в ней правда была неполной. А «неполная» – уже и не совсем правда... Создавалась и прекрасная поэзия, изображавшая народных мстителей, – и одни из лучших ее страниц созданы Игорем Григорьевым. Но и он, и другие поэты-партизаны прекрасно понимали тоже: всей правды они не

пищут, хотя и говорят нечто главное. Вот и приходилось прибегать к спасительному для русского стиха «эзопову языку». Так вот и мой старший земляк в одной из лучших своих поэм «201-я верста» стремился довести до читателей это первоначальное... не то что нежелание, но юношескую боязнь гибели «не на миру» – и вместе с тем нарастающее понимание неотвратимости битвы за родную землю:

...Сейчас бы кротом зарыться в песок,
Зайчишкой в потемки сигать.
Но липнет пепел, жжет висок, –
Твой пепел, родина-мать.
И в глине не просто следы колес,
А раны и тяжкий позор,
Раны земли, где ты стал и возрос,
Где нынче плен и разор...
...Ах, летняя ночь, зорина дочь,
Беяна, не будь же темна, –
Не завораживай, не морочь,
Не страдай покоем до дна!
Не опоздает никто умереть
На этой скорбной земле.
Дозволь подышать, дай погореть,
Погоревать во мгле!
О тихом лете погоревать,
Послушать птичью струну,
Зорьку без выстрелов позоревать,
Песню сложить хоть одну.
Впрячь бы в косилку пару коней,
Гнать бы за рядом ряд!
Воздух над пожней – браги хмельней,
Травы – вспугни – вспарят.
Травы, как жаворонки, звонки,
В цветени девичий смех...
Встать бы с солнышком наперегонки
Да посенокосничать. Эх!

Я неслучайно привел столь большой фрагмент лирического отступления из главы «Рассвет», центральной в поэме «201-я верста». (Собственно, «отступлением»-то в плане стиховой архитектоники оные строфы трудно назвать: то мощный лиро-эпический гимн Жизни, противостоящей Смерти, гибели насильственной.) Просто хочу сказать, даже выдохнуть сердцем, причем сердцем ветерана-читателя, знающего и проработавшего солидную библиотеку поэзии, которая обращена к теме Великой войны: мало я знаю в этой библиотеке страниц, которые могли бы соперничать с «201-й верстой» в целом и с этой страницей в особенности в воплощении красоты земного бытия – причем красоты, живущей в сердце русского человека, который находится перед самым роковым выбором: жить – или умереть. Жить, вдыхать эту красу земную, купаться в море счастья, любви и труда – или стать трупом и сгнить. Но... как жить на такой земле, если она – не твоя, а вражья? Откровенно признаюсь: лишь лучшие страницы Твардовского, такие как сцена прощания героя и его жены перед разлукой на сеновале («Дом у дороги») да некоторые строфы из его «Книги про бойца», в моем восприятии встают вровень с прочитанными вами только что строками моего незабвенного земляка...

Тем не менее Игорь понимал (и порой в нем это понимание аж зубовным скрежетом прорывалось): и такая, высокая и страстная стихотворная речь – еще не самая глубинная правда о пережитом. И жил он с этой болью недовоплощенности своей творческой личности. Не раз, и в интервью, и в предисловии к одной из своих поздних книг, он «проговаривался», что им то ли замыслен, то ли он уже «корпит» над романом о партизанском лихолетье...

Не буду тут ничего комментировать: ни в одном из архивов поэта (так и не собранных воедино) пока что не обнаружено ни единого наброска подобного произведения – разве что разрозненные дневниковые записи.

Игорь Григорьев остался для нас Поэтом.

(Но вот она, товарищеская взаимоподдержка бывших партизан: его «названный брат», его младший друг по отряду народных мстителей – и тоже дивный псковский поэт – Лев Иванович Маляков написал именно такую книгу. Это роман «Страдальцы», повествующий о бедованиях псковского села в лихую годину и о битвах партизан за родную землю. Но эта вещь требует отдельного разговора...)

Вот такой человек стал в 1967 году первым руководителем только что созданной Псковской писательской организации.

И поначалу все пошло не просто хорошо – замечательно. В Пскове открылось отделение Лениздата, его директором стал Лев Маляков, начали выходить книги местных прозаиков и поэтов (причем первую свою книгу на родине новый ответсек выпустил лишь через три года после начала работы, – не столь уж частый случай во все времена советской литературной жизни). Кроме того, в том же 1967-м в Пскове, в святых Пушкинских Горах и в Михайловском прошел 1-й Всесоюзный праздник Пушкинской поэзии, вскоре получивший мировую известность. На этих ежегодных торжествах голос поэта-партизана звучал рядом и с голосом легендарного «Домового-Хранителя», Семена Степановича Гейченко, и с голосами прославленных людей державы – Ираклия Андроникова, Ивана Козловского, Николая Тихонова, Михаила Дудина, Конст. Симонова... Псковский «литературный заводила» стал по-

лучать все большую известность в столице, его стихотворные подборки, хоть и не часто, но стали появляться в центральной литературно-художественной периодике. Несколько новых книг стихотворений и поэм вышли в Москве и в Ленинграде. В это же время он свершил – тут трудно сказать «завершил»: многие страницы с болью в сердце остались «за бортом» – большой эпический труд, свел воедино, под одну обложку разрозненные части «Красухи». Книга-поэма, верней, свод поэм под этим титулом вышел в 1973 году в Москве и был удостоен множества добрых отзывов. Но – что, по-моему, гораздо более важно для художника – в творчестве Игоря Николаевича наступила пора... нет, вовсе не умудренности, не пассаистского успокоения или умиротворения чувств, но вот внутренний взор, взгляд сердца – они явно прояснились. Вместе с тем палитра стиха не стала суше и беднее, отнюдь нет, однако некие «перехлесты» в цветистости, в «местном говорке», которые прежде порой затрудняли читательское восприятие, уступили место более чеканной стилистике, и даже редкостная для молодого Григорьева афористичность начала погашивать в его строках. И это пришлось особенно к месту в любовной лирике, прежде излишне взвихренной; вот несколько строк из «Письма любимой», которое было написано где-то в конце 60-х:

Считай, как можешь. Каждому свое:
Ты любишь жить надежно. Я – надеждой.
Спокойной прозой душеньку утешь ты –
Не мне судить твое жигье-бытье.
Я не собьюсь с дороги, не тужи,
Не прокляну затученное солнце.
Я не один. Мне есть, что петь, кем жить:
Любимая – любимой остается.

Словом, казалось бы, в судьбе поэта обозначился хотя бы относительный период стабильности – той стабильности, без которой и любому-то человеку, а уж творческому и тем паче, на переходе к зрелому и суровому возрасту очень трудно обойтись, чтобы осуществлять большие и высокие замыслы.

...Но, как говорится, недолго музыка играла. Прошло несколько лет, и эта стабильность рухнула. И тут, как это часто бывает в жизни талантливого человека и как не раз уже случалось с автором «Красухи», сошлись сразу несколько «силовых линий», причем сугубо отрицательных. Уже не раз говорилось: характер у Игоря Николаевича дипломатичностью не отличался, и никаких он свойств, надобных даже «низовому» функционеру, за недолгое время своего ответсекретарства не приобрел. Да до поры до времени оно ему и не требовалось: идеологические помощники у И. С. Густова и сами были людьми неглупыми (тут уж точно – каков поп, таков и приход), и знали, что «хозяин» к местному писательскому главе уважительно относится. А потому и некоторые «странности» григорьевской натуры, и его «ершистость» – особенно когда дело касалось принципиальных литературных вопросов – все как-то обходились...

Советовали ему «знающие люди»: Игорь, обеспечь ты себе «тылы» в Москве, ведь не вечно ж тебе на псковском стуле сидеть; ты же часто теперь бываешь в столице, с «большими людьми» видишься, заведи с ними добрые отношения – нам ли тебя, бывалого, тому учить?! Но Игорь как раз этому не был способен учиться: ему физиологически претило всяческое чиновничество. Воин по духовному строю, он презирал даже мельчайшее угодничество, и просто тошноту у него вызывало то «заигрывание»

с «литературными генералами», в коем стали большими доками многие его собраты по перу... Более того: долгое время притчей во языцех среди местных и дальних литкругов была история о том, как Игорь во время одного из Пушкинских дней «осадил», жестко поставил на место не в меру разгулявшегося и охамевшего издательского сановника. «Ты у меня никогда свою книгу не выпустишь!» – заявил тот наутро. И – сдержал свое слово... Тогда как более склонные к «толерантности» его областные коллеги впрямь становились «своими» в мегаполисах, выпускали тома и собрания сочинений, словом, «добивались степеней известных», а то и сами на «теплые места» в столице и в Питере садились... Для Игоря же все это было *на чистом* исключено.

Хотя во множестве других своих проявлений он являл собой образец отнюдь не ангела, а обычного русского мужика со всеми присущими такому типу грехами и грешками.

Он и сверстникам своим, и автору сего очерка не раз признавался: не горжусь тем, что я такой, просто иным быть не могу, быть иным – хуже, чем дерьмо жрать... И наконец, понимал: приходит чиновная эпоха. Не его время приходит. И писал об этом прямо:

Уразумей: крута эпоха,
Разладишь с ней, не пощадит –
Она, как вихорь-грозовит, –
Чуть что, столкнет с пути без вздоха.

Не столкнула. Но на обочину сильно сдвинула – на обочину той звездно-творческой стези, той «столбовой» литературной дороги, которая единственно и дарит при жизни (при жизни – заметим еще раз!) и громкую сла-

ву, и прочие знаки отличия, столь желанные даже самому скромному художнику слова. Не с одним лишь с ним, моим старшим товарищем-земляком, произошло подобное «сдвигение». Со многими. Да еще и не самое трагическое... За почти сорок лет литературной деятельности довелось мне знать немалый ряд людей, чье литературное дарование обладало, мягко говоря, не меньшими силой и масштабом, чем у автора «Русского урока», и точно знаю: при иных обстоятельствах личной судьбы, при иных условиях их взросления едва ли не каждый из них мог бы стать гордостью отечественной литературы. Большинство же – сгинули в полной безвестности... Это еще в лучшем случае – о худших не хочу вспоминать.

Игорь Григорьев, надо сказать, при всей своей порой нежданно резкой взрывчатости и гневливости, к подобному «модус вивенди», к такой – «среднестатистической» – стезе бытия человека, избравшего своим делом русскую словесность, относился как-то удивительно спокойно, даже философски: с присловьями вроде «взялся за гуж...». И к своей судьбе – тоже. Помнится, в погожий августовский день своего 70-летия (нарушая обычай, за 2 дня до Яблочного Спаса), перебирая привезенные только что из деревни груды духовито-румяных плодов и надкусывая то один, то другой) он говорил примерно так:

«Мне – что? Жил и живу не хуже других. В тюрьме не сидел. Бомжем не стал – а вон сколько фронтовиков по помойкам шатаются! Да и вообще – жив еще. А вспомните-ка других: вон, Кольку Рубцова, уж на что гений был, в 35 придушили...». (В том, что смерть вологодского самородка была спланированным убийством, он не имел никаких сомнений – так же, как и относительно Есенина...)

Еще точнее и с гораздо более жгучей определенностью

он высказал свои заветнейшие раздумья над судьбами русских соловьев стиха в двенадцати строчках, обращенных к Александру Гусеву, любимому из всех его псковских младших товарищей по перу. (Это был действительно поэт необычайного дарования, которому не могла дать раскрыться жесточайшая болезнь: еще юным солдатиком в конце 50-х Саша получил мощную дозу радиации, отчего жестоко и во многих отношениях страдал всю жизнь – хотя и писал, и сильные, яркие вещи писал, и не одну книгу издал, и пережил своего старшего друга на 5 лет...)

Не прибыльна песня об этом,
Вся – пламя, октябрьская тишь:
Коль выпало статься поэтом –
От первой же искры сгоришь.
Что правда, то правда: сгораю –
Вся глушь, как пылающий скит.
Поэтому я выбираю
Погоду, когда моросит.
«В такое бездожде беречься?
А грянет ненастье – запеть?
Да это ж от злата отречься!..»
А мне бы – дотла не сгореть.

Словом, такую можно бы было изобразить метафору жизни юного народного мстителя, ставшего поэтом:

«ЗАЖГИ ВЬЮГУ – ОБРЕТЕШЬ ПЫЛАЮЩИЙ СКИТ!».

Но это сегодня, через десятилетия, можно вспоминать о жизненных передрыгах Игоря Григорьева в историко-литературных образах, даже с примесью ему же свойственной иронии. А тогда, в начале 70-х, ему было не до иронии, не до шуток, ему просто ой как не сладко пришлось...

Началось с того, что И. С. Густова, который за 10 лет возвысил область и в материально-экономическом, и в культурно-творческом отношении, в Москве решили повысить. И это было вроде бы доброе и достойное по тем меркам повышение: бывший псковский глава обкома занял действительно высокий пост в самом верхнем эшелоне ЦК КПСС. (Добрая память об этом незаурядном человеке требует воздать ему дань еще в нескольких словах. Пост-то был высокий, второй человек в Партконтроле, но – ни «вбок», ни «вверх» с той должности уже сдвинуться было нельзя. Так и жил он в Москве, покуда вскоре после ГКЧП новые «демократические» хозяева Старой площади не «помогли» ему, никогда не страдавшему суицидным комплексом, выпасть вниз с десятого этажа: слишком много неприятных тайн ведал бывший пскович об этих новых хозяевах... Светлая ему память!)

А вот «новая метла» оказалась совсем иной, чем Густов, а ее «идеологические метелки» повели себя так, что худо пришлось многим творческим людям Псковщины. И первым «под колпак» попал Игорь Григорьев. Поначалу-то на проявления его независимости смотрели сквозь пальцы – лишь поворчали, когда он, к примеру, отдал свою трехкомнатную квартиру многодетной семье, а сам переселился в их двухкомнатную. Мол, жилплощадью партийного фонда распоряжается... Но главный гром грянул, когда у него возник гремучий конфликт с обкомовским куратором «изящных искусств» по поводу выхода первой книги все того же Александра Гусева. Партбосс уперся намертво: такой пессимизм мы не пропустим! Существуют два варианта того, что тогда ответил обкомовскому начальнику глава псковских писателей. Первый таков: «Неужели вы один считаете себя разбирающимся

в поэзии больше, чем все наши литераторы, вместе взятые?». А вот второй вариант, мне думается, более соответствует характеру Григорьева: «Надо бы с утра пропускать не по двести, а хоть по сто, тогда и не будет вам такая поэзия казаться пессимистичной!».

Ясно дело, скандал, разбирательство на бюро обкома¹... Игорю безапелляционно предлагают «отставку», а он – «Как скажут мои товарищи по перу!». Понадеялся старый партизан на товарищество... Ведь в выросшей организации были уже и те, кому он вручал членские билеты. Кого он уже в какой-то мере питомцами своими считал. А главное, половина организации состояла из бывших фронтовиков... О, святая, наивная (такая же у моего отца была до конца его дней) вера в нерушимость воинского братства, – сколько людей расшибались в кровь из-за нее! Взять хоть того же прославленного подводника А. Маринеско, «парившегося» на лагерных нарах и стонавшего: как же так, ребята, почему же вы меня забыли?.. Вот и дрогнули псковские «товарищи», в чем потом не раз горько каялись – когда распинали уже кого-то из них... А в те дни Игорь написал вот это горькое откровение:

Мои собратья по перу
Не поделили «псковской славы»,
И я, доколе не умру,
Не позабуду той отравы.
Нет, не с цианом порошки
В стакане водки. Проучили
Меня надежней корешки –
В глазах России обмочили.
Вот это – так была беда,
Не просто жизни оплеуха.

¹ При этом нужно отметить, что сам Игорь Николаевич никогда в партии не состоял. – *Ред.*

Не с ног сшибали – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа.

Не свалился, выстоял крепкий скобарь, воин-партизан, сын крестьянский. Но жизнь его на несколько лет снова вошла если не в «штопор», то все же в довольно-таки неласковую пору.

Хотя любой объективный историк советской литературы не сможет отрицать: произошедшее во Пскове с поэтом И. Григорьевым было лишь своего рода «микрэлементом» того процесса, который тогда шел по всей стране. По всем общественным и художественным структурам. Тот процесс можно назвать «очиновлением» или «обюрокративанием» руководства, а можно иначе: «выдавливанием» непокорных, «ежистых», имеющих свое мнение (и не столь уж важно, насколько то мнение было объективным и верным) и способных его отстаивать перед властью имущими, перед «высшим судом партии», – и заменой их на более послушных и покладистых. Порой – на далеко не бездарных, но умеющих «встать во фронт», но часто – на «никаких»...

Вспомним, если говорить о самых «верхах»: партийного «Демосфена» Г. Куницына и влюбленного в искусство Руси Ю. Мелентьева сменили на «великого немого» Л. Шауро и на активного русофоба (а через годы – «архитектора перестройки») А. Яковлева. «Отодвинули» от активного руководства Союзом писателей еще вовсе не дряхлых А. Суркова, Н. Грибачева, С. Щипачева, да и более дипломатичного К. Симонова – на смену им пришел тоже ведь далеко не бездарный прозаик, но – «гроссмейстер аппаратных игр» Г. М. Марков с командой ему подданных... А вспомним судьбы главных редакторов «Ново-

го мира», «Октября» и «Молодой гвардии»: уж на что разными, нередко и враждовавшими друг с другом людьми были А. Твардовский, В. Кочетов и А. Никонов – но у каждого была горящая душа, в груди каждого стучало ярое сердце! Каждого по-своему, но – убрали всех троих..

Так было на «макроуровне», но подобное же происходило и в областях. Тоже не один пример можно привести... Вот и во Пскове «ушли» непокорного поэта-партизана Игоря Григорьева.

...Лев Маляков вспоминал (верней, они как-то при нас, более молодых, вдвоем ударились в устные мемуары о былых своих пертурбациях), что он тогда же предложил своему старому другу пойти к нему замом: напомним, Лев Иванович руководил Псковским отделением Лениздата. На что Григорьев ответил ему так: Лёва, мы же с тобой если не на второй, так на третий день смертными врагами станем, разлаемся вдрызг из-за какой-нибудь конфликтной рукописи, которая яйца выеденного не стоит. А второе: и тебе, Левка, тоже на орехи может достаться от тех же обкомовских держиморд за такое «деловое предложение»...

Оба резона старшего из «названных братьев» были далеко не беспочвенны. Тем не менее Маляков еще два повторил это приглашение, – однако вскоре Игорю стало не до служебной страды. Обострился застарелый недуг в легких, потянул за собой и другие: поэт надолго попал в госпиталь. Пришлось удалить часть легкого. Но – на удивление быстро оклемался и даже написал на больничной койке большой ряд стихотворений и баллад, которые затем вошли в один из его столичных сборников с символическим титулом «ЖИТЬ БУДЕМ»... Читая эти «госпи-

тальные» вещи, нельзя не заметить: словно к кислородной подушке, тянулся он памятью сердца к дням своей партизанской юности, искал в них духовную опору, противо-ядие от яда своей новой недоли. И вот вспыхнул в памяти партизанский пароль «Зажги вьюгу!» – и вот как отозвался он в новых строках, созданных на одре болезни:

Тебя принимая, себя не жалею,
За волю неволей плачу.
С поклоном пожму пятерню снеговой,
Прижмусь к ледяному плечу.
Хоть небо твое чужевысей не выше,
А в стуже – закатный костер,
К тебе, моя Вьюга, пришел я – не вышел:
И руки, и душу простер.
Застыну, отгаю над бездною гладкой,
Поверю в весеннюю Русь,
Вздохну ненароком, заплачу украдкой,
И – вновь над собой засмеюсь.

Ну разве это – в «юдоли» создано? где ж тут «страдальческая болезненность»?... Это – просто высокая поэзия высокой души.

...А меж тем недоля все ж была реальной, и физические испытания оказались не самой тяжелой ее стороной.

Именно тогда, вскоре после «разлада» Игоря Григорьева с высшими партаппаратчиками области, а отчасти – и кое с кем из писательской организации, еще недавно им руководимой, и вспыхнула с новой силой до времени лишь изредка шипевшая зловонная сплетня: он, оказываясь добровольно в 1941 году, восемнадцатилетним пареньком, пошел служить в полицию.

И то здесь, то там в разговорах досужих земляков (и не только откровенных злопыхателей, но и просто любите-

лей всякой «щекочущей», «клубничной» информации) стало проскальзывать: а Игорь-то Григорьев, оказывается, полицаем был! А прославленный-то наш поэт-партизан, выяснилось, фашистам служил!.. (Сплетни, как известно, растут в геометрической прогрессии, первооснова их быстро запластовывается новыми наростами, и вот уже менее чем полгода работы переводчиком – напомним, по заданию подпольного партизанского райкома – стали «интерпретироваться» нередко буквально так: участвовал вместе с оккупантами если не в карательных операциях, то уж точно в изъятии урожая у крестьян. Вот так! Автор сего очерка слышал эти «версии» собственными ушами...)

...И если б дело только устным клеветническим трепом ограничилось! Нет, в «открытую печать», ни местную, ни столичную, оные «версии» не попали: для того нужны были бы весомые документальные свидетельства. Но – с легкой руки некоторых местных борзописцев (а по чьей-то «наводке» – и столичных) – сразу несколько соответствующих «телег» направились и в «компетентные органы» Пскова, Москвы и Ленинграда, и, разумеется, в руководство Союза писателей. И, естественно, тут же были созваны соответствующие комиссии...

Но, слава Богу, в комиссиях тех оказались люди и ответственные, и порядочные. Ими были найдены в разрозненных архивах документы, подтверждающие реальную, боевую, героическую деятельность поэта-партизана и подпольщика во время войны. А главное, с немалой оперативностью были найдены в разных концах страны тогда еще живые и здравствующие товарищи Игоря Григорьева по партизанскому подполью. Все эти свидетельства и аргументы камня на камне не оставили от грязной клеветы.

Доброе имя прекрасного поэта в глазах земляков и чита-

телей было восстановлено. Но один Бог знает, как тяжело приходилось ему в те недели и месяцы, когда шли все эти розыски и разбирательства. Пожалуй, лишь в одном стихотворении Григорьева прозвучало тогда нечто вроде попытки оградить себя от потока грязи – но и эти строки звучат гордо и мужественно:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.
Ее беда (не наша ли вина?),
Что, верящих в молчанье грозно свергнув,
Поверила она в лишенных веры.
Ее беда – не наша ли вина?
Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесен и хлебом, и вином –
От зябкости ее не холодею...

В самом напряженном ритме этих «кольцующихся» строф слышится не самооправдание, но – жертвенное, воинское понимание суровости эпохи, не в смысле «лес рубят – щепки летят», а как раз наоборот: это ощущение себя не «щепкой», а крепким и негнибаемым деревом в вечнозеленом лесу по имени Россия!

И он доказал, что он именно таков! Прежде всего – и это удивляло многих, знавших его порой донельзя взрывной и обидчивый нрав, – он не только что не озлобился на жизнь и на окружающую действительность, но в нем не проявлялось даже ни на йоту, ни на пылинку никакого желания показать себя таким «страдальцем». (А ведь многие люди, претерпев гораздо менее критические ситуации, годами, а то и всю жизнь ходили с видом невинно

пострадавшей жертвы, требуя за это всяческие привилегии...) Напротив, в чем-то он даже и проще, и снисходительнее стал с людьми. Ну, разве что кое с кем совершенно прервал отношения. Что было совершенно оправдано: это были как раз такие людишки, которые при удобном и для них необходимом случае вновь могли издать все тот же змеиный шип: дескать, знаем мы этого партизана!.. А еще точнее – «этих партизан!». Должен высказать твердое свое убеждение: в корне всей той грязной кампании уже в те, далеко еще не «перестроечные» годы, определенным силам надобно было скомпрометировать звание народного мстителя, вообще опорочить понятие «защитник Отечества». Прошли десятилетия – и эта задача стала выполняться в широчайших масштабах. А тогда случай с Игорем Григорьевым был одним из пробных камней...

...Говорю, и меня, когда я во второй половине 70-х, приехав в родной город (уже в качестве не только члена СП, но и спецкорреспондента «толстого» журнала), встретился с этим синеглазым богатырем, просто удивление взяло: до чего же «помягчел» Игорь Николаевич. Нет, он по-прежнему был и колоритен, и ярок, и остер в своих суждениях, но – былая его язвительность, нередко мешавшая и ему самому, и особенно младшим его собеседникам, значительно поубавилась. Он действительно стал и вести себя, и говорить проще, естественнее. Вроде бы – и более по-мужицки, по-крестьянски. А с другой стороны, можно и так сказать – и намного интеллигентнее. (Сегодня-то мне думается: а уж не одно ли это и то же?..) Как бы предупреждая мой вопрос о его недавно завершившихся передрыгах, кратко сказал: «Пшиком кончилось! Сгнули нечистые... как и вся нечисть у нас, поздно ли, рано ли – вонючим дымом исходит...».

И вот тут надобно сказать едва ли не самое кардинальное о тех переменах, что происходили с Григорьевым как поэтом и гражданином. Речь идет не о личной, индивидуальной психологии, а о философии творческого духа. По моему убеждению (основанному на сравнении более ранних его страниц с более поздними), Игорь год от года все более отделял в поэзии и в жизни временное от... если не от вечного, то от сущностно изначального, от неких исторических неотменяемых основ бытия. Жителю Псковщины вообще легче ощутить в себе чувство историзма, чувство громады времени, нежели жителю какого-либо иного края: здесь все веет Русской Вечностью. Вот и автор «Русского урока» с течением лет все более ощущал себя сыном земли древнего Плескова, потомком тысячелетней славянской земной культуры – а не просто человеком, причастным по судьбе к определенному социально-конкретному моменту истории... Мне вспоминается, что в той же встрече я рассказал ему о своем дружеском знакомстве с давним моим кумиром – с поэтом, прозаиком и исследователем истории и культуры Руси Сергеем Николаевичем Марковым (1906–1979). «О-о! – воскликнул Игорь, вскинув вверх густые брови. – Наконец-то ты в Москве с настоящими людьми стал знакомиться! Ведь это – волшебник, мудрец, века объемлющий!». И тут же прочитал вслух одну из ключевых строк этого блистательного поэта-историка:

Живем столетьем – не одним мгновеньем!

И, к моему совсем уж радостному удивлению (ведь Сергея Маркова как поэта знали и знают немногие, читателям гораздо более известна его исследовательская проза, особенно его «исторический бестселлер», повествующий

о Русской Америке – «Юконский Ворон»), мой старший псковский товарищ со вкусом продекламировал строку из, может быть, самого программного стихотворения Маркова, из «Русской речи»:

Бессмертной ее нареки
Ее колыбель не забыта:
В истоках славянской реки
Сверкают алмазы санскрита.

«...Вот, – продолжал Игорь, – и мне все вот это теперь час от часу всё ближе, всё роднее по душе. Раньше-то – мгновеньем жил, как почти все мы, грешные, из нашего поколения. И может, не столько в стихах, сколько в самой жизни. Вот и тратил ее на суетню всякую да силы на перебранки с разной шелупонью растрачивал... А сейчас, знаешь, Станислав, всем нутром что ни день всё сильнее чую: мы во Пскове – как в Русском Космосе живем. Пскову тысяча лет с лишним – это только по летописи, а на деле? Вот и надо нам судьбишки-то свои этими тысячелетиями мерить, а не “текущим моментом”». И стал читать свое, новое:

Тыща лет! Это ж самая молодость:
Не дымить, а гореть нам и греть.
Только вновь не завьюжила б холодность,
Чтобы впредь не стареть нам, а зреть.
Лишь мертвящее зло не ожило бы,
О котором живым не судить –
Не всочилось бы вкрадчиво в жилы нам,
Только б души пред ним затворить!

(А позже, когда вышла его книга «Жить будем», мне бросились в ней несколько стихотворений, как бы «прилега-

ющих» к той теме, на которую мы с Игорем Николаевичем тогда разговаривали: в них ощущалось нечто вроде покаяния перед поколениями предков, для которых Русская Жизнь была и святым, и устойчивым понятием. Приведу несколько «знаковых» строк одного из таких стихотворений, – они, по-моему, являются красноречивыми свидетельствами перемен в художественном мире уроженца порховской деревни Ситовичи:

Когда мы были очень юными,
Совсем не верили тогда,
Что под березами подлунными
Живая замерла вода.
Не ведали, что младо – зелено.
Все вроде ясно наперед.
Запрету «Дедами не велено!»
В глаза дерзили: «Век не тот!»
Нам были злат-края доверены,
Чтоб не закрался в них урон.
А нам бы – вдаль: мы были зелены,
Заветы дедов – не резон...

Что ж, здесь очень точно и искренне передано мировосприятие едва ли не большинства людей, звавшихся «советской молодежью» перед главной мировой бурей XX века; здесь воспроизведены черты «комсомольско-ударного» образа жизни ребят и девчат из первого поколения, родившегося после 1917 года: все – заново, до нас ничего особенно ценного не было, «мы наш, мы новый мир построим». Нет, разумеется – сужу о том хотя бы по рассказам отца, тоже в псковской деревне родившегося, – у многих уроженцев русской сельщины оголтело яростный нигилизм хотя бы по отношению к старшим все-таки отсутствовал – сам образ сельского бытия не давал ему развить-

ся; и все же, все же – во многом те предвоенные «комсомолы» были настроены именно так, как сказано в григорьевских поздних строках покаяния... С другой стороны, можно ведь и так судить: а будь юный Игорь и его друзья-подруги настроены иначе – вряд ли бы они сами, еще до приказа подпольного райкома, по своему яростному почину взяли бы да организовали молодежную подпольную группу для борьбы с оккупантами... Много есть таких «узлов» в судьбах русских людей минувшего столетия, что вряд ли какой историк и психолог сможет их не то что развязать – но и просто прикоснуться с тактом и трепетом надлежащими. Одно скажу: не нам судить, а тем паче не нам осуждать людей прежних поколений за подобные «узлы». Нам бы в нашей Смуте разобраться!)

...Хотя, помнится, именно тогда (или в один из моих приездов того времени) Игорь высказал примерно следующее: «Мы с Лелей часто вот о чём говорим: если б нам перед войной настоящую историю преподавали, а не “пролетарскую”, если б мы тогда ощущали, что такое – Тысячелетняя Русь, нам бы, наверное, не было б так жутко в начале войны. Не восприняли б мы войну как катастрофу – знали б тогда, что это не первый снег нам на голову. Знали б тогда с первого же дня, что – сдюжим! А то ведь у многих из нас головы от ужаса кружились: как же так, на нас напали!...».

Мне это высказывание Григорьева сегодня вспоминается, во-первых, потому, что оно и впрямь ныне очень актуально. Ведь многими из нас овладело в той или иной мере мироощущение некоего «катастрофизма». И даже кое-кто из общественных деятелей и литераторов, серьёз себя патриотами зовущих, слёзно восклицает в своих выступлениях: всё, кончилась Россия, сгубили её под

корень супостаты! Подобные стенания опять-таки всё о том же свидетельствуют: эти люди либо плохо знают многовековой тернистый путь Отечества нашего, либо – слабо ощущают его сердцем. Иначе бы понимали: не первый снег нам на голову, сдуюжим, одолеем и эту Смуту...

А во-вторых, в том откровении Игоря Николаевича напрямую было сказано о том человеке, который помогал ему насыщать свою душу и укреплять своё мирознание этим великим чувством историзма. О женщине, которая стала ему главной духовной опорой в последние 20 лет его жизни.

«Лёля» – так звал ее Игорь Николаевич. Елена Николаевна... Елена Морозкина. Высочайшего класса ученый-искусствовед, воспитавшая целую школу реставраторов церковного зодчества, настенных росписей и иконописи. Следы ее деятельности – и в Смоленске, и в Новгороде Великом, и в других градах и весях. Но в 70-е годы главным «плацдармом творчества» бывшей девушки-артиллеристки становятся Псков и Псковщина.

...И с высоты многовековой
Собор в сиянье облаков,
И эту пыльную подкову
На счастье подарил мне Псков.

На счастье... Трудно сказать (да и невозможно давать определения в таких случаях), счастьем ли в полном смысле этого слова обернулась для них обоих, для Морозкиной и Григорьева, встреча, а затем и житейский союз. Но одно точно: и встреча, и союз стали для обоих подлинным – и донельзя вовремя – спасением, как творческим, так и жизненно-бытовым.

Так ведь очень часто происходит в судьбе художника: самое интимно-сокровенное, потаенное, на уровне глубин подсознания существующее какими-то совершенно невероятными, может, и впрямь лишь Богу видимыми путями сопрягается с глобально-философскими основами его свершений, с созреванием его мировосприятия. И бывает: один случайный взгляд женщины сворачивает в обновлении художественного мира поэта тысячекратно более решительный поворот, чем годы раздумий, переживаний и горы прочитанных мудрых книг...

Как уже говорилось в начале моего очерка, оба они во многом были «ростом вровень», под стать друг другу. У каждого имелся свой немалый груз «сердца горестных замет». Любимый человек Морозкиной погиб на войне, в мирные годы ее женская судьба по целому ряду причин тоже не сложились, да и в своем восхождении по научной стезе она испытала немало предательств, подлостей и подножек. Что отчасти было естественно: в хрущевские «атеистические» годы искусствовед пишет труды по восстановлению православных храмов, и эти труды получают восторженные отзывы виднейших ученых мира, – не только чиновникам, но и многим «коллегам» такое было против шерсти... Эта хрупкая на вид, немолодая женщина могла в мгновение ока стать «богатыршей», когда надобно становилось буквально прорваться в самый высокий начальственный кабинет, чтобы потребовать – не смейте разрушать жемчужины псковской древности! И не раз так она делала, и многим псковичам помнится ее звучный, сильный, истинно поэтический голос, которым она возглашала на разных собраниях псковской патриотической общественности: «Надо бить в набат! Иначе – неповторимая краса Пскова будет уничтожена железобетоном!».

...Я видел Елену Николаевну буквально за один день до ее кончины декабрем 1999 года в ее маленькой московской квартирке, больше похожей на музей. Она и не думала умирать (хотя вся уже была источена недугами); напротив – поделилась столькими своими планами и замыслами, что мне подумалось: для их осуществления надо лет 20, не меньше! И один из главных пунктов той творческой программы звался так – «Поэма об Игоре». Смесь мемуарной прозы со стихами – так определила ее жанр Морозкина. И добавила несколько слов, которые мне просто врезались в сердце:

«Не будь Игоря – не было бы у меня в жизни моего Пскова. Не будь рядом Игоря – не написала б я ни одной книги о Пскове (а всего их Морозкиной создано около 10, и главные из них, «Псков» и «Щит и зодчий», переведены на несколько зарубежных языков, стали гордостью отечественной реставрационно-исторической науки. – С. 3.).

Вот так... А Игорь Григорьев, встретившись с Морозкиной, сначала так горько вздохнул, что написал несколько отчаянных строк:

Когда мы жизнью наиграемся,
Натешимся, намаемся до дна,
Тогда мы снова жить засобираемся,
Как будто нам вторая жизнь дана...

Но – вторая не вторая, однако, как выяснилось, есть такое понятие как «продолжение жизни». И оно порой бывает светлей и плодотворней жизни предшествующей, с ее «играми» и маятой... Конечно, к моменту встречи с Морозкиной Игорь Николаевич в каком-то смысле был одиноким и уставшим мужчиной. Он не порывал добрых отношений с матерями двух своих детей, живших в Ленин-

граде, но его псковскую, хоть и вовсе не запущенную, холостяцкую квартиру Домом было нельзя назвать. Он, по его собственным словам, уже слишком хорошо знал цену восхищенным женским взглядам, которые по-прежнему нередко устремлялись на него: его сердца они уже не трогали. «А эта богатырка, ворвавшаяся в кабинет секретаря обкома и стукнувшая кулачком своим по столу, – вот она меня сразу потрясла», – вспоминал он. А потом уже пришли и взаимопонимание, и – необходимость друг в друге. Мне хочется «вразбивку», чередуя строфы некоторыми комментариями, привести большую часть баллады «Именины», посвященной Е. Морозкиной; думается, даже не очень искушенный читатель ощутит, как отличается от прежней, буйно-удалой, страстно-разгульной (иногда даже не то с «цыганскими», не то с блоковско-есенинскими реминисценциями интонаций) любовной лирики Игоря эта песнь сокровенного родства двух пострадавших душ:

Было поздно или рано:
Лес и озеро затихли
Или, может, не проснулись,
Нежась в ласке голубой.
Ни ветринки, ни тумана,
А и есть они, до них ли?
Мы нашлись, к себе вернулись –
Ты да я, да мы с тобой.

Вот – ключевые слова для понимания того, почему воедино слились пути и судьбы двух столь разных людей: «Мы нашлись, к себе вернулись...». Это было действительно так: каждый из них двоих обрел не только друг друга, но и в чем-то главном – себя истинного, сердцевину свою, без наслоений прежних лет... Внешне-то у Игоря

Григорьева, не считая его передряг из-за вышеупомянутой клеветнической кампании, было все в порядке: достаточно регулярно выходили книги и в столице, и в Питере, к нему часто наезжали в гости его прославленные друзья-приятели – Федор Абрамов, Владислав Шошин, ленинградский ученый Петр Выходцев, московские поэты Сергей Поликарпов, Владимир Фирсов, известные художники и мастера других искусств. (Что тоже вызывало кое у кого из псковского руководства – и партийного, и литературного – весьма недобрые эмоции: как же так, нет чтоб сначала «отметиться» в писательской организации и сделать поклон в Доме Советов, – нет, маститый гость города прямиком к «опальному» Григорьеву...) Вместе с гостеприимным хозяином ехали на озеро или в какую-либо заповедную глушь Псковщины. Охота, рыбалка, дружеские посиделки у костра, разговоры по душам и начистоту – меж равными Мастерами! Но... гости уезжали, а Игорь остался – нет, не в одиночестве: к тому времени уже немало было у него в Пскове младших друзей-товарищей, но, говоря, понятие Дом в его жизни отсутствовало. С приходом Морозкиной в его жизнь оно появилось, возродилось. И его бытовая стезя, и его творческое бытие, и его духовная жизнь вошли в надежное русло. До конца своих дней он уже не ощущал одиночества, прежде столь часто терзавшего его...

...Всё-то – песни даровые,
Всё желанное – возможно,
Всё несбывшееся – рядом:
Не солжет вещунья-тишь.
Ты в глуши моей впервые.
Дышит лес. Тебе тревожно.
Ты, как верба листопадом,
Оробело шелестишь:

(не правда ли, здесь филигранная отделка строк, эпическая ритмика хорей и непривычно изысканная для Григорьева форма строфики – все дышит высокой зрелостью духовной, – нет, не надмирной отстраненностью от страстей мира людского, но действительно философски мудрым отношением к жизни – к любви, к душе любимой женщины...)

– Чья душа, изнемогая,
Остается так невинна?
Кто так ясно выражает
Несказанные слова?
– Ты не бойся, дорогая,
Это ночи половина,
Это лето провожает
Беспечальная сова.

Птица мудрости поселилась в судьбе Поэта...

3

Негасимая вьюга

Разумеется, спокойной в обычном понимании этого слова жизнь у Игоря Григорьева не стала ни в 80-е, ни тем паче в 90-е, последние его годы. И не только потому, что у истинного поэта спокойной жизни по определению быть не может (и по блоковскому определению, и по предопределению Свьше, откуда ему и вручен его дар творческий). Он ведь жил жизнью гражданской, переживая все, что творилось в его городе, в родном краю, наконец – в государстве, где дела на всех уровнях год от года шли враскосьяк... Не говоря уже о том, что его, бывшего когда-то одним из «отцов-основателей» (вместе с И. С. Густовым)

местной писательской организации, не могло не волновать происходящее в ней. А это «происходящее» мало его радовало. Художественное бытие «задорного цеха» (так некогда Пушкин в «Евгении Онегине» окрестил сообщество пишущих людей) год от году теряло не только задор, но и главный смысл, во имя которого должны объединяться литераторы. Сей смысл подменялся «функциональностью», имитацией творческого процесса. И это напрямую касалось Игоря Григорьева, по-прежнему непримиримого ко всякой фальши. Тем более что эта фальшь управляла жизнь самым близким ему писателям-землякам.

...Не хочется мне сейчас называть имена-фамилии тех чиновников от литературы, из-за которых поэт-партизан почти 15 лет не появлялся в стенах некогда родной ему писательской организации. Одних из них уже более чем достаточно наказала сама жизнь, а кое-кого уже и нет в живых. Но вред развитию литературы на Псковщине ими действительно был нанесен немалый. Талантливым поэтам и прозаикам либо вообще под тем или иным предлогом отказывалось в приеме в Союз писателей – либо их долгими годами «держали у порога». Так, Игорь Николаевич уже в конце 80-х, после многих безуспешных попыток «на местном уровне», был вынужден написать письмо в руководство СП, суля выйти из его рядов, если не будет в Пскове начато дело о приеме в писательскую организацию Александра Гусева. Подействовало! – но «резину тянул» тогдашний ответсек еще почти лет 5. Потрясен поэт был и тем, что опять-таки на местном уровне было отказано в приеме известнейшему литературоведу-пушкинисту Виктору Русакову... Но больнее всего он переживал то, как издевательски в этом плане обошлись с Еленой Морозкиной. Тут, как говорится, все сошлось одно к одно-

му: и месть литчинуш лично ему, Григорьеву, и мелкая, злобная зависть малоодаренных людей к талантливейшему ученому, замечательной художнице, которой, «видите ли, мало ее славы, так она еще и стихами балуется!..». А стихи Елены Николаевны стали появляться в центральной печати еще в 50-е годы; в 70-е же (конечно, здесь не обошлось без умелого, строгого и тактичного наставничества со стороны Игоря Николаевича) она уже была зрелой и сильной поэтессой. Но – тоже «отлуп», вначале – «непсковичка по прописке», потом, когда был отменен сей неразумный «ценз», – просто потому, что надо было местным партийным и литературным функционерам покуражиться, показать, «кто в доме хозяин»... Так что недалеко от истины был Лев Маляков, в мемуарном очерке о своем друге-партизанине сказавший, что «негласный, но настоящий писательский союз существовал на дому у Григорьева и Морозкиной». Точней сказать, то был настоящий клуб творческих людей, где постоянно «клубилась» и художественная молодежь, и просто любители настоящей литературы... Короче, Игорь Григорьев не приходил в местное отделение СП России вплоть до 1995 года – почему именно до этого года, объясню чуть ниже.

...Потрясения, произошедшие с державой в начале 90-х, ударили поэта-партизана в самое сердце. Невыносимо было ему видеть, как «перестройщики» издеваются над ветеранами Великой Отечественной: дескать, воевали против Гитлера, но Сталин был ничуть его не лучше – стало быть, зря воевали! Как личную лютую боль воспринял он развал союзной державы и, не стесняясь, называл новый «демократический» режим «власовским». И дело тут не только в «триколоре» было: ужасался ветеран тому, как те, кто еще вчера его чуть ли не в «антисоветчине» обвинял,

в мгновение ока стали певцами, апологетами и деятелями «рыночного строя». Он, действительно столько неприятностей претерпевший из-за своих критических стрел в адрес партийно-советской и литературной бюрократии, остался ярким сторонником того Знамени, той Державы, за которые он юношей воевал и проливал кровь. И потому в стихах 90-х лет он резко отделил себя от «переиначившихся»:

Хоть Россия жульем обокрадена,
Хоть и сам я нагой и босой,
Все – не трутень, не сволочь, не гадина –
Сын, омытый твоею слезой.

Неслучайно последняя прижизненная книга Игоря Григорьева носит краткое, но точнейшим образом выражающее его настрой «новых лет» название – «Боль»...

Последующая страница будет едва ли не самой трудной для автора этого очерка, ибо в ней мне придется рассказать не только об одном из самых переломных моментов моей личной судьбы, но и о том, какую роль в этом переломе сыграл мой старший товарищ по перу и земляк. Следовательно – сказать о его истинном отношении ко мне. Поверьте, дорогой читатель, не стал бы я сего делать хотя бы действительно в силу своей псковской скромной натуры – если б этот эпизод не раскрывал бы сущностную грань псковской же натуры моего героя...

В 1995 году мне пришлось резко поменять все мои жизненные планы. Тогда я работал председателем Московского литературного фонда: должность «тягловая», связанная прежде всего с социально-правовой защитой писателей (совершенно лишенных «демократической властью»

этой защиты). Но – втянулся и кое-что (разумеется, совместно с опытными коллегами) удалось сделать на этой каменистой ниве. К тому же неожиданно возникла реальная перспектива некоторое время поработать преподавателем в одном из зарубежных университетов. Но еще более неожиданно все это полетело в тартарары... К тому времени во Пскове, после смерти моей мамы, остался совершенно одиноким и впавшим в полную немоощь мой отец. Обстоятельства, связанные как с особенностями характера этого, самого родного мне человека, сельского учителя и ветерана войны, так и с некоторыми житейскими причинами, складывались так, что перевезти его в Москву не было просто никакой возможности (да если и была бы, этот житель русской глубинки истаял бы в сумасшедшем мегаполисе самое большое за месяц: примеров таких я знал немало)... Словом, пришлось мне половину моей литфондовой нагрузки передать моему заму, перейти «на полставки» – с тем чтобы недели две-три в месяц жить в родном городе, обихаживая отца, а дней десять ежемесячно все-таки проводить в Москве. Режим предстоял напряженный, но мне, тогда еще только-только приближавшемуся к пятидесяти, думалось, справлюсь, выдержу... И вдруг – звонок от Игоря: «Станислав, заглянул бы ты ко мне, есть разговор!».

...Конечно же, заглянул, а у него и Морозкиной в доме – чуть не половина местной писательской организации. И хозяин дома с ходу, «от лица товарищей», без всяких предисловий буквально «навалился» на меня: мы считаем, что ты должен возглавить Псковское отделение Союза писателей! Поначалу я просто остолбенел, а когда пришел в себя, начал резкую отповедь: да в уме ли вы, ребята?! И без того у меня нагрузка будь здоров, дай Бог мне с оби-

хаживанием отца справиться, да еще и в столицу мотаться надо будет; и неужели никто из вас не сможет на себя эту ношу принять, зачем вам «варяг» нужен? Тут-то Игорь и рявкнул своим командирским басом:

«Во-первых, ты не “варяг”, мы тебя как облупленно-го знаем – ты наш, скобарь! Но не в происхожденье твоем дело: благодаря тебе, твоей работе в Приемной комиссии и в Правлении СП половина нынешнего состава нашей организации членские билеты получили, а скольким ты книги в Москве помог издать, а уж про скольких ты в статьях-рецензиях своих писал, славу рокотал землякам! А беда-то в том, что организации у нас фактически уже лет пять просто нет: вокруг ответсека пять-шесть его верных джигитов-портфеленосцев кучкуются – и все! Остальные – за бортом! И пять лет уже как ни одной книги ни у кого здесь не вышло, разве что сам он, “глава” наш, себе любимому томик издал за губернаторские деньги. Словом, мы хотим, чтобы ты – именно ты! – нас возглавил. Иначе – поверь мне, Станислав, – организация просто исчезнет, развалится! Пойми, не за себя горюю: двадцать две книги у меня на счету, будет с меня, – а вот за ребят, за “новобранцев” наших талантливых – обидно...».

И немало еще в тот вечер хозяин дома и его гости (мои давние товарищи-земляки) высказывали как добрых слов в мой адрес, так и весомых аргументов в пользу их мнения. И тем не менее я ответил твердым и искренним «нет!»... Тогда Григорьев уже негромко, но твердо молвил следующее: «Ладно, решай, как хочешь. Но уважь хоть вот эту мою просьбу: приди завтра на наше отчетно-выборное собрание, ты ведь имеешь на это право как секретарь Правления СП, приди!».

Не уважить эту просьбу я не мог. Пришел. И увидел,

и слышал, и почуял то, что просто в ужас меня привело. Будь это в ином другом краю – так не ужаснулся бы. Но в своем родном городе я стал свидетелем действительно предсмертной агонии местного писательского цеха. И потому, когда Игорь Григорьев предложил мою кандидатуру для голосования, – у меня уже не было моральных сил для отказа...

И началась тогда, в 1995 году, быть может, самая трудная, самая напряженная (порой – два-три часа сна в сутки), но и вдохновеннейшая, и интереснейшая, и радостная пора моей жизни...

И, убежден, она оставалась бы такой еще долго, будь с нами рядом Игорь Николаевич Григорьев.

Но он ушел из жизни в 1996 году.

Сошлось все вместе: отказавшиеся работать легкие, изболевшееся сердце, ожившие старые фронтовые раны и недуги и – как последний удар – известие о смерти Марии Васильевны, его горячо любимой матери. Он скончался буквально через час после того, как ему стало об этом ведомо.

...А потом в области наступили недобрые общественные перемены, и нравственный климат местной «культурной нивы» молниеносно стал пропитываться различными миазмами. И, как следствие, вскоре начались подниматься «мутные воды» и в писательской организации. И в конце 1997 года она разделилась надвое. Но это – уже совсем иная история.

А я написал то, что вами только что прочитано, ради следующего «микроотчета»: за те 2 года, что автор сего очерка руководил единой писательской организацией Псковщины, свет увидели 10 книг псковских прозаиков и поэтов. И читательская аудитория города и области узнала, что в на-

шем древнерусском краю живут и творят не один-два писателя, а по крайней мере два десятка одаренных литераторов. И сие познание продолжается по сей день.

Так что, мне думается, я оправдал доверие моего старшего товарища, моего незабвенного друга, поэта-партизана и удивительно светлого человека – Игоря Николаевича Григорьева... Это – главное...

Что остается добавить в финале небольшой книжки?

Жизнь и творчество, а точнее, «творческое поведение» (термин М. Пришвина) ее главного героя являло собой постоянную «переключку» с теми, кто был ему родными по духу, по вере, по судьбе. Иногда эта переключка перерастала в конкретную, реальную и насущную помощь людям. Так, он мог отказаться от предложенной ему трехкомнатной квартиры (которая стала ему необходима, когда образовался их семейный союз с Морозкиной и когда из деревни он перевез к себе престарелую мать): не возьму, пока не дадите жилье поэту, у которого квартира только что сгорела... Но чаще всего эта переключка носила поэтично-эпистолярный характер. Причем Игорь, надо сказать, особого рода духовное наслаждение находил в том, чтобы письмами поддерживать талантливых людей, даже если они были ему почти или совершенно неизвестны лично. Такой «завод» в нем жил всегда, и в еще молодые годы и в поздние...

Вот пример из давнего 1963 года. Игорь Григорьев, вырвавшийся из Ленинграда в глубинку Витебщины, пишет оттуда письмо молодому воронежскому автору, уже ставшему его учеником (и ныне хранящему верную благодарную память о своём Учителе):

«...Твои стихи меня, признаться, здорово удивили и по-

радовали... Еще много шелухи, но уже совершенно ясно чувствуется, что строчки эти написаны бесспорно поэтом, причем поэтом одарённым, мыслящим. И впредь держи так... У тебя обязательно дело пойдет... (Далее следует краткий, но очень точный и деловой комментарий к ряду строк молодого стихотворца. – С. 3.) Бросать поэзию – даже думать не могли. Ты – поэт. Ты непременно будешь им. Обнимаю крепко. Всегда твой *Игорь*».

...Прошли десятилетия. Тот молодой воронежец, которого напутствовал и ободрял Игорь Григорьев, избрал профессиональную стезю правоведа, стал одним из маститых сотрудников Минюста. Но он же – Вячеслав Сысоев – сегодня является и одним из самобытнейших поэтов России. И, по его собственному признанию, от писем поэта-партизана он ощущал, «что крылья за спиной вырастают». И скольким молодым одаренным литераторам Игорь Николаевич помог ощутить поэтические крылья, а скольких он «поставил на крыло»!..

А вот каким шутливо-витиеватым (ведь к старинному другу обращается) слогом он сам благодарит своего исследователя, автора глубоких и сильных предисловий к нескольким его книгам – и, кстати, замечательного питерского поэта – Владислава Шошина:

Песней с прозой не напоришь,
Не налиришь нежность зыку.
Без тебя, мой светлый кореш,
Что б я пел? Под чью музыку?

(Явная гипербола, разумеется, но какая же истая благодарность без подобной – причем совершенно искренней – патетики обходится...)

Не пеняй на небылицы,
На загадки без отгадки:
С Русской Музой породниться
Можно только без оглядки.

Вот так и был породнен лучший псковский поэт с музой – безоглядно...

...А вот уже пример «обратной связи» в этой переключке души поэта с родными ему людьми. Причем пример тем более красноречивый, что пишет Игорю Николаевичу самый родной ему не только по духу, но и по крови человек – его сын, Григорий Григорьев. Письмо датировано августом 1984 года, отправитель тогда еще служил офицером медслужбы на Тихоокеанском флоте. Вот лишь несколько строк из этого послания:

«...Сегодня, пользуясь многотысячным расстоянием между нами, я хочу сказать отцу, что чем дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи... В них истинная боль и крик вещей русской души! В его стихах сплав времен, их неразрывное единство... Теперь я знаю: отец прежде других, в одиночку, начал тот бой за наше будущее, о котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки будят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим бравурным маршам.

То, что я написал, – это мое глубокое убеждение. И сообщить об этом я должен был с края света, с беспредельных берегов земли Русской.

Крепко тебя целую. А ты за меня поцелуй бабушку.

Твой сын *Григорий Григорьев*».

Как тут не вспомнить пушкинское: «достойный сын достойного отца». Но как тут и не сказать: дай Бог, чтобы у поэтов русских росли такие сыновья...

И еще один образец переключки меж Игорем Григорьевым и его не просто товарищем по перу, но – подлинным единомышленником по кровной сути Русской Поэзии. Этот образец мне особо дорог: он касается одного из самых дорогих для меня имен, относящихся к поэзии Москвы, а в столичной литературной суеде обрести настоящего друга-единомышленника всегда было делом невероятно трудным, – у меня же такой друг был, старший и надежнейший друг, изумительный поэт Сергей Иванович Поликарпов (1932–1988). Одно из его стихотворений, посвященное псковскому поэту-партизану, заканчивается так:

Тысячелетняя Россия!
Легко ли наново расти?!

В ответ своему московскому (рязанцу по происхождению) другу Игорь Григорьев написал стихотворение «Поэты». Оно мне сегодня представляется не просто программным – это завет для любого, кто хочет избрать своим поприщем Русское Слово. Наконец, по моему убеждению, это вообще одно из лучших и самых возвышенных произведений моего старшего псковского товарища:

Мы воли и огня поводыри
С тревожными раскрытыми сердцами,
Всего лишь дети, ставшие отцами,
Все ждущие – который век! – зари.
Сердца грозят глухонемой ночи,
За каждый лучик жизни в них – тревога,
И кровью запекаются до срока,
Как воинов подъятые мечи.
Взлелеявшие песню, не рабы –
Единственная из наград награда!
Нам надо все и ничего не надо.

И так всегда. И нет иной судьбы.
Нас не унять ни дыбой, ни рублем,
Ни славой, ни цыкуты царской чашей:
Курс – на зарю!
А смерть – бессмертье наше.
И не Поэт, кто покривит рулем.

Живая русская классика наших дней. Строки, достойные войти и в хрестоматию, и в самые строгие по отбору антологии русской поэзии...

Но мой очерк, пусть и краткий, был бы неполон, если бы я не привел в нем строки из еще одного письма. Это – послание Воина своему Командиру. Тут нет никакой гиперболы: к Игорю Григорьеву с поздравлением в честь дня рождения и приближавшегося тогда (в середине 90-х) 50-летнего юбилея Великой Победы обратился один из его подчинённых по группе плюских подпольщиков. Он в то время жил далеко от Псковщины, в уральском Златоусте, но счел своим прямым воинским долгом направить это послание в родной край – родному человеку. Вот оно (с небольшими сокращениями):

«С днем рождения, дорогой командир! С близким юбилеем нашей Великой Победы!

Нет, наверное, ни одного дня, когда бы я не вспоминал о тебе, о Плюсе, о наших разведчиках, ныне здравствующих и polegших за горестную Отчизну нашу.

Человек с большой буквы, Игорь Николаевич, я люблю тебя крепкой дружеской любовью. Мне очень не хватает общения с тобой. Ты научил меня, да и плюских ратоборцев, многому:

непримиримой борьбе со злом – как было в годы войны;

доброму бескорыстному отношению к людям; беззаветному служению своему Отечеству;
кровной привязанности к родимому краю;
трепетному отношению и жалости к природе, к братьям нашим меньшим, к лесам и травам – ко всему сущему;
огромной любви к своему народу;
способности противостоять бедам и переносить любые невзгоды.

Спасибо тебе за все, что сделал ты, что ты есть у нас. Береги себя, командир. Успехов тебе во всем. Бог даст – увидимся.

Любящий тебя, твой разведчик старшой младшей группы подпольщиков

Николай Никифоров.

Город Златоуст, 17 августа 1994 г.».

Не довелось им больше свидеться... Но со вздохом я говорю сейчас о другом: ах, если б нынешние командиры были такими, чтобы их бывшие подчиненные через года присылали бы им подобные послания!..

Русский Воин. Русский Поэт. Русский Человек...

И самое последнее. В коллективном сборнике псковских литераторов, выпущенном к 60-летию Великой Победы, напечатаны несколько стихотворений Игоря Григорьева, которые либо не публиковались прежде (а таких осталось немало), либо в его книгах советского времени появлялись с купюрами, – в сборнике же «Опаленные войной» они напечатаны в первозданном виде. Одно из этих стихотворений завершается так:

Еще окаянные годы
Пошлют нас в пылающий путь.

Вот мы, русские поэты, сегодня и идем этим путем. Путем пылающей вьюги, путем нашей негасимой исторической памяти. И одна из главных путеводных звезд для нас в этом пути – поэзия Игоря Николаевича Григорьева.

Василий Кириллов, Владимир Клемин

ОГНЕННЫЙ КРУГ

Очерки о плюских разведчиках

Всё помню:
Немую работу разведки,
Полегших безусых солдат...
Под сердцем моим пулевые отметки
Доныне к погоде горят.

Игорь Григорьев

Письма. Вместо предисловия

«Дорогой Игорь Николаевич!

Своим письмом ты вернул меня в далекое прошлое 1941–1944 годов, и мне стало не по себе. За каждый звук о совершении прегрешений перед “великим рейхом и фюрером” любому из нас грозили расстрел или виселица. Все операции проводились дерзко, перед самым носом у комендатур и комендантов Брауна, Флото и им подобных, ГФП, зондеркоманд и полицаев. Наши ребята гибли на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанах, при выполнении трудных операций в подпольной разведке. Мы шли на выполнение боевых заданий с чувством солдата России: Родина и Победа или... пусть лучше смерть. У меня лично совсем не было сомнений в горестной необходимости нашего правого дела, не было и растерянности, даже тогда, когда я попал в лапы карателей в 1944 году в деревне Манкошев Луг, под Плюссой. А в середине 1941 года большинство нас были “маленьки-

ми” — носили пионерские галстуки, комсомольские билеты или были просто плюсской “мелюзгой”, “архаровцами”, “шпингалетами”...

В подпольных группах не нашлось ни одного слабака и труса, который бы, при провале, выдал своих товарищей по оружию. А между прочим, все мы были такие разные и по характеру, и по семейному положению, и по жизненному достатку!..

Считаю правильным, что у нас не было списков всей организации, что подполье было разделено на исполнителей, разведку и контрразведку, что организация была разбита на отдельные мелкие группы. Верно и то, что у нас почти не было общих сборов **всей организации**, кроме сбора на реке Плюссе 1 мая 1943 года старшей группы, куда нас – молодняк – не приглашали и даже не пускали. Сбор группы, по-моему, был твоей единственной ошибкой: так все ядро организации могло быть, даже случайно, обнаружено. И тогда... Но, к великому счастью, и эта операция прошла благополучно. Считаю правильным и то, что работа младшей группы была под контролем и при участии старших товарищей. За молодняком требовался глаз да глаз, так как эта “публика” все время рвалась к оружию, а следовательно, могла наломать дров. Такие случаи уже были. Мы, к великому счастью, не повторили ошибок краснодонцев, которых аккуратно, по спискам, арестовывали и казнили. Наверняка, там списки всей организации попали в руки карателей.

Я и мои товарищи (младшая группа плюсского подполья) до начала 1944 года находились под контролем моего брата Алексея Никифорова, твоего помощника.

Крепко жалею, что многих, на войне оставшихся в живых, наших подпольщиков уже нет с нами. Они бы могли

осветить ряд других операций, в которых участвовали, и назвать имена ребят, которые также выполняли боевые задания.

Хотелось бы дожить до выхода в свет этих очерков. Но все мы гости на этом свете. Если верить моим милым докторам, то и мои годы сочтены: эскулапы говорят, что сердце у меня подорвано войной. Да и твое здоровье не блещет, командир. Береги его, пожалуйста! Ты видишь, что с каждым годом круг наших товарищей по оружию становится все меньше, а кроме нас почти некому пролить свет на эту страничку истории войны и борьбы за волю в нашем поселке Плюсса.

Будь здоров, мой дорогой командир!

С дружеским приветом *Коля Никифоров.*

14 декабря 1988 г., Плюсса».

«Игорь! Я родилась 26 июля 1927 года в Ленинграде. Училась там же: школа № 321 Фрунзенского района. Перед Отечественной войной приехала на летние каникулы к бабушке, Надежде Сидоровне Марковой, которая жила в деревне Должицы. Во время войны мы с бабушкой переехали в свой дом, в деревню Игомель Плюсского района.

В Плюссе жил бабушкин племянник Степан Воронков, отец Бориса Воронкова. Я часто к ним ходила, жила подолгу у них. С Борей бегала по Плюссе. А так как Борис был в подполье, то и я оказалась связана с этим делом. Борис был женихом Ларисы Богдановой. Естественно, и я часто бывала в доме Богдановых, по-местному, Могалей. В их доме я познакомилась с Львом Григорьевым, твоим братом, разведчиком плюсского подполья.

В нашей деревне и в Должицах стояли большие немецкие гарнизоны. Мне было легко узнавать то, что в моих

силах, а потом переправлять в Плюссу. Все эти сведения я передавала в доме Ларисы **Богдановой Леве Григорьеву**. Многие в Плюссе знали, что Лев в меня влюблен, и как только он узнавал, что я появлялась в Плюссе, он бежал к Богдановым... А Борис Воронков был влюблен в Ларису. И никому в голову не приходило, что там – явочная квартира.

Дома – в Игомеле – была связана с Жорой Савельевым из деревни Посолодино и с Володей Богдановым из Большого Захонья.

А остальное ты знаешь лучше.

Моя мать, Маркова Устинья Филипповна, 1896 года рождения, уроженка деревни Игомель, с четырнадцати лет жила в Петрограде. Во время Отечественной войны она была на “курорте” в Кемеровской области, Анджеро-Судженский район. Отбывала каторгу вместе с женой Бухарина, с сестрами Тухачевского; там же были жена Якира, сестра Свердлова и многие-многие другие. Там мама пробыла очень долго... Мой отец, Марков Федор Алексеевич, 1895 года рождения, уроженец деревни Игомель, также рано уехал из деревни в Петроград. Там учился в гимназии, позднее – в Академии художеств. В 1914–1916 годах – фронт. Был связан с революционной работой. В 1916 году был приговорен к смертной казни за пропаганду в войсках. Позднее все время – по фронтам, в разных концах. Был в партизанах, где, не знаю; воевал в Пскове с бандой Булак-Балаховича. Также был редактором какой-то газеты. Последняя работа – директор Гидрологического института в Ленинграде. В 1936 году взят, расстрелян.

Я тебе описала вкратце все, всю подноготную... Будь здоров. Привет домашним.

*Люся (Маркова) Погоржельская.
28 января 1989 г., Ленинград».*

«Игорь Николаевич! Память из дорогого далекого прошлого! Прошло много лет, и хотя перед глазами, как живые, стоят многие события того незабываемого времени, однако все реже и реже они приходят на ум, так как нет для памяти толчка извне. И вдруг телеграмма из Плюсы от Николая Никифорова, “Деда”, как мы его звали в подполье. Теперь у меня в Плюссе никого **из родных в живых** не осталось, только на кладбище: мать, отец, брат и сожженная в 1944 году немцами бабушка...

Игорь, у меня хранятся твои книжки стихов – что удалось найти на прилавках книжных магазинов в разные годы. И все же я почему-то ждал от тебя немного прозы – правдивого рассказа о трудной и порой неравной борьбе плюсской молодежи. Возможно, и правильно обратиться к событиям не сразу, а по прошествии какого-то времени, необходимого для их осмысления. К настоящему времени почти никого не осталось, и, кроме тебя, некому в их светлую память сказать или написать слова благодарности за беззаветность, цена которой – жизнь...

За хранение боеприпасов я шесть недель сидел в Плюссе в лагере, устроенном немцами в березовом парке.

Из группы, которая в сентябрьский вечер ушла через Лышницы в партизаны, 18 октября 1943 года погибли в бою за Плюсу мой брат Иван, Володя Сунгуров, Геннадий Окунев, Федя Григорьев из деревни Манкошев Луг, Женя Марков из-под Ленинграда. А раньше, 26 сентября 1943 года, в неравном бою был убит твой брат Лева. Борис Чухов и Алеша Никифоров погибли позднее, на фронте...

С братским приветом *Василий Иванов,*
твой разведчик.
11 декабря 1988 г., Ярославль».

«Игорь Николаевич! Дорогой, родной, здравствуй-те! У меня не хватает слов, как мне благодарить. Спасибо великое и земной поклон за внимание и память о нас. Книгу со статьей о плюских подпольщиках я получила 4 марта 1991 года, в день смерти и памяти моего брата Георгия Савельева, вашего разведчика и подпольщика. Лучше и душевнее я не могла его помянуть... Я еще не прочла, как положено, очерки о плюских подпольщиках, просто слезы застилают глаза: все знакомые деревни, знакомые места и леса, памятные картины. Никак не могу забыть тот момент, когда мы, жители Посолодина, прятались у ручья возле деревни Обрядиха Плюского района. Однажды к нам в лагерную землянку зашел молодой немецкий офицер в полном вооружении. С ним было несколько солдат в немецкой форме. Я не боялась тогда смерти так же, как не боюсь ее и сейчас, но я так напугалась за своего брата Жоржика, что потеряла дар речи и не могла вымолвить ни слова. Каково же было мое удивление, когда брат со словами: “Товарищ командир!..” – бросился вас обнимать. Оказывается, вы с разведчиками шли на боевую операцию. Брат Георгий тогда пошел с вами...

Мне очень жаль, что до выхода в свет книги не дожидала мама и не услышала о ее сыне и обо всех, кто сражался тогда с немецкими захватчиками за Россию, правдивых и достойных слов. Тогда, в Великую Отечественную, все мы (исключая некоторых подонков, – вы извините меня за мое мнение, – которых теперь стало намного больше) любили свою Родину искреннее и душевнее, чем теперь. И все мы готовы были насмерть бороться за нее...

Игорь Николаевич, родной, ведь вы – мне брат, чудом оставшийся в живых, за что надо благодарить Бога, поэто-

му я с вами так откровенна. Не обижайтесь за мои обнаженные слова.

С самыми наилучшими пожеланиями

Людмила Савельева.

11 марта 1991 г., Ленинград».

«Дорогой Игорь! Я очень ждала выхода в свет очерков о нашем плюском подполье и сразу же, как получила книгу “Испытание”, опубликованную Лениздатом, махом их прочла. Сделано прекрасное большое доброе дело. Теперь память о людях, боровшихся и погибших в те тяжелые годы, не исчезнет...

Посылаю два письма Игоря Трубятчинского. Может, они пригодятся Василию Кириллову и Владимиру Клеминову для работы о плюском сопротивлении в годы Отечественной войны. Мне кажется, что ты недопонимал Игоря как человека. Я очень хорошо знала его. Он страшно переживал, что оказался в плену, очень стремился убежать из лагеря и рвался воевать с немцами. И в то же время старался вести в лагере военнопленных подпольную работу, помогал другим уйти из лагеря в партизаны... Он прекрасно понимал, что ему не поздоровится, если захватчики что-то узнают о его участии в подполье. Он предчувствовал свой конец и не раз говорил мне, что его жизнь кончится у Манкошева Луга (там расстреливали непокорных русских). Игорь был вполне сознательно подготовлен к трагическому концу. К сожалению, его предчувствия оправдались...

Не величай меня Татьяной Александровной, от тебя это как-то ни к чему. Будь здоров! Целую!

Таня Веткасова,

21 марта 1991 г., г. Стерлитамак».

«Дорогой друг, Игорь Николаевич!

Я – **Антонина Алексеевна Михайлова** (ныне Харламова) из деревни Посолодино. Вспомните домик глинобитный, на обрыве реки Черной, где вы проживали раненый около недели; потом мы с мамой перевезли вас в баню; там вы и лечились около трех недель.

Мою мать звали Ольга Артемьевна; мужа, вашего разведчика, – Федор Александрович Филиппов, 1917 года рождения, родом из деревни Заупора Батецкого района Новгородской области.

Напоминаю еще: вы прикончили немецкого начальника полиции (он же был немецким шпионом). Было это осенью 1943 года в деревне Овинец Плюсского района. А до этого, весной того же года, в Плюссе мы с Федей сыграли немца и его переводчицу, которых взяли вы и ваши разведчики. Еще я с вами в бригадной разведке Шестой партизанской бригады играла роль связной в вашей пьесе “Черный день”; это было накануне Нового, 1944, года в деревне Клескуши Лужского района. Какой был успех! Сколько было народа – партизан и местных!..

Знаю, что у нас была явочная квартира, к нам приносили документы о немцах. Мы их передавали – **через Федора – майору Хвоину, начальнику разведки в отряде Егорова Тимофея Ивановича.** Помню пароль: “Зажги вьюгу” и отзыв: “Горит вьюга”.

Мой год рождения – **1914-й, 25 октября, деревня Посолодино Плюсского района.** Ну, вот и все. И, пожалуйста, долго-долго не болейте... Мой адрес: **181012, Псковская область, Плюсский район, п/о Заполье, Милютинская улица, дом 10.**

*Антонина Харламова (Михайлова),
9 декабря 1988 г. Заполье».*

«Григорьев Игорь Николаевич, 1923 года рождения, 17 августа... Смелый и отважный разведчик. Всегда проявлял храбрость и инициативу во время боя. За время пребывания в партизанах был дважды тяжело ранен и дважды тяжело контужен. Своей поэзией вдохновлял партизан на подвиги... 5 марта 1944 г.» – это выписка из боевой характеристики Игоря Григорьева (Петербург, Смольный, Архив Ленинградского штаба партизанского движения).

Письма, документы, человеческие признания и откровения – свидетельства событий военного лихолетья на непокоренной земле русской...

День рождения

Еще ничего не было, кроме горя и неслыханной беды: они находились под железной немецкой пятой. И маялись. И не знали, что делать. И не ведали, как быть. Они – это трое закадычных друзей, выпускники Плюсской средней школы: Борис Воронков, Фридрих Веляотс и Игорь Григорьев. Все трое были одногодки – 1923 года рождения, разница была лишь в месяцах и днях. Но какое значение этот факт мог иметь сейчас! Ребята шли из поселка Плюсса к совхозу «Плюсса», на реку Плюсса. На реке они надеялись найти свою лодку, которую спрятали в прибрежном ивняке, у заводи, еще с весны.

День стоял жаркий, светлый, тихий, а если взглядеться – притихший. С утра было 17 августа 1941 года. Почему с утра? А кто же мог угадать: что стряется днем? Но днем ничего не стряслось. В тот день Игорю Григорьеву исполнилось восемнадцать лет.

Лодка была привязана к старой иве в заводи и стояла целехонька под развесистым деревом. Только водой

она была полна до бортов. Весла, спрятанные под другой ивой, тоже были в полной сохранности. Друзья быстро наладили лодку и поплыли вниз по течению. Плыли медленно. Торопиться было некуда. Все равно дальше водокачки не уплывешь: там – немцы, увидят, плохо будет. Ребята и не собирались плыть ниже водокачки. Они хотели добраться до ручья, что впадал в реку у бывшего «собачника». Местные жители хорошо знали это место: до войны здесь какой-то институт содержал много собак.

Участок на «собачнике» был высоким, песчаным, сухим. Плюсские школяры, особенно старшеклассники, любили ходить сюда весной готовиться к экзаменам. Хорошо здесь было: вольготно, рядом река – купайся на здоровье, сколько душе угодно! Можно и рыбешки на ушицу наудить. Собаки оглашали округу лаем, но были существами добрыми и покладистыми. С ними плюсские ученики водили дружбу и подкармливали их. Но так было два месяца назад. А сейчас – тишь, запустение, настороженность и какая-то опасность, повисшая в раскаленном воздухе.

По старой памяти друзья пристали к берегу, вышли из лодки и отправились в молодой сосняк, разросшийся перед «собачником»: немцам не углядеть, а самим из-за деревьев вся округа – как на ладони. Юноши искали уединения для важного разговора. Что и говорить, они были крепко обескуражены: надо было что-то делать, как-то находить себя в этой страшной беде – оккупации. Но как? Никто не знал.

Давно ли Фридрих был в истребительном батальоне, который кто-то предал? От батальона почти никого не осталось. Ополченцу удалось спастись и вернуться домой, в Плюссу. Борис Воронков пробовал скрываться в лесу. Но разве усидишь там долго одиночкой? А про партизан

пока и слуху не было. Игорь Григорьев с братом Львом, когда уже Плюссы была взята немцами, попытались уйти в Ленинград. Но под Лугой их схватили враги и вернули домой, в деревню Тушидово, что в трех верстах от Плюсссы. Там Лев и Игорь с отцом, сестрами Тamarой и Ниной и мачехой Марией Прокофьевной в начале Великой Отечественной войны проживали временно. Немецкие патрули не расстреляли братьев. Спасло их то, что Игорь знал немецкий. Он заговорил с иноземцами на их языке, объяснил, что болен дизентерией. И это их смилостивило.

– Ну, что, ребята, будем делать? – заговорил Борис. – Что решим?

– А чего нам решать, – ершисто возразил Фридрих, – без нас война все решила: надо брать оружие и воевать с пришельцами. Не то они всех нас переколотят!

Седьмого августа отца Фридриха, Августа Ивановича, и брата Ивана немцы расстреляли. Их схватили, когда они собирали оружие на бывшей линии обороны, у правого берега реки Плюсссы. Такое ни забыть, ни простить Фридрих не мог. У Бориса Воронкова были свои счета с оккупантами: его родную деревню они сожгли, а родственников расстреляли. У Игоря Григорьева мать находилась, скорее всего, в Ленинграде, если еще была жива. До войны она жила в городе Ораниенбауме. Игорь не знал, где она сейчас и что с ней.

Обсудив положение, друзья решили прозондировать плюсскую молодежь, которая осталась на захваченной территории: кто чем дышит? Борису Воронкову для этого отвели участок за железной дорогой, включая Комсомольскую улицу; Фридриху Веляютсу – Крестьянскую улицу и к ней прилегающие концы; Игорю Григорьеву достались

Совхозная, Вокзальная и Болотная улицы. Договорились собраться снова через десять дней на квартире у Бориса. Тогда и видно будет, что делать дальше.

Заговорщики вышли из сосняка, спустились к реке и поплыли вниз по течению. У них была рыболовная снасть – «дорожка», на которую ловят щуку. Фридрих греб, Игорь держал «дорожку» в зубах. Вскоре на блесну «села» первая щука. Пока плыли до ручья, поймали еще две рыбины. Их посадили на кукан – рогульку из ивы.

– Всем по щуке. Рыбехи хорошие, пожалуй, фунта по три каждая потянет. Уха будет что надо! – **порадовался** Игорь. Но похлебать рыбного варева ребятам не пришлось. На подходе к ручью, в самом его устье, вдруг слышался окрик:

– Ко мне!

Приятели подняли головы. Перед ними, возле воды, стоял немецкий лейтенант. Был он во френче, без фуражки, без «шмайссера», с одним только «вальтером» на ремне. Очевидно, немец пришел сюда с водокачки. А может еще откуда его принесла нелегкая.

– Ко мне! – еще раз гаркнул немец.

Куда денешься? Ребята подплыли к берегу. Немец оглядел лодку, взял кукан со щуками, вплотную приблизился к рыболовам, спросил зло:

– Предъявите разрешение на ловлю рыбы!

Игорь перевел.

– Ишь, чего захотел: разрешения, – тихо сказал он друзьям. – Мало того, что свободы нас лишили, так и воду решили присвоить и онемечить.

– Мы не имеем такого разрешения, – ответил Игорь по-немецки. – Мы не знали, что немцы к воде допускают по разрешению.

– Заткнись! – закричал чужеземец в ярости и изо всей силы хлестанул Игоря щуками по лицу.

Он упал, шуки разлетелись в разные стороны. Не помня себя от обиды и гнева, Игорь вскочил на ноги и бросился па обидчика. Борис с Фридрихом будто того и ждали. Они свалили немца наземь, спихнули в ручей и насели на захватчика все разом. Воды в ручье было до пояса. Ребята держали вражину под водой до тех пор, пока он не перестал дергаться. Но и мертвого офицера вермахта было опасно оставлять на произвол судьбы.

– Давайте уходить! – сказал Борис. – А то, чего доброго, сюда нагрянут с водокачки солдаты.

– Нет! – возразил Фридрих. – Негоже его оставлять в ручье. Найдут – беда! Надо его упрятать куда-нибудь понадежнее.

– Давайте его под берег сунем! – шепотом предложил Игорь.

– Под намоину, что ли? – переспросил Борис.

– Ну да. Под намоину, а там верх осыпать. И концы в воду.

Так друзья и сделали: затащили тело лейтенанта под подмытый берег, придавили камнем, а козырек подмоины обвалили – похоронили, словом.

– Это тебе, герр лейтенант, за моих отца и брата, за всех за нас! – сказал Фридрих Веляотс.

– Расходись, братва! – посоветовал Игорь. – А я лодку на старое место отгоню, еще пригодится.

Оружие и документы немца зарыли в сосняке.

– По-моему, наша группа сегодня родилась, – сказал Игорь приятелям.

– Крещение приняла, – добавил Борис. – И твой день рождения отметили, – подтвердил Фридрих. – Быть тебе командиром, Игорь.

– Там видно будет, – уклончиво ответил тот. – Пошли.

Во тьме

Оккупировав Плюссу в июле 1941 года, немцы начали разгром, грабеж, разбой. Школьную библиотеку вместе со школой сожгли. Клуб уничтожили. В березовом парке соорудили лагерь наших военнопленных. За малейшее невыполнение немецкого приказа – расстрел на месте. Появились бургомистры, старшины, старосты, коменданты, шефы. Выходить на улицу было опасно: могли за здорово живешь схватить, посадить в лагерь, угнать в Германию, запросто убить.

Люди не могли не бороться за себя, за Отечество, за свободу. И они боролись. Уже тогда, в сорок первом... Первый удар по немцам нанесли плюссские мальчишки, считай, играя в войну. Но в этой игре ставкой была жизнь. На окраине поселка Плюсса, возле дороги на Ляды, между огородом эстонского колхоза и Крестьянской улицей, стоял наш танк Т-26. Во время боя за Плюссу танкисты израсходовали горючее и боевой запас и оставили машину. Плюссские пацаны – Коля Никифоров, Вася Иванов, Петя Векшин и Гена Шавров, каждому из которых в ту пору было по 13–14 лет, – **залезли внутрь машины и обнаружили**, что танковая пушка заряжена снарядами, который наши танкисты почему-то не успели использовать. Мальчишки быстро сообразили, что к чему. Они навели пушку танка на дорогу и стали ждать. И вот на Крестьянской улице, как раз напротив танка, остановился немецкий грузовик. Николай Никифоров проверил прицел – жерло орудия было направлено прямо на кабину автомобиля. В кабине сидели два оккупанта.

Танк выстрелил. Снаряд угодил в кабину. Машина загорелась. Ребята сиганули в лес.

На другой день пошел слух, что красные танкисты пытались отбить свой танк, но были отогнаны с большими для них потерями. Немецкие потери – два солдата и один грузовик.

Ребята из группы Николая Никифорова – «Деда» – вошли во вкус. И эта четверка мальчишек в то время стояла иных взрослых. Неделю спустя после «танковой атаки» ребята отыскали склад мин для немецких батальонных минометов. Находились ящики с минами в школьных сараях. Пацаны на свой страх и риск отвертывали взрыватели и топили их в школьном пруду. Таким образом они разрядили двадцать ящиков мин – все, что было на складе.

В октябре старший брат Николая, Алексей Никифоров, рассказал Игорю Григорьеву об этой группе и ее делах. К тому времени в Плюссе уже наметились явочные квартиры: в доме Никифоровых, Богдановых, Григорьевых, Клёминых.

К концу 1941 года плюсское подполье разрослось. Прибавилось количество явочных квартир: у Чуховых на Комсомольской улице, у Клявиных на Болотной и у военнопленных, в бывшем продовольственном магазине в центре поселка. Явки, явочные квартиры, места встреч молодежи в 1942 и 1943 годах появятся в Плюсском районе в деревне Посолодино, у Ольги Артемьевны Михайловой и у Павла Федоровича Савельева; в деревне Большое Захонье, в детдоме, под руководством Владимира Богданова; в деревне Радовье, у подпольщиц Анны и Ирины Егоровых – дочери и матери; в деревне Петрилово, у Михаила Логинова, верного и храброго подпольщика. Главная явка была в деревне Машутино Стругокрасненского района, у замечательной женщины-патриотки, подпольщицы, беженки из-под Ленинграда Валентины. К сожалению,

нию, память наша не сохранила иных данных о беззаветной партизанке-разведчице. Сначала о Валентине было не положено знать что-либо из-за конспирации, а позднее все потонуло в водовороте войны. Может быть, кто-то откликнется и расскажет нам о Валентине, когда прочтет эту книгу? От Валентины (а может, звали ее совсем не Валентиной?) шла прямая связь плюских разведчиков и подпольщиков с руководителями Стругокрасненского межрайонного подпольного центра.

В начале 1942-го в Плюссе наметилось несколько боеспособных групп подпольщиков. На Комсомольской улице – группа под руководством Бориса Чухова. Сыну в подпольной работе помогал отец Федор Андреевич; он был расстрелян осенью 1943-го. На Совхозной улице, в доме № 8, была группа подпольщиков, непосредственно связанная с Игорем Григорьевым. Эта группа, по сути дела, состояла из руководителей групп: Любви Смуровой, Евгения Севастьянова, Бориса Воронкова, Льва Григорьева, Георгия Савельева, Людмилы Марковой, Фридриха Веляотса и других. На Болотной улице была группа подпольщиков, которая состояла из школьников – Владимира Сунгурова, Геннадия Окунева, Алексея Степанова, Раисы Воронцовой. На Крестьянской улице, кроме «молодняка», под руководством Алексея Никифорова была создана группа старших юношей и девушек. В нее входили Иван Иванов, Линда Соотс, Раймонд Сультинг, Владимир Клемин, Федор Григорьев из деревни Манкошев Луг. В лагере военнопленных действовал переводчик Игорь Трубятчинский (по лагерному – Трубчинский), которому не за страх, а за совесть помогала работница биржи труда Татьяна Веткасова, а также военнопленные лагеря, особенно Евгений Севастьянов, Иван Зайцев, Александр Куликов.

Большую ценность для подпольщиков представлял дом Воронцовых. У Раисы Воронцовой (ныне Сорокиной), школьной подружки и одноклассницы Игоря Григорьева, на квартире был радиоприемник. По этому приемнику подпольщики получали сводки Совинформбюро, переписывали и распространяли их в Плюссе и соседних с поселком деревнях.

В доме Степана Клемина, отца подпольщика Володи, было нечто вроде штабной явки. Дело в том, что на квартире у дяди Степы жила ленинградка, преподавательница немецкого языка в Военно-морском училище имени Фрунзе Евгения Николаевна Моница. Это была женщина большой души и высокой чести. Сколько доброго сделала она жителям Плюсссы в период оккупации! Наверное, нет в поселке такого человека, который не сказал бы о Евгении Николаевне доброго слова. Помнят ее в Плюссе и поныне. Моница занималась у немцев попечительством детских домов и школ, была переводчицей в хозяйственной комендатуре, имела связь с партизанами 6-й Ленинградской партизанской бригады. Много доброго сделала она и Игорю Григорьеву, помогая ему и словом, и делом в его нелегкой подпольной работе.

Ребята собирали листовки, сброшенные нашими самолетами, и разбрасывали их в Плюссе, переписывали сводки с фронтов, нарушали, где было возможно, немецкую связь; помогали беженцам и военнопленным; всеми способами уклонялись от немецких работ – от расчистки дорог в снегопады до разгрузки и погрузки вагонов...

Весной 1943 года Николай Никифоров, Василий Иванов и Петр Векшин пошли на разведку к железнодорожному мосту. Немцы заметили ребят и стали по ним стрелять. Мальчишки залегли. К ним направился немец, как

потом оказалось, штабс-фельдфебель местной комендатуры № 858 Парзольт. Увидев, что он идет за ними, мальчишки бросились бежать под откос, хотя знали, что откосы и участок вокруг моста заминированы. Но делать было нечего. Немец пустился вслед за ребятами и... подорвался на mine, на германской. Насмерть.

Николай Николаевич Никифоров прислал нам нечто вроде отчета о проделанной работе в первый год подполья. Вот некоторые данные из этого отчета.

«1. Было установлено наблюдение за размещением фашистских войск в Плюссе и передвижением войск карателей. Так, в 1941 году группа ввела батальон наших солдат в Плюссу. В Плюссе они освободили около 300 заложников, среди которых находился и подпольщик Алексей Никифоров. Заложники были взяты немцами за уничтожение генерала и его машины.

2. Было организовано похищение оружия из казармы в помещении довоенного бытового комбината на Крестьянской улице.

3. Был организован сбор оружия в местах боев с немцами и консервация собранного оружия. В этой операции участвовала вся младшая группа. Четверо взрослых мужчин – Фомин, Дымоходов, Велятс-отец и сын Иван Велятс – были расстреляны.

4. Группа засыпала гравий в буксы вагонов стоящих на станции Плюсса немецких поездов. Удавалась эта акция нечасто – поезда в основном шли через Плюссу транзитом.

5. Группа извещала плюсскую молодежь о предстоящей отправке в Германию. Сведения получали через работниц биржи труда – Любовь Смурову, Татьяну Веткасову и Галину Бывшеву...

Большой активностью в борьбе с гитлеровскими захватчиками отличался Стругокрасненский межрайонный подпольный центр, возглавляемый Тимофеем Ивановичем Егоровым, Василием Кузьмичом Красотиным и Иваном Васильевичем Хвойным. Под руководством этого центра действовали многие подпольные организации. В их числе была и Плюсская. В состав Плюсской подпольной организации входили Любовь Смурова, Игорь Григорьев, Лев Григорьев, Владимир Клёмин, Евгений Окунев, Иван Иванов, Алексей Степанов, Борис Воронков и другие. Всего в организации было около сорока человек.

Любовь Смурова по заданию подпольщиков устроилась на работу переводчицей в Плюсскую биржу труда. В тесном контакте с Игорем Григорьевым она добывала чистые бланки различных документов, необходимые для партизан. Игорю Григорьеву удалось установить деловые связи с некоторыми должностными лицами из карательного отряда, от которых поступали сведения о предстоящих выездах полицейских на борьбу с партизанами. Из этих же источников патриоты добывали данные о вражеском гарнизоне.

По заданию подпольного центра были подключены к разведывательной работе Лев Григорьев, Владимир Клёмин, Людмила Маркова, Борис Чухов, Владимир Богданов и другие. Они собирали сведения о воинских перевозках врага через станцию Плюсса и переброске войск к блокированному Ленинграду».

Хороших людей вырастила Плюсская средняя школа и ее учителя. Особенно любимыми наставниками у ребят были учительница русского языка и литературы Розалия Ананьевна Шитикова и директор школы физик Максим Григорьевич Рудаков, химик и биолог Константин Кон-

стантинович Лапин и педагог младших классов Евдокия Павловна Павлова.

Год сорок второй

Плюские подпольщики продолжали действовать. Но и немцы не сидели сложа руки. В их канцеляриях уже составлялись списки плюской молодежи для отправки «на подводы». В начале 1942 года большая группа молодежи Плюсы и Плюсского района была погружена в тележьи вагоны и отправлена в Латвию за лошадьми. Среди отправленных были и подпольщики – Михаил Логинов, Фридрих Веляотс и Игорь Григорьев. Другая группа молодых людей была отправлена немцами под Новгород. В нее тоже попали подпольщики – Лев Григорьев, Алексей Никифоров и Владимир Клёмин.

Из Латвии обозников (немцы их называли «паньефатер») пригнали в поселок Локня. Здесь обоз загрузили сеном и продуктами и отправили в сторону города Холма, где проходил фронт. Пока ехали, немало продуктов было растащено, съедено, а то и просто выброшено в придорожные кусты. Лошади все чаще начинали хромать. Михаил Логинов объяснил Игорю:

– Ребята уродуют ноги лошадям. Я и сам, грешным делом, трех коньков «подковал». Давай и ты!

– И тебе не жалко?

– Жалко, да жалость сейчас плохая утеха. Война!

В начале июня 1942 года обоз остановился в деревне Какачио Поддорского района. Жилось обозникам – не приведи Господь! Страшно хотелось есть, все были простужены, в чирьях, обессилены. От деревни Какачио осталось всего три дома, стояли они среди болота, в комарином

царстве. Обозников было человек сорок. К концу июня среди них образовалась небольшая, но крепкая группа сопротивления во главе с Игорем Григорьевым и Михаилом Логиновым.

В обозе Игорь подружился с ленинградцем (из Лигова) Николаем Дерновым. В конце июля 1942 года, по решению подпольной группы, на поиски своих ушли Николай Дернов, Павел Степанов и еще двое ребят. И среди них Фридрих Веляотс. Они взорвали немецкую легковую машину, уничтожили немца-майора и водителя. И где-то застрялись.

Однажды, в начале августа, к Игорю пришел обозник Леша из деревни Тушиново, что под Плюссой. Леонид Осипов был давним соседом и другом Игоря. Он сказал:

– Я сегодня, когда возил немецкую жратву, «занял» у фашистов мешок настоящей колбасы. Раздели ребятам...

Немцы пронюхали про кражу. Выстроили наших ребят и грозно спросили:

– Кто есть вор? Или сознаетесь, или расстреляем каждого десятого!

Ребята знали: немцы не шутят. Надо было избежать побоища, Первым из строя вышел повар Михаил Логинов:

– Я украл колбасу!

За ним шагнул Леня Осипов:

– Я тоже украл колбасу!

Игорю ничего не оставалось иного, и он шагнул из строя:

– Их бин аух! (Я тоже.)

Никого не расстреляли в тот раз. Но пороть – пороли. Тем более что русские ребята, которым предложена была роль экзекуторов, бить своих наотрез отказались. И этих высекли. А назавтра Михаила Логинова и Игоря Григо-

рьева как зачинщиков саботажа немцы отправили в Локню. До шоссе шли пешком, а дальше их повезли на автомашине. Охранял ребят всего один солдат. Дорогой трясло нещадно, ехали медленно. Да и то сказать: ребятам торопиться было некуда, ничего хорошего в Локне ждать не приходилось. И вдруг охранник заговорил:

– Я чех, не эти швабы. Я вам сочувствую и понимаю вас. Вы направляетесь в гестапо, а там одна дорога – на тот свет. Поэтому я передам вас в деревню Кушково. Там есть мой приятель, унтер-офицер Тони Бреннер, антифашист. Он поможет вам выкрутиться. Возможно, найдет и случай отправить вас домой. Поняли?

– Поняли, друг! Как не понять! Как звать-то тебя? Кто ты? За кого нам Богу молиться?

– Звать меня Франтишек, я – человек. А больше зачем вам знать?

Так Игорь Григорьев и Михаил Логинов оказались под Локней, в деревне Кушково, где немцы строили укрепления, пытаясь остановить наступление наших войск под Великими Луками. Унтер-офицер Тони Бреннер оказался дельным человеком. В середине декабря он посадил Игоря и Михаила на поезд, снабдив их проездными документами, и те отправились восвояси.

28 декабря 1942 года Игорь Григорьев вернулся в Плюссу, а Михаил Логинов – в свое родное Петрилово. Жизнь продолжалась.

«Зажги вьюгу!»

Не успел Игорь отлежаться с проклятой обозной дороги, как в хатенку Григорьевых пожаловал немец с биржи труда:

– Завтра к девяти часам Григорьев обязан явиться для регистрации на биржу труда. Все понятно?

– Как не понять? – не выдержал отец Игоря Николай Григорьевич. – Вы, немцы, все объяснили нам, русским, понятнее понятного.

– Он же еле жив, – причитала мачеха Мария Прокофьевна. – Дайте ему хоть в себя прийти! Никуда он от вас не денется.

Но у немцев был железный закон: трудоспособный человек в течение 24 часов обязан был зарегистрироваться на бирже труда. И Игорь пошел на биржу. Там его попросили подождать, пока хозяйка биржи освободится. Игорь сидел и думал: «Неладно мое дело: сама начальница говорить хочет!..».

Едва из дверей вышел сухопарый и тонкогубый немец в капитанской форме, Игоря пригласили в кабинет.

– Благополучно вернулись? – спросила фрау Эдигер. – Дома все здравствуют и пребывают в мире и согласии?

– Спасибо, госпожа Эдигер, за внимание. Мои домашние еще не умерли пока что.

– Ну, о смерти, юноша, вам говорить рано. У вас вся жизнь впереди. – **И перешла к делу: – Мы вас позвали, желая добра вам и вашему дому. Имеем для вас весьма лестное предложение. Местная комендатура 858 предлагает вам стать ее переводчиком. Завтрак, обед и ужин, 37 марок в месяц денежного довольствия. Вам будет предоставлена возможность посещать зольдатенхайм¹. Вы будете пользоваться солдатским кинотеатром. Вас не будут посылать на временные и тяжелые работы. Надеюсь, вы понимаете все преимущества, которые вас ожидают? От вас требуется лишь согласие. На работу можете выйти завтра. Но не позднее послезавтра. Так решено!**

Игорь был сбит с толку таким «предложением», обеску-

¹ Казино, что-то вроде солдатского кабачка. – *Авт.*

ражен и напуган. Он знал немцев: если они что-то вобьют себе в голову, отделаться от них не так-то просто.

– Я, госпожа Эдигер, благодарю вас за честь, мне оказанную, но принять столь лестное и ответственное предложение, к сожалению, не могу, – ответил Игорь, набираясь решимости.

– Не могу вас понять, молодой человек, – недоуменно заметила немка. – Вам предлагают ни больше ни меньше, как возможность выжить и уцелеть, а вы отказываетесь. В чем дело?

– Дело очень простое, – ответил Игорь. – Я болен. Меня в подводах изрядно потрепали.

– Что? – не поняла немка.

– Херцфеллер, то бишь порок сердца, по-нашенски, вколотили в меня, – опять вставляя русские слова, заговорил Игорь. – Да и язык немецкий я плохо знаю.

– Язык немецкий вы знаете хорошо! Со временем совсем освоите. Вот что, даю вам неделю срока. Подумайте как следует. У немецкого командования нет времени на уговоры. Явитесь пятого января к девяти часам. Ауф видерзэйн!

Пятого января Игорь снова пришел на биржу. Фрау Эдигер, на этот раз не столь любезно, спросила:

– Что решили, молодой человек: быть или не быть?

– Извините меня, но пойти в комендатуру я не могу: болею. Да и язык немецкий знаю слабо...

– Хорошо! – недовольно сказала немка. – Я связалась с господином Флото, комендантом местной комендатуры. У вас есть два выбора: место переводчика в комендатуре и место возчика почты, разумеется, своей тягой. На вокзал и с вокзала. Третьего места вам пока что нет. Вы поняли меня?

– Я все понял, фрау Эдигер! Спасибо за внимание. Извините за хлопоты.

С 6 января по 6 марта 1943 года Игорь Григорьев два раза в сутки – утром и вечером – возил солдатскую почту на вокзал и с вокзала.

Работа на почте устраивала подпольщика: он имел доступ к железной дороге, к вокзалу, к эшелонам. У него было достаточно времени заниматься своими делами. Именно в это время Лев Григорьев отравил немецкую муку на складе. Оккупанты были вынуждены уничтожить целый вагон муки. Захватчикам и в голову не пришло, что это дело рук плюсских ребят.

В конце февраля Евгений Окунев и Владимир Сунгуров зажгли немецкий гараж в Плюссе. И это сошло. Дело в том, что было холодно, вечером немцы разогревали моторы паяльными лампами, и пожар был списан на самих немцев. Двух работников гаража в спешном порядке отправили на фронт, под Ленинград. Гараж и две машины сгорели.

Подпольщики в феврале 1943 года в своих рядах уже насчитывали свыше двадцати человек. А помощников у них было раза в два больше. Стали устанавливать связь с деревнями Плюсского и Лядского районов.

Седьмого марта 1943 года Игоря Григорьева снова вызвали на биржу труда. В кабинете у хозяйки сидел молодой немец.

– Лейтенант Абт, сотрудник ортскомендатуры 858. Имею честь сообщить следующее: 11 марта 1943 года вы к девяти часам приходите к нам на работу в качестве переводчика. В противном случае явитесь на пересыльный пункт биржи труда для немедленной отправки в Германию. Решение окончательное. Чтобы вы не соверши-

ли глупостей, мы на время переводим вашего брата Лео в лагерь военнопленных. Там он под надежной охраной. И вам есть над чем подумать. Идите. Надеюсь, до скорой встречи в комендатуре 858.

Времени у Игоря Григорьева было в обрез. Надо было решить, что делать, как поступить, куда деваться? Шестого марта на квартире у Богдановых собрался совет: Борис Воронков, Борис Чухов, Лариса Богданова, Алексей Никифоров, Людмила Маркова, Лев Григорьев, Любовь Смурова и Георгий Савельев.

- Что делать мне, друзья? - спросил Игорь ребят, рассказав о встрече с лейтенантом Абтом.

Подпольщики заволновались. Потом заговорили все разом.

- Отправят в Германию - хана! - резюмировал Борис Чухов.

- В Германию ни в коем случае! - заметила Лариса Богданова. - В Германии - крышка.

- Что угодно, только не Германия, - сказал Леша Никифоров.

- Выход надо искать здесь, в России, где каждый кустик ночевать пустит, - проговорила Люба Смурова. - Есть у меня план. Разрешите мне с Игорем его обсудить...

Седьмого марта Люба и Игорь после полудня вышли из дома и направились в сторону деревни Радовье. За Радовьем повернули на Машутино. Люба говорила Игорю дорогой:

- Есть в деревне Машутино один человек: беженка из-под Ленинграда. Звать ее Валентиной. Она связана с кем следует. Пойдем к ней. Посоветуемся. Она поможет нам решить, что тебе делать.

В Машутине Люба и Игорь сушили мокрую обувь -

на улице было слякотно, шел мокрый снег с дождем, а парень с девушкой прошли больше двадцати километров и очень устали и промерзли. Хозяйка, молодая, лет двадцати пяти миловидная женщина, напоила их малиновым чаем, накормила горячей картошкой. В комнате топились чугунок, было тепло и уютно.

- У нас важное дело, - заговорила Люба, обращаясь к Валентине. - **Мы не знаем, как поступить. Немцы предложили Игорю отправиться в Германию или стать переводчиком в местной комендатуре 858.**

- Хорошо знаете немецкий? - спросила Валентина.

- Да, знаю, - ответил Игорь, - черт бы его побрал.

- Ничего, пригодится, - **спокойно возразила Валентина.** - Поговорю я с кем следует. Они, кстати сказать, Плюссой интересуются. Ваши ребята вроде не сидят сложа руки? Значит, так условимся: десятого марта в одиннадцать вечера у школы. Вас будут ждать. Вдвоем придете?

- Приду один, Валентина... Как вас по батюшке величать?

- Валентина - и все.

- Хорошо, Валентина. А школа у вас где?

- Я провожу вас, покажу. Школа за деревней, в сосновом бору. Немцы туда боятся нос совать. Надежное место...

Как условились, 10 марта в 23.00 Игорь был в деревне Машутино, возле школы.

- Пропуск! - **спросил его из темноты хриловатый голос.** Игорь назвал пропуск, который дала ему Валентина. Из кустов вышел парень с автоматом в руках, повел Игоря в лес. Шли с километр. Впереди, на поляне, горел костер. У костра сидели три человека. Провожатый доложил:

- Товарищ майор, ваше приказание выполнено!

Человек, сидевший у костра, подошел к Игорю, представился:

– Начальник разведки, майор Хвоин.

– Игорь Григорьев, плюссский житель, недавний выпускник средней школы, ныне человек без определенных занятий.

Два человека, оставшиеся сидеть, смотрели на Игоря. Одного он сразу узнал: это был секретарь Плюсского райкома партии Красотин, отец друга братьев Григорьевых, Михаила. Игорь воскликнул:

– Василий Кузьмич! Это вы? Вот здорово!

Василий Кузьмич ничуть не удивился. Игорь с братом Львом частенько бывали в доме Красотиных. И те подкармливали не дюже сытых мальчишек. Поздоровались. Красотин указал Игорю на сидевшего на ольховой сушине светловолосого широколицего мужчину, сказал:

– Тимофей Иванович Егоров, наш командир, руководитель Стругокрасненского межрайонного подпольного центра. – И, помолчав, добавил: – Теперь и твой командир.

– Так что за нужда у тебя, что искал нас? – спросил Тимофей Иванович. – Да ты садись.

Все закурили. Помолчали. Игорь, собравшись с мыслями, заговорил:

– Разрешите доложить, товарищи командиры. Завтра, одиннадцатого марта, в девять часов утра, я должен идти работать в Плюсскую местную комендатуру 858 переводчиком. Либо ни биржу труда для отправки в Германию. Такое условие немцы поставили.

– Что же ты решил?

– Посоветовался с ребятами. Все считают: в Германии мне хана. Не ехать туда. В комендатуру идти переводчиком тоже дело дохлое. Вот к вам пришел.

– Ну, а если бы сам решал? – переспросил майор.

– Сам я, наверное, рискнул бы в Германию. После моей отправки брата Льва немцы выпустили бы из лагеря военнопленных. А по дороге я драпанул бы. Многие ведь бегут. Удастся. Другого выхода не вижу.

– Рискнул бы отправиться в Германию или решил поехать туда? – снова задал вопрос начальник разведки.

– Если честно, то решил ехать. А там сбегу. Сбежав – к вам. Примете? А там и брата Любовь Смурова к вам переправит. И будет порядок. Если не верите, дайте мне мину и выведите к железной дороге. Я за милую душу рвану немецкий эшелон.

Командиры переглянулись.

– Шустёр! – сказал Тимофей Иванович, усмехнувшись. Игорь молчал растерянно.

– Твой план придется отставить: у нас есть другой, – заговорил Егоров. – Если, конечно, его примешь. План этот трудный и опасный. Но реальный. А главное, очень нужный! Тебе о нем расскажет начальник разведки Иван Васильевич Хвоин. А нам пора заняться делом. Желаю удачи.

Игорь Григорьев остался вдвоем с начальником разведки майором Хвойным.

– Руководство Стругокрасненского межрайонного подпольного центра осведомлено о положении дел в Плюссе, о ее подпольщиках. Поэтому принято решение о создании в Плюссе разведывательной группы. Руководить этой группой рекомендован ты, Игорь. Надеюсь, понимаешь, что значит центру иметь своего человека, да еще переводчика, в Плюсской местной комендатуре? Об этом мы давно думали. Итак, ты идешь в комендатуру переводчиком. Это приказ подпольного центра.

Все это начальник разведки выговорил медленно, спокойно, но твердо и уверенно.

– Слушаюсь, товарищ начальник разведки! – ответил Игорь грустно. – Я все понимаю. Но справлюсь ли с задачей? Да и язык не так уж хорошо знаю.

– Не справиться нельзя: война!

– Понял, товарищ майор! – ответил Игорь уже веселее. Он приходил в себя от всего происходящего.

– Поможем тебе и твоим ребятам. – И вдруг майор спросил: – Почему не доложил о плюсской подпольной группе? Она успела уже проявить себя. Мы ведь тоже не глухие и не слепые: кое-что видим и слышим, не думай, что в лесу сидим.

– Да нечем пока хвастать, товарищ майор. Группа, конечно, есть. А дел не ахти сколько.

– Дело вы делаете большое. Молодцы! Теперь вам работы прибавится. Готовы ли ваши ребята?

– Готовы, товарищ начальник разведки!

– Запомни пароль: «Зажги вьюгу!» и отзыв: «Горит вьюга!». Пароль этот особый. Для сказавшего его ты обязан сделать все, что будет надобно. Ясно?

– Так точно!

– В Плюссе пароль могут знать лишь самые доверенные лица. Будь осторожен. Первый приказ подпольного центра: внедряйся в комендатуру. Через десять дней пришлем своего человека.

– А что делать десять дней? И как меня найдет связной?

– О связном не беспокойся. Найдет. А делать – ничего особенного: веди себя, как раньше. Чтобы никто ничего не заподозрил. Пойдем, провожу до развилки. – Крупно шагая в темном лесу, начальник разведки наставлял: – В случае чего обращайся к Валентине, она найдет нас...

На другой день, 11 марта 1943 года, к девяти часам, как было предписано биржей труда, Игорь Григорьев пришел в Плюсскую местную комендатуру, что располагалась на Крестьянской улице в бывшем Доме крестьянина, и стал переводчиком. На этом горячем и рисковом месте разведчик пробыл до 11 июня 1943 года – три месяца, как один день.

Ловцы зверя

Однажды, рано утром, когда Игорь должен был идти на свою новую работу, явился унтер-офицер.

– Гутен морген! Мне нужен Григорьев.

Григорьевы сидели за столом.

– Перед вами трое Григорьевых. Которого надобно? – спросил прищельца отец.

– Мне нужен Игорь.

– Игорь – я.

Немец отвел Игоря в сени:

– «Зажги вьюгу!»

– «Горит вьюга!» – отозвался Игорь. – Говорите по-немецки.

– По-немецки я плохой говорун, – ответил «унтер-офицер». – Слушайте и запоминайте. Вас ждет «Сам» одиннадцатого апреля в 22.00 в деревне Радовье, на явочной квартире. До свиданья! – И связной ушел.

В назначенный срок Игорь был в Радовье. Его давняя знакомая, двоюродная сестра Любы Смуровой Аня Егорова, привела Игоря к себе домой. Иван Хвоин был там. Первым делом начальник разведки спросил:

– Освоился на новом месте?

– На таком месте, товарищ начальник разведки, освоиться трудно.

- Ничего, привыкай. Война. Что в Плюссе?

- Да ничего хорошего...

- Слушай внимательно. В Плюссе сейчас находится крупный каратель, связной местных немецких агентов, диверсантов и карателей всех мастей, офицер СД, полковник Отто фон Коленбах. Воинское звание у него и фамилия могут быть не настоящими. По нашим сведениям, Коленбах – ныне капитан, журналист. С ним переводчица из прибалтийских немцев – фрау Эмилия Пиллау. Этот фон Коленбах с переводчицей ночным поездом ориентировочно 27–29 апреля отправляются в Ригу, в свою ставку. Плюсской разведгруппе – приказ: взять Коленбаха и доставить в подпольный центр. Желательно вместе с офицером привести и его переводчицу. Но можно и без нее. А этого – обязательно живьем! Он очень нужен! Брать Коленбаха надо так, чтобы не навлечь подозрения на подпольщиков и жителей Плюссы. Продумайте! Окончательный план захвата Коленбаха доложить 17 апреля. Место встречи – деревня Овинец, дом старосты Якова Тиханова, нашего помощника. Место удобное – дом на краю деревни, рядом лес. Подход к дому со стороны деревни Сутьли... Вот гляди сюда. – Иван Васильевич вынул из планшета несколько фотографий. На них был запечатлен красивый немец: сухопарый, горбоносый, в разных воинских званиях – от гауптмана до оберста, в формах разных родов войск. Были здесь и фото его переводчицы Эмилии, миловидной, куклообразной дамочки.

Разглядывая фотографии, Игорь удивился:

- Это оберст Коленбах? А в Плюссе он ходит в форме капитана, разыгрывая из себя журналиста и фоторепортера. Бывал он и в комендатуре, и на бирже труда. Но чаще всего его можно встретить у местных полицеев, которые

ми руководит фельдфебель Василий Кашин. Этот Кашин очень опасен и кровожаден. И осторожен. Капитана у нас знают под фамилией Гольдберг. Его возит Евгений Севастьянов на «опеле». На Женю Севастьянова можно положиться – наш подпольщик. И у немцев не вызывает подозрений.

– Добро, что ты знаком с Коленбахом-Гольдбергом! И шофера включи в операцию.

– Понял, товарищ начальник разведки! – ответил Игорь.

– Ирина Трифоновна, – обратился Иван Васильевич к хозяйке, – не мешало бы и подкрепиться, а то, как видите, наш разведчик не дюже упитан.

– Давно жду. Уже дважды подогрела обед...

План захвата Коленбаха был уточнен и одобрен подпольным центром. Началась подготовка к захвату крупного карателя. За три дня до проведения операции «Подснежник» (так ее называли) ударная группа подпольщиков собралась в лесу, за стадионом. Обсудили детали захвата. Все было готово к выполнению операции. План был таков: Евгений Севастьянов повезет Коленбаха с переводчицей на поезд по заданной улице. Навстречу выйдут трое «жандармов» – Игорь Григорьев, Лев Григорьев и Алексей Никифоров. Они, проверяя документы, схватят немца. Женя Севастьянов повезет пленного за Плюссу, где его будут ждать наши ребята. Там Коленбаха и его переводчицу переоденут в русскую одежду. А в немецкое платье переоденутся подпольщики – Федор Филиппов и его жена Антонина Михайловна, выполняющая роль мадам Эмилии. Коленбаха и немку разведчики Георгий Савельев, Лев Григорьев и Иван Иванов уведут к месту явки майора Хвоина (за деревней Манкошев Луг, на кромке болота Соколий мох). Евгений Севастьянов, Федор Филиппов

и Антонина Михайлова прибывают на вокзал. Пассажиры садятся в поезд и отбывают в Ригу. По дороге, скажем, в Пскове, они покидают поезд и возвращаются домой. Шофер ставит машину в гараж. Документы для путешествия Любовь Смурова раздобыла, а Борис Чухов вписал в них все, что требовалось.

К концу апреля разведчикам стало известно (узнала Люба Смурова), что Коленбах и фрау Эмилия должны отбыть из Плюссы ночью 28 апреля, если поезд не опоздает. И вот пришло 28 апреля. Наступила ночь. Наблюдатели передали, что машина Коленбаха отошла от его квартиры к вокзалу.

Навстречу машине шли трое жандармов, с орлами на шагах, в касках, со «шмайссерами», с карманными фонариками в руках. Ведущий патруль остановил машину:

– Хальт! Пассиершайн! (Стой! Пропуск!)

Коленбах, недовольно ворча, полез за документами в карман. И тут Евгений Севастьянов ударил его ручкой тяжелого парабеллума по голове. Немец сник и откинулся на сиденье. Алексей и Игорь рванули дверцу «опеля», бросились на немца. Тот вдруг затрепыхался. Женя стукнул его еще раз.

– С ума сошел! – возмутился Игорь. – Загубишь, того и гляди, «языка», а ему цены нет.

– Больше не буду, товарищ командир. Сгоряча это я.

Переводчицу утихомирили без особых хлопот. На улице никого не было. И машина минут через пятнадцать была уже за поселком, на краю тушитовского поля, у кромки леса. Иван Иванов, Георгий Савельев и Федор Филиппов с Антониной Михайловой ждали машину.

– Принимайте груз! А нам еще надобно к поезду успеть, – сказал Женя Севастьянов, выволакивая Коленбаха.

Немец, освобожденный от своей заграничной униформы и одетый в русский наряд, казался нелепым и жалким. Зато глядеть на Федю Филиппова было жутковато.

Игорь придиричиво оглядел мнимых немецких пассажиров.

– Не хуже настоящих немцев. Ну, доброй вам дороги! Возвращайтесь поскорее домой!

Машина ушла на вокзал. Группа в составе Алексея Никифорова, Ивана Иванова и Льва Григорьева повела Коленбаха и его переводчицу Эмилию на явку у Сокольного мха, где их ожидал начальник разведки Стругокрасненского межрайонного подпольного центра майор Иван Хвоин.

А через неделю вернулись из «командировки» и Федор с Антониной. Все обошлось как нельзя лучше. Не ждали немцы от плюских подпольщиков такой прыти...

Половодье

Первомай было намечено встретить в пять часов у хутора Бушиных, на левом берегу Плюсы. Надо было собраться, хотя затея общего сбора была весьма опасной. Пригласили всех членов разведгруппы, активных подпольщиков и их помощников. Младшую группу решено было не трогать, проинформировать потом.

Вскоре после обеда лесными тропами и проселками, ведущими от стадиона к берегу Плюсы, потянулись участники собрания. На кромке леса их встречали регулировщики, замаскированные в ельнике, – Алексей Никифоров, Лариса Богданова, Раймонд Сультинг и Владимир Сунгуров.

Первым вошел в лес Володя Клёмин.

– Зачем пожаловал? – раздалось из кустов.

– «Половодье», – ответил Володя пароль.

– «Разливайся!» – отозвался голос из кустов. – От хутора Бушиных налево, до березы на обрыве. Сбор там.

Девушки – Люба Смурова, Галя Бывшева, Люся Маркова, Таня Веткасова и Рая Воронцова – шли вместе с братьями Григорьевыми, Львом и Игорем. За ними двигались Ваня Иванов, Линда Соотс, Женя Окунев, Алеша Степанов.

К намеченному сроку почти все собрались. Человек тридцать. В случае чего можно было изобразить простую гулянку молодежи. Для маскировки и гармошку Борис Чухов захватил.

– Начнем, друзья! Подпольный центр поздравляет всех нас с Первомаем, – сказал Игорь, – и желает успехов в ратном деле и скорой победы! А я хочу прочесть вам свое новое стихотворение... если вы согласны слушать.

– Давай! Слушаем! – раздалось несколько голосов.

И Игорь Григорьев стал читать...

После завершения стихотворения Игорь объявил:

– Торжественная часть окончена. Перейдем к делу, начнем с приятного: Жора Савельев, работая на немецкой пекарне, «занял в долг» десять буханок хлеба. Буханку – на троих. Предлагаю разделить и подкрепиться в честь Первомая. – И стал раздавать буханки.

Хлеб, запивая водой из Плюссы, съели. Игорь снова встал:

– Нам надо решить несколько вопросов. Утвердить комиссара разведгруппы. До сих пор у нас негласно им был Алексей Никифоров. Хорошо комиссарил. Какие будут мнения?

Слово взял Михаил Логинов, подпольщик из деревни

Петрилово. Он был толковым разведчиком: поставлял сведения о движении на шоссе Плюсса – Ленинградское шоссе. Кроме того, Михаил был снайпером. На шоссе между Плюссой и Заплюсьем немцы, случалось, попадали под его меткую пулю.

– Пускай и дальше комиссарит. Надежный парень, – сказал Михаил.

На том и порешили.

– На повестке стоит еще один важный вопрос, – сказал Игорь. – Ваню Иванова немцы назначили к отправке в Германию. По этому поводу доложит Татьяна Веткасова.

Заговорила красавица Таня, умница и общая любимица:

– На бирже труда готовятся бумаги. Среди прочих намечены к отправке Иван Иванов и Линда Соотс. А всего двенадцать человек. Отправка будет в десятых числа мая.

– Списки у тебя? – спросил Алексей Никифоров.

– Списки я передала Любе Смуровой.

– Комиссар, предупреди ребят. Пока есть время, надо что-то придумать. А тебе, Ваня, и тебе, Линда, надо уходить к партизанам. Третьего мая уйдете в Манкошев Луг к Федору Григорьеву. Федя даст вам оружие. Запаситесь едой на дорогу. Ночью Люба Смурова отведет вас к своим. Возражений нет?

Возражений не было.

– Приказано усилить наблюдение за железной дорогой, – снова заговорил Игорь Григорьев. – Ни один эшелон не должен пройти неучтенным. Надо внимательнее следить за бургомистром Менингом, старостой Антоновым, холуем Хомутильниковым, волостным Большезахонской волости Ивановым. Особенно интересует центр начальник районной полиции Якоб Гринберг. Искать подходы

и связь с районной полицией. Никаких необдуманных актов возмездия. Разведка и еще раз разведка. Старшие групп несут ответственность за дисциплину в группах.

В этот момент к Игорю подошла Лариса Богданова, дежурившая в лесу у стадиона.

– Тебя, Игорь, там требует переводчица из бухгалтерии местной комендатуры, Надежда Егорова.

– Где она? – спросил Игорь. – Пошли к ней.

– Она в лесу, недалеко. Сюда не повела. Мало ли что...

У пушистой елочки, возле тропинки, стояла красивая девушка. Игорь узнал Надежду Егорову, жительницу деревни Окрино Плюсского района, переводчицу в счетном отделе плюсской местной комендатуры 858. Подошел.

– Что случилось?

– Вам надо уходить! Слышала я разговор лейтенанта Абта с фельдфебелем Кашиным: они что-то заподозрили. Через полчаса будут здесь с полицией и немцами. Уходите! Но за стадионом наблюдают немцы. Уходить надо вниз по реке к Тушитову... Я побегу, а то спохватятся.

– Спасибо тебе, Надежда!

– Рада помочь, чем могу. А благодарить не стоит: разве я не русская? – И переводчица Надя скрылась в лесу.

...Прости, Надежда, отчество твое запаматовали. Но если сейчас ты здравствуешь и прочтешь этот очерк, знай, что первого мая 1943 года ты очень помогла плюским подпольщикам и разведчикам.

Ездовой Иван Васильев

Помощница Игоря Григорьева Любовь Смурова была на связи в подпольном центре. Возвратясь, она передала распоряжение начальника разведки майора Хвоина: изыс-

катель возможность поселить Ивана Васильевича в Плюссе на неделю. Вскоре такая возможность появилась.

Управление бургомистра и староста поселка Плюсса с 22 мая 1943 года решили приступить к ремонту дороги Плюсса-Ляды. Для этого было приказано снарядить и доставить в Плюссе 25 подвод. Подпольщики решили этим воспользоваться.

Игорь Григорьев с Любовью Смуровой отправились к Егорову. Был ранний вечер. Зеленели деревья, цвели первоцветы, медуница и подснежники. А птицы! Как пели птицы! Идти было далеко, все под то же Машутино – двадцать с гаком верст. Встреча была назначена на полночь, и разведчики не торопились...

На место встречи пришли вовремя. Игорь доложил о работе подполья и разведгруппы, рассказал о предстоящем ремонте дороги. Майор Хвоин обрадовался:

– Очень хорошо! Мне надо быть в Плюссе, Тимофей Иванович, – сказал он командиру отряда Егорову. – Надо самому все видеть.

– Что ты можешь сделать для этого? – спросил командир Игоря.

– Кое-что можем, товарищ командир! Пусть Любовь доложит.

– Хорошо бы в Плюссе послать Василия Кузьмича Красотина. Он там каждый закоулок знает, – сказала Люба. – Но и его в Плюссе всяк знает... А суть дела в следующем: Плюсской бирже труда приказано девятнадцатого мая собрать в Плюссе двадцать пять подвод со строительным инвентарем. Кроме того, для работы на шоссе мобилизовать из Плюсы и деревень района тридцать человек. Лагерю военнопленных приказано выделить пятьдесят человек. Охрана поручена группе немцев из ГФП и полициям

фельдфебеля Кашина. Жить обозники будут в начальной школе. Работа должна быть закончена в течение недели. Мы советовались с Игорем. Пусть продолжит...

Игорь заговорил:

– От биржи труда и от комендатуры мы пошлем на дорогу своих людей. Кое-кого и в обоз из своих направим. Военнопленными будет руководить подпольщик Игорь Трубятчинский. Я буду на дороге ежедневно. Вам, Иван Васильевич, останется только найти удобный случай получить подводу и приехать в Плюссу. Документы на вас мы заготовили. Вас в обоз pošлет староста деревни Овинец Яков Тиханович, дядя Яша. Он, кстати, и сам приедет в Плюссу и будет начеку. Жить будете в школе. Познакомьтесь с народом. Во время работы к вам будут подходить командиры групп. Они вас проинформируют о положении дел. А вы дадите им указания. – Игорь вынул пачку документов. – Вот документы: теперь вы – Иван Васильев, крестьянин с хутора Большезахонской волости. И вот четыре паспорта. Да и мы не будем дремать.

– Молодцы разведчики! Спасибо за службу! – поблагодарил начальник разведки. – До встречи в Плюссе!

Вечером **19 мая, часов в шесть, Игорь встречал и размещал** ездовых в здании Плюсской начальной школы. Обозники в основном были люди, незнакомые Григорьеву, кроме стародавнего помощника подпольщиков крестьянина деревни Быково Ивана Феофановича да «хуторянина» Большезахонской волости Ивана Васильева... Наутро все – и **подводчики, и рабочие, и военнопленные, и охранники** – отправились на шоссеиную дорогу за деревню Манкошев Луг. Дорогу и охрану ее решено было не трогать во время ремонта, не нападать. В обед ездовой Иван Васильев познакомился с переводчиком лагеря военно-

пленных Игорем Трубятчинским. Старший лейтенант получил устную инструкцию от начальника разведки подпольного центра, передал майору сведения о лагере военнопленных, об их настроении, назвал солдат, готовых к побегу.

– Мы их примем, когда придет время. Вам сообщат, – сказал майор Хвоин.

– Хоть бы скорее! – **вырвалось у Трубятчинского.** – Мучительно сидеть за колючей проволокой, товарищ ездовой. К тому же без дела.

– Не так уж и без дела сидите, старший лейтенант. Нам известно, что в лагере у вас работа идет. А колючая проволока – это скверно. Но надо ждать... Обед закончился. Пора идти. Счастливо!

Потом к «ездовому» Ивану Васильеву подходили Михаил Логинов, Алексей Никифоров, Лариса Богданова, Борис Чухов, Людмила Маркова, Раиса Воронцова. Они докладывали о делах своих групп. Каждый получал задание. На другой день, когда Игорь Григорьев вел подводчиков запрягать лошадей, к нему подошел высокий, седоватый обзник, бросил зло:

– Ведешь? Веди-веди! Придут наши – будешь болтаться на суку! – Это был Иван Хлебосолов из деревни Записенья.

– Не горячись, дядя, – ответил Игорь. – Сегодня я тебя веду, завтра ты меня поведешь, вот и будем квиты. – Он подошел к Михаилу Логинову, сказал, показывая на обзника Хлебосолова: – **Нап человек. Зол на немца. Из Записенья.** Займись им. Хороший подпольщик выйдет. Записенья – твой район действия.

За неделю в Плюссе многое узнал начальник разведки подпольного центра Иван Хвоин. Плюсской разведгруппой он остался доволен.

Отец и сын

Первый день работы в комендатуре прошел. Едва Игорь Григорьев переступил порог своего дома, вошел отец Николай Григорьевич. Подошел к Игорю, приложил руку к трезуху, козырнул:

- Герр толмач (господин переводчик) после трудов праведных изволят отдыхать?

- Яволь, ваше благородие, ротный генерала Брусилова! - ответил сын в тон отцу.

- Ты что, рехнулся? - вскипел отец. - Вот возьму дрын да и отхожу как следует!

Игорь подмигнул отцу:

- С начальством, старина, надо обращаться почтительно. Давай лучше закурим! Да брось ты свой самосад-горлодер! На-ка немецкую сигарету «Юно». Выдали утром. Паек. Положено. Целых шесть сигарет в сутки. Тотто подымим! Не унывай, батя. И пойми меня правильно. Ты ведь меня знаешь.

Мачеха плакала:

- Как теперь людям в глаза глядеть буду?

- Так и будешь, Марья Прокофьевна: глазами. И не жмурься. Мало ли кто где работает, - ответил Игорь.

Долго в эту ночь сидели сыновья Николая Григорьева - Лев и Игорь, слушали отца о Брусиловском прорыве в Первую мировую. Отец в прорыве участвовал в качестве командира роты. Ротного убило. И тогда унтер-офицер Николай Григорьев повел роту, довел до немецких траншей. Окопы заняли, немцев разбили. В том бою отца тяжело ранило. Георгиевский крест украсил его простреленную грудь. А после госпиталя ротным назначили...

Отец понял нелегкую участь сыновей своих. И, чем мог, помогал им.

Жить Игорю было куда как плохо. И чужие, и свои, и еще невесть какие глядели на него теперь либо пренебрежительно, либо недоверчиво, либо подобострастно. Игорь на очередной встрече в лесу жаловался начальнику разведки:

– Иван Васильевич, мне бы в отряд! Я ведь не ахти какой артист. Мне легче с автоматом. Другой раз, того и гляди, брошусь на немца или полиция...

– Ишь, Лазаря затынул! – укорял майор Хвоин. – Надо – значит, надо! Не валяй дурака. Иди и делай свое дело. Не думай, что ты один такой у нас. И вот что: вплотную займись поиском немецких разведчиков. Это сейчас очень важно. Агенты «Цепелина», абвера, полицаи, службы безопасности, РОА... Их мы обязаны знать.

После свидания с начальником разведки Игорь пришел к верному товарищу своему – Алексею Никифорову. Передал тому суть задания разведцентра. Указал на лиц, за которыми надо было установить неусыпное наблюдение. Заметим, забегаая вперед, что из восьми немецких разведчиков шестерых судил наш суд. Седьмого – волостного Большезахонской волости – уничтожил Григорьев.

Когда деловой разговор был закончен, к Игорю подошла мать Алексея, тетя Шура.

– Садись, поешь, бедолага. Глядеть на тебя тошно. Вон куда занесло тебя ветром войны. Не боишься?

– Побаиваюсь, Александра Семеновна, – признался Игорь. – Да ведь кому-то надо: лучше свой, чем чужой будет сидеть в немецкой конторе чертовой.

– И то правда. Да ты ешь, ешь! Ох, дети наши! Что-то с нами со всеми будет?

– Брось ты, мама, – сказал младший сын Николай, тоже подпольщик испытанный. – **Что будет, то и будет. А волков бояться – в лес не ходить.**

...Позволим себе нарушить привычный ход повествования и приведем выступление на совещании селькоров плюсской газеты «Светлый путь» (ныне «Плюсский край») осенью 1986 года **работницы типографии Валентины Андреевны Даниленко:**

«Игорь Григорьев, который сидит среди нас, весной 1943 года был переводчиком в Плюсской местной комендатуре 858, что находилась на Крестьянской улице в Доме крестьянина. С немцами держался независимо, а с полицаями – просто грубо. Не забуду такой случай. Меня и мою подругу Тоню Векшину (ныне Антонина Ивановна Шелепина, живет в городе Виннице) схватил шеф полицаев фельдфебель Кашин. Он приволок нас в комендатуру для того, чтобы получить разрешение на отправку в Германию. Было нам по пятнадцати годков. Мы плакали и, конечно, брыкались. Но все было бесполезно. Что могли поделать две девчонки с разъяренным полицаем, у которого к тому же был пистолет в руке. Нас ввели в зал комендатуры. Навстречу вышел переводчик Игорь Григорьев, который позвал помощника коменданта гауптмана Десойе.

– Почему девочки плачут? – **спросил гауптман переводчика.**

– Их хотят отправить в Германию, герр гауптман.

– Мы их подозреваем в действиях против нового порядка, – зло вмешался полицай Кашин. – Их следовало бы уничтожить, да зелены. Пусть послужат великой Германии – заслужат помилование.

– Вам никто не давал слова, – **сказал Игорь фельдфебелю.** – Попридержите язык! Будет нужно, зададим вопрос.

Игорь расспросил нас, и мы рассказали, что полицейай стал приставать к нам. А мы с подругой дали ему от ворот поворот. Ми еще пару слов добавили: «Шкура, ведь ты же русским был. Как же ты смеешь бесчинствовать?..» Вот он и разъярился. И поволок нас в комендатуру, чтобы отправить в неметчину.

– Герр гауптман, эти девочки не согласились быть любовницами фельдфебеля Кашина. За это он и решил их отправить в Германию. А им нет и пятнадцати лет. Совсем дети. От них Германии не будет пользы. А вот о немецкой армии будут плохо думать.

– Ваше мнение, Эгон? – спросил помощник коменданта (немцы называли Игоря Эгоном).

– Мнение мое, господин капитан, как и ваше: девочек надо отвести домой к их муттер. А фельдфебеля Кашина наказать за самоуправство и подрыв немецкого порядка.

Кашин заспорил с переводчиком.

– Что говорит полицейский? – спросил немец.

– Он бранится, господин капитан, – ответил Игорь

И заместитель коменданта взревел на полицая. Выгнал его вон. А нам Игорь выдал пропуска и проводил до дому. Сказал нам:

– Вы понимаете, девочки, положение. Завтра меня может здесь не быть. А за вами опять придут. И вам тогда недобровать. Уходите из Плюоссы.

Мы в тот же вечер ушли в партизаны. И всегда будем помнить переводчика Игоря Григорьева».

Упреждение

Разведчики докладывали Игорю: собирается большая карательная экспедиция против партизан. Любовь Сму-

рова в те дни захворала. Лежала с высокой температурой. Ее посылать было нельзя. А дело было неотложным. Игорь послал своего брата Льва. Напутствовал:

– Пойдешь в деревню Радовье, найдешь там «Скороую» – Аню Егорову. Скажешь пароль: «Зажги вьюгу!», отзыв получишь: «Горит вьюга!». Не будет Анны, обратись к ее матери, Ирине Трифоновне. Проси немедленно связь с майором Хвойным. Расскажешь о готовящейся карательной экспедиции. Экспедиция будет длиться целых две недели. Пусть партизаны уходят со своей нынешней базы на новое место – на Тушитовские хутора. Там место подходящее. Карателям и в голову не придет искать партизан под боком у Плюсы. Ты сам и поведешь партизан на хутора.

– Под боком у Плюсы, каких-то шесть-семь километров от немецкого плюского гарнизона! Не рискованно?

– Рискованно, но другого выбора у нас нет. Действуй!

Вечером Лев Григорьев был в Радовье у Анны Егоровой. А в полночь партизаны Стругокрасненского подпольного центра ушли на новую базу – на **бывшие Тушитовские хутора**, где благополучно переждали карательную экспедицию.

Перепись

Стояло солнечное майское утро 1943 года. На душе у Игоря было по-весеннему светло. Он шел в бывший совхоз «Плюсса», радуясь, что подпольный центр вне опасности. Но было и грустно: Игорь шел переписывать беженцев, пригнанных немцами из-под Демянска, где наши начали наступление. Немцы загнали беделог в скотные дворы. Их было человек пятьсот. И надо было всех переписать и

всем выдать документы, именуемые по-немецки «пассиершайн» – нечто вроде удостоверения личности. Немцы готовили беженцев к дальнейшей отправке – кого в Прибалтику, кого в Германию.

В скотных дворах уже сновал полицай Ленька Смирнов. Отличался от своей братии он тем, что те полицаи были чужаками, а этот – из местных. Было ему лет девятнадцать. Высок, белобрыс, веснушчат. Злобой большой не отличался и перед немцами особенно не выслуживался. Как говорится, ни Богу свечка, ни черту кочерга.

– Чего тебя занесло в полицаи? – спросил Игорь. – Родители от Советов пострадали или сам получил незаслуженное наказание?

– Никто не пострадал. Ни сам, ни родители.

– Так зачем пошел в полицаи? Ведь там и убить могут.

– Из-за формы я в полицаи подался. Что ни говори, красивая форма. Гляди, как хороша! Как ладно она сидит на мне! И ремень настоящий, кожаный. И пистолет на ремне в кожаной кобуре. Сам-то чего форму не надеваешь?

– Ну, ладно, иди, делай свое дело!

– Я мигом, господин переводчик! – вытянулся перед Игорем Ленька.

А Игорь стоял перед входом в коровник и горько думал: «Не знаешь, что с таким и делать: то ли застрелить на месте, то ли просто выпороть. А ведь попадетя нашим, снимут дурацкую башку с плеч».

В клетушке, бывшей когда-то красным уголком для скотниц, уже собрались переписчики беженцев: австриец, переводчик местной комендатуры, Татьяна Веткасова и Галина Бывшева из биржи труда. Находились тут и полицаи, и немцы. Перепись была в разгаре, когда к Игорю подошла Татьяна Веткасова, сказала тихо:

– Там у меня случай трудный. Женщина одна. Ей как-то надо помочь. А я ничего не могу сделать. Займись сам. Я пришлю.

К столу, за которым сидел Игорь, подошла чернявая женщина лет пятидесяти, сказала пугливо:

– Меня к вам прислала рыжая регистраторша.

– Ваши имя и фамилия?

– Мина Соснер.

– Еврейка, что ли?

– Да, но я никому не сделала в жизни никакого зла. Вся деревня знает. Меня там скрывали полтора года. Я никому не делала зла...

Игорь взял бланк удостоверения, написал: «Нина Соснена, православная, крестьянка». Оформив бумагу, добавил:

– Извините, вынужден был окрестить вас. Теперь вы – Нина Соснена. Теперь вы – православная. Держите свидетельство о «крещении» – «пассиершайн». Вечером ждите меня у крайнего к дороге коровника. Здесь вам нельзя. Пойдете со мной.

Вечером, вернувшись домой, Игорь нарочито весело проговорил:

– Встречай гостей, Марья Прокофьевна! Эту женщину надо временно приютить. Она – твоя тетя.

Мачеха все поняла. Запричитала:

– За такую тетю всех нас живьем сожгут. Ты подумал хоть о нас?

Отец поднялся с дощатой кровати, на которой отдыхал после неблизкого хождения по шпалам железной дороги, подошел к жене, сказал укоризненно и строго:

– Перестань, Мария! Нашла время о себе думать!..

Через две недели, когда облава прошла и подпольный

центр вернулся в Зачеренский лес, Игорь привел Мину Исаевну к командиру отряда.

– Определим, – сказал Тимофей Иванович. – Молодец, что о людях печешься.

...Пришел июнь 1943 года. В начале месяца Игоря Григорьева пригласил в свой кабинет лейтенант Абт. У него сидел комендант, майор Флото. Лейтенант заговорил без обиняков:

– Переводчик немецкой комендатуры должен носить немецкую форму.

Игорь растерянно молчал.

– Молчание – знак согласия? – спросил Абт.

Возражать, не подумав как следует и не обсудив этого дела с начальником разведки подпольного центра, было негоже.

– Разрешите подумать...

– А что думать?

– Пусть думает, – разрешил комендант. – И все взвесит.

– Хорошо. Трое суток на размышление. Не больше!

Ночью Игорь пришел в центр.

– Почему внеочередной визит? – с беспокойством спросил майор Хвоин.

Когда Игорь изложил суть дела, пошли к командиру и комиссару.

– Что решил делать? – спросил Игоря Тимофей Иванович.

– Ни за что их форму не натяну! Хоть убейте.

– Остынь, не горячись, – сказал Хвоин.

– Иван Васильевич, что хотите делайте, форму не надену!

– Пожалуй, с него хватит, – сказал Тимофей Иванович. – Разрешаю отказ.

– Согласен и я, – ответил начальник разведки.

Через три дня состоялась новая беседа Игоря Григорьева с лейтенантом Абтом.

– Не желаете? – нахмурился тот. – Ваше дело. С завтрашнего дня будете возить почту. Пока. А там, когда наберем партию, отправитесь в Германию. – И, издеваясь, добавил: – Желаю удачи!

– Данке, экселенс! – ответил Игорь спокойно.

Было это 11 июня 1943 года. Назавтра он, под злорадные смешки земляков, уже вторично в том году вез почту на вокзал, впрягшись в почтовую тележку.

Промех

Подпольный центр дал плюским разведчикам новое задание: доставить живьем шефа районной полиции Якоба Гринберга. Ис ним взять документы полицейской управы – списки лиц, состоящих на службе у полиции. План захвата был прост. В воскресенье, 25 июля 1943 года, Евгений Севастьянов берет машину и прибывает в назначенное место. Там его ждет переодетый в форму обер-лейтенанта Игорь Трубятчинский. Они едут в полицейскую управу. Там дежурит полицай Ленька Смирнов, который согласился помогать подпольщикам. Полицай вызовет начальника полиции в управу. Ребята берут Гринберга, грузят в машину документы и, захватив Татьяну Веткасову, невесту Игоря Трубятчинского, уезжают в лес. В лесу их ожидает Георгий Савельев, который и доставит всех к майору Хвоину. Полицейская управа должна сгореть. Игорь Григорьев для алиби в этот день с братом Львом идет на рыбалку.

Вечером, когда братья Григорьевы вернулись с рыбал-

ки, их ждала страшная весть: Евгения Севастьянова немцы повесили. Вот как это было. Около часа дня 25 июля Севастьянов взял в гараже машину. Но в воротах его ждала засада: немцы и полицаи. Не оставалось ничего Жене, кроме как стрелять. И он стал стрелять, уложив часового. Потом вышиб запертые ворота, помчался по улице, но немцы прострелили автомобильную камеру. Машина заехала в канаву и встала. Немцы побежали к машине. Евгений застрелил еще одного немца. Но патроны кончились. И он побежал по улице. Немцы напустили на беглеца пять овчарок... Женю увели в ГФП. А вечером, со скрученными колючей проволокой руками, его повесили на дереве у гаража. Предал его полицай Ленька.

Вечером на другой день Игорь Трубытчинский, Татьяна Веткасова и Игорь Григорьев пришли на могилу своего друга. На могиле, едва живая, сидела мать Евгения Петровича Севастьянова Франческа Павловна...

Дня через три после казни в дом к Игорю Григорьеву пришел разведчик и друг Михаил Логинов.

– Принес кое-что. Передашь в центр. Наблюдение за шоссежкой. Движение с каждым днем усиливается. Немцы зашевелились...

– Драпать из-под Ленинграда собираются. Что еще нового?

– Вчера наблюдал за дорогой между совхозом «Плюса» и деревней Петрилово. Лежу в лесочке, на кромке поля. Место что надо! Видно со всех сторон далеко и в случае чего скрыться можно, хоть в лес, хоть через реку, чтоб овчарок со следа сбить. Вот вижу, от совхоза идут пехом немцев с тридцать. На лошадке – офицер. Ну и помчал с ветерком к лесу, то есть ко мне. А у меня – на всякий случай – винторез снайперский. Одним словом, срезал я офи-

цера и сиганул за реку. Офицер тот майором оказался... А тебе картошки рюкзакишко приволок. Я сюда на телеге с картошкой приехал – менять на соль и керосин... Пойду. А то схватятся. Привет ребятам!

– Спасибо, дорогой!

– Ешьте на здоровье! Не зря же у меня кличка Повар, надобно оправдывать. Ешьте. Потом еще принесу.

– Немцев бей подальше от жилья. Беды бы не накликасть.

– Ничего, майора своего немцы списали на партизан Третьей бригады.

Побег

В первых числах августа подпольный центр приказал дать сведения о немецкой агентуре. К этому времени плюские подпольщики выявили восемь немецких агентов разных мастей – от «цеппелиновцев» до сотрудников СД (служба безопасности). Как они были выявлены – рассказ долгий.

На бирже труда работала помощница Игоря Григорьева по разведке Любовь Смурова. И была на бирже картотека. Все взрослые Плюского района были занесены в списки этой картотеки. Игорь попросил у Любы карточки на восьмерых подозреваемых. Люба принесла их, выудив из картотеки, Игорь переписал данные. Возвращая Любе карточки, он сказал:

– Немедленно верни в картотеку. А то еще схватятся и догадаются, что кто-то охотится за немецкими агентами.

– Все поняла, – ответила Люба. – Но смогу вернуть на место только завтра. Сегодня вечером я ухожу на связь с начальником разведки.

Любовь Смурова ушла вечером 10 августа 1943 года,

унесла списки немецкой агентуры, разведывательные данные. Увела в отряд Егорова восьмерых наших военнопленных. Игорь Трубытчинский уйти не мог. Он готовил еще одну партию пленных к побегу в партизаны.

Назавтра, 11 августа, в семь часов утра, Любовь Смурова не пришла к Игорю Григорьеву с докладом о выполнении задания. Не пришла она и к восьми часам. И Игорь пошел к дому Любы.

– Уходи! – предупредила Галина Бывшева. – Любу арестовали. Она пришла на работу прямо из леса. Ее ждали немцы из ГФП. Дома в столе у Любы нашли восемь карточек из биржи труда. Люба, проходя мимо меня, губами сказала одно только слово: «Игорь». Я поняла. И вот жду тебя, чтобы предупредить, уходи!

Легко сказать: «Уходи!». Но Игорь не мог этого сделать, не узнав, что же случилось на самом деле с Любой. Он вернулся домой. Двери были на замке. Забрался на чердак, вынул из-под крыши два пистолета – себе и брату. Потом ушел на Болотную улицу к подпольщику Алексею Степанову.

– Плохи дела, Алеша! Арестовали Любу Смурову. Мне болтаться в поселке нельзя: могут схватить немцы. Походи по Плюссе, узнай, что делается...

– Все сделаю, – ответил Алексей Степанов. И ушел на разведку.

В полдень Леша вернулся.

– Худо дело, Игорь! Слышал от наших людей: Люба арестована полевой тайной полицией. В лагере военнопленных взят переводчик лагеря Игорь Трубытчинский. С полчаса назад в ГФП привели Любину двоюродную сестру Анну Егорову и ее мать, тетку Ирину из деревни Радовье. Арестовывать их ездил фельдфебель Кашин с нем-

цами из тайной полиции. Другие подпольщики остались на воле.

Забегая вперед, скажем: это был единственный провал в группе плюсского подполья.

Ночь с 11 на 12 августа Игорь провел в доме Алексея Степанова на Болотной улице. Не спалось. Какой тут сон? И Игорь почти всю ночь писал стихи. Алексей, поднятый с постели взрывами на железной дороге, спросил:

– Никак стихи сочиняешь?

– Стихи, Алеша, такое вот дело.

– Нашел время!

– Когда же и сочинять стихи, как не в такой момент. Лирика – искра Божия. А раздувает ее гроза. На душе у меня сегодня, сам понимаешь, грозно... Не мешай: скоро рассветать начнет.

Днем 12 августа 1943 года стихотворение было передано школьной подруге Игоря и его сердечной симпатии Раисе Воронцовой. Подлинник и ныне хранится у Раисы Ивановны. И где только ни побывало это стихотворение за полувековую жизнь, особенно в годы войны: в Германии, Австрии... Но стихотворение Рая сохранила.

Еще утром 12 августа Игорь Григорьев пришел на биржу труда. Надо было самолично удостовериться в происшедшем, выяснить судьбу арестованных. Иначе он поступить не мог: долг обязывал. Игорь вошел в кабинет хозяйки биржи.

– О, фрау Эдигер! Что я слышал: Любовь Смурову, вашу прилежную работницу, арестовали сотрудники ГФП? Так ли это? И если так, то не объясните ли – за что? Какое недоразумение случилось? Я ничего не понимаю...

Немка ответила:

– Это так: Любовь Смурова арестована ГФП. В столе у

нее найдены какие-то порочащие ее документы. Мне ничего не объяснили. Но я полагаю, что скоро все прояснится.

- Иначе и быть не может, фрау Эдигер, - ответил Игорь, - **ведь немецкая тайная полиция такая справедливая.** В ГФП не осудят невинную душу. Не так ли, милая фрау Эдигер?

- Конечно, конечно... У меня к вам, Эгон, есть дело. Лейтенант Абт приказал отправить вас на торфоразработки в Рогавку. Но у нас нет переводчика в имении Андромер. Думаем послать туда вас. Куда предпочтете отправиться?

- Мне все равно, фрау Эдигер. Как вы решите. Целиком полагаюсь на вас.

- Хорошо. Я поговорю с лейтенантом. Отправитесь в Андромер.

Было около полудня. Игорь Григорьев вышел из биржи и пошел по улице к немецким пакгаузам, где работал грузчиком его брат Лев. Надо было уходить из Плюссы. Но без приказа уйти нельзя.

К Игорю подошел немецкий фельдфебель. Осмотрелся. Сказал тихо:

- Зажги вьюгу!

- Горит вьюга! - отозвался Игорь.

- Вы должны немедленно уходить! Вас отзывает центр. Брата берите с собой. Домой не заходите: там засада. Дороги перекрыты. За вами следят. Уходите через минное поле. Перейдете поле напротив дома Ломакиных. Вот план прохода. Явка в Машутине, у Валентины. Счастливого пути!

Игорь нашел брата:

- Лева, нам надо уходить. Домой нельзя. Пойдем...

Братья завернули за угол, и Игорь передал Льву пистолет. Ровно в 14 часов по вокзальным часам 12 августа 1943 года братья Григорьевы перешли линию железной дороги и пошли по Болотной улице в сторону минного поля. Навстречу шла Раиса Воронцова.

– Рая, мы уходим совсем. Но я приду за тобой. Жди. И держи стихотворение. Много я тебе написал за школьные годы, возьми еще одно. Я его сочинил сегодня ночью. Оно – тебе.

– Я все поняла, – ответила девушка. – Доброй дороги!

Поздним вечером 12 августа Игорь и Лев Григорьевы были уже в лагере Стругокрасненского межрайонного подпольного центра Тимофея Егорова. Лагерь тогда находился в Радовском лесу. Плюсские разведчики стали партизанами-разведчиками.

Судьба арестованных в Плюссе и Радовье подпольщиков была печальной. В ночь с 15 на 16 сентября 1943 года Любовь Алексеевна Смурова, Анна Григорьевна Егорова, Ирина Трифионовна Егорова и Игорь Николаевич Трубяччинский были расстреляны полицаем Кашиным и палачами ГФП в Плюссе, на краю стадиона, у железной дороги. Они покоятся на плюсском кладбище.

Патриоты прошли все круги ада в полевом гестапо фашистов – ГФП, никого не выдав. Кроме них, из плюских подпольщиков никто не был взят.

Ранение

В середине августа 1943 года отряд стругокрасненских партизан-подпольщиков из центра в количестве 28 человек устроил засаду на шоссе Плюсса–Ляды. Место было выбрано между деревнями Большое Захонье и Терешин-

ка. Руководили засадой Егоров и Красотин. Был здесь и начальник разведки Северо-Западного фронта Василий Смирнов. Партизаны рассыпались вдоль дороги и ждали. Ждать пришлось недолго. Часов около пяти утра со стороны Плюссы показалась немецкая крытая машина.

– Приготовиться! – приказал Тимофей Иванович. – Без команды не стрелять!

Автомобиль поровнялся с партизанской засадой. В этот момент Василий Красотин выскочил из канавы, вбежал на большак и встал посреди дороги. Машина приближалась, не сбавляя скорости. И тогда комиссар крикнул:

– Огонь! – и стал стрелять по кабине из маузера. Шофер и капитан, сидевший в кабине, уронили головы. Машина въехала в придорожную канаву и остановилась. Из крытого кузова стали выпрыгивать немцы. Автоматы партизан били по кузову, по выпрыгивавшим врагам. Через несколько минут все было кончено. Семнадцать немцев лежали мертвыми. Лишь одному удалось удрать от партизан, да и тот, перебираясь через реку Плюссу, утонул.

Машина везла продукты и оружие. Об этом партизаны Егорова были заранее уведомлены подпольщиками, оставшимися в Плюссе. Неподалеку от шоссе, в лесу, находилась дюжина партизанских подвод – на них погрузили трофеи.

– А ты, Игорь, бери ребят, идите к повороту дороги, – приказал Егоров. – Вот-вот пожалуют солдаты из Плюссы. В случае чего – задержать, пока не дадим знак отхода – зеленую ракету. Возьми двенадцать человек. Действуй!

Ребята побежали к повороту. У поворота Игорь обернулся: последняя повозка съезжала с большака. Отряд Егорова уходил на свою базу, увозя богатые трофеи.

Заночевали в лесу. Надо было привести в порядок ору-

жие, дать передохнуть лошадям. Да и самим отдохнуть. Перед рассветом на стоянку вышел Георгий Савельев, который тащил на плечах раненого партизана. Оба они были в заслоне.

- Докладывай!

- Мы, наверное, все, кто остался цел из группы Григорьева, товарищ командир, - сказал Георгий Савельев. Он напился воды, отдышался и продолжал: - Прошли мы за поворот, там еще труба деревянная через шоссе проложена. Трубу заминировали, а сами продвинулись метров на триста. Залегли у дороги. Вскоре катят мотоциклы с колясками. На каждой машине - пулемет. Ну, когда они поровнялись с нами, мы их гранатами закидали и накрыли огнем из автоматов. Да и пулемет в дело пустили. Только один мотоциклист и прорвался к трубе, да и тот взлетел на воздух. Сразу же за мотоциклистами, не успели мы диски пустые патронами набить, показались четыре грузовика. Мы их встретили пулеметным огнем... Короче говоря, мы сдерживали немцев, пока были патроны. Я подобрал раненого Дмитрия Бикчурина и вот добрался до вас. А ребята, я видел, попали под огонь пулеметов. И, видно, полегли.

Назавтра группа разведки доложила, что семь убитых партизан привезены в Большое Захонье для опознания. Но среди убитых местные жители никого не опознали.

А с Игорем Григорьевым было вот что. Когда у ребят, оборонявших отход обоза, кончились патроны, он дал команду отходить. Но едва партизаны оказались на лесной поляне, все они попали под кинжальный огонь пулеметов и были убиты или ранены. До конца поляны оставалось метров сто, когда Игоря ранило. Он упал. На поляне, недалеко от него, лежали его боевые товарищи. Семь чело-

век. Пулеметы на опушке замолчали. Из леса на поляну вышла цепь немецких егерей со «шмайссерами» в руках. Игорь решил прикинуться убитым и отлежаться. Но немцы шли развернутым строем и стреляли в лежащих партизан – **будь то раненый или убитый. Было автоматчиков человек пятнадцать.** Игорь стал незаметно пробираться к спасительным кустам. Автоматчики были все-таки довольно далеко – метров за 250. Судьба хранила парня. Немцы его не заметили. Овчарок у них не было.

Поздно вечером Игорь перевязал рану рубахой. Рана была выше колена, сквозная. Седалищный нерв, как потом выяснилось, был поврежден. В пистолете оставалось всего три патрона, в ППШ – пять.

Вскоре Игорь впал в забытие. Очнулся он на рассвете от озноба. Рана загноилась и распухла. Но все равно надо было двигаться. И он пополз.

Полуживого разведчика подобрала утром крестьянка деревни Посолодино Плюсского района Ольга Артемьевна Михайлова, мать подпольщицы Антонины Михайловой. И выходила.

Так погиб Лева Григорьев...

– Как нога? – спросил Игоря Григорьева начальник разведки. – Затянуло рану?

– Приседаю еще малость при ходьбе, товарищ майор, однако уже топаю.

– Топаешь? Это и надо! Дело есть. Зови брата, переодевайтесь в немецкую форму и дуйте в Плюссу за начальником районной полиции. Он очень нужен. Обязательно живой! В 22 часа 25 сентября господин Якоб Гринберг в полицейской управе будет ждать двух немцев – ка-

питана и унтер-офицера. Они должны отправиться к месту казни за поселок Плюсса, на карательную акцию. Немцы пунктуальны. А Гринберг услужлив. Наверняка явится раньше назначенного времени. В 21 час 30 минут вы с ним выйдете за поселок. И там захватите его. Пароль у них «Фатерлянд».

...Тихой туманной ранью 26 сентября братья-разведчики подошли к деревне Носурино Плюсского района. Лев Григорьев шел впереди, проверяя дорогу, Игорь с «языком» – шагов на двести от него. Вдруг впереди раздалась стрельба.

– Засада! – закричал Лев. – Уводи «языка», а я задержу немцев!

Стрельба усиливалась. Шеф районной полиции с криком «я свой!» бросился бежать навстречу немцам. Игорь сбил его с ног и принудил ползти в лес. На дороге, где залег Лев Григорьев, рвались гранаты, стреляли «шмайсеры». В ответ короткими очередями огрызнулся автомат Льва...

В семь часов утра шеф Плюсской районной полиции Якоб Гринберг был передан начальнику разведки майору Хвоину.

Два часа спустя Игорь привел на место засады группу партизан во главе с Тимофеем Ивановичем Егоровым. Лев Григорьев лежал в траве, изрешеченный пулями и осколками. Местный житель, который вез немцев на подводе в Струги Красные, рассказал партизанам, что староста деревни Носурино вчера заметил братьев, идущих на задание. Ночью он привел на это место немцев, и те устроили засаду на пути разведчиков. И вот Лев погиб...

Боевые товарищи, партизаны Стругокрасненского межрайонного центра, похоронили его на месте гибели, на лесной поляне, возле деревни Носурино, в тот же

день. Прогремел салют. Руководитель центра приказал Игорю:

– Предателя уничтожить! Дом сжечь!

Игорь пришел к старосте. Забрался на чердак, зажег паклю, сваленную там. Вошел в дом. Было воскресенье. Перед иконами горела лампадка. Семья старосты во главе с хозяином сидела за столом. Ели мясные щи. На столе стояла бутылка самогонки. Староста был уже «под мухой».

– Так ты веришь в Бога? – спросил Игорь старосту хриплым голосом. – Становись на колени под иконы! Молись! Я пришел за тобой.

Хозяйка и дочка, повалившись в ноги, обнимали сапоги Игоря, молили о пощаде. Разведчику стало тоскливо. Он выпустил в потолок длинную – в полдиска – очередь. И бросился на улицу. Пятистенок запылал.

– Тимофей Иванович! – докладывал Григорьев, вернувшись. – Дом предателя горит. А вот старосту я прикончить не смог.

– Как так? Почему?

– Не палач я, товарищ командир...

Визит в Плюссе

Игоря позвали к Тимофею Ивановичу Егорову. Командир начал без обиняков:

– За тобой, Игорь, пришли из Шестой бригады. Им нужна твоя помощь. Речь идет о Плюссе. Согласен?

– Так точно, товарищ командир отряда! – ответил Игорь весело. Ему давно хотелось побывать в Плюссе.

– Собирайся, коли так, дней на семь. Вот Сергей Иванович, адъютант командира бригады, тебя проводит в штаб. По дороге и расскажет, что к чему.

Днем 15 октября 1943 года Игоря пригласили в штаб бригады. Провели к комбригу. Виктор Павлович Обьедков спросил Игоря:

- Слышал я, ты плюсский житель?

- Да, товарищ комбриг.

- Вот и ладно! Решено немцев в Плюссе потревожить. А там ты – свой человек. Да и местную комендатуру хорошо должен помнить. Три месяца переводчиком там был, думаю, недаром. Крепко тебе повезло, разведчик! Не попался немцам в лапы. Вот и славно! Поведешь наших ребят брать комендатуру?

- Поведу, Виктор Павлович! Обязательно!

- Отлично! Сейчас иди к бригадным разведчикам. Своих ребят повидай. Твои бывшие подчиненные. Отдохни. В десять ноль-ноль явишься в штаб. Детально ознакомим с предстоящей операцией. Сергей Иванович, отведи Григорьева в бригадную разведку.

И вот Игорь уже обнимает своих товарищей, бывших подпольщиков, ныне разведчиков Шестой ленинградской партизанской бригады – Бориса Чухова, Владимира Клёмина, Ивана Иванова, Раймонда Сультинга, Геннадия Окунева, Федора Григорьева, Владимира Сунгурова...

На другой день бригадной разведке была поставлена боевая задача. Бывшие плюские подпольщики поведут роты и отряды на опорные точки немцев в поселке Плюсса – вокзал, железную дорогу, казармы с солдатами, на железнодорожный мост.

Игорь Григорьев и Георгий Савельев идут на местную комендатуру 858 со стороны деревни Манкошев Луг. Их прикрывают Раймонд Сультинг и Федор Григорьев. Иван Иванов и Линда Соотс поведут партизан на комендатуру с тыла, со стороны Комиссаровского пруда. Главной си-

лой при налете на комендатуру является эстонский отряд Арту. На железнодорожную станцию наступают отряды Крайченко и Николаева под общим руководством начальника штаба бригады Крицкова. Ведет их Борис Чухов. Владимир Сунгуров с первым отрядом Ивана Лозина ведет подрывников на железнодорожный мост.

В 1 час 15 минут 18 октября 1943 года отряды Крайченко и Николаева пересекли Соколий мох, вошли в Плюссу и залегли в цепь напротив вокзала. Отряд Лозина, сняв по пути двух немецких патрулей, подошел к мосту. В отряде было 65 человек. Со стороны плюсского сенопункта на Болотную улицу вывел партизан Геннадий Окунев.

Иван Иванов подошел вплотную к комендатуре со стороны деревни Манкошев Луг. Впереди шли разведчики Георгий Савельев и Игорь Григорьев. Раймонд Сультинг был переводчиком у Арту, поскольку его отряд состоял из эстонцев.

На краю Плюссы, в конце Крестьянской улицы, был немецкий пропускной пункт. Надо было убрать часовых. Снимать охрану пошли Георгий Савельев и Федор Григорьев. Через несколько минут Жора доложил, что путь свободен.

В 1 час 45 минут на станции Плюсса раздалась автоматные очереди, взорвалось несколько гранат. Затаившиеся в переулке около комендатуры партизаны выбежали на дорогу. Игорь Григорьев бежал, показывая путь другим. Почти перед самой комендатурой стояла открытая легковая автомашинка. В машине находилась немецкая овчарка, огромный кобель. Пес перемахнул через борт автомобиля, бросился на Игоря. Собака, стоявшая на задних лапах, прижала ППШ так, что его нельзя было пустить в дело. Хорошо, что овчарка была не пограничной, хватающей и

прокусывающей руки, а обыкновенной эсэсовской собакой, натасканной на военнопленных и несчастных узников немецких застенков. Пес злобно скалил зубы. И хотя все это длилось несколько секунд, хорошо, очень хорошо запомнил Игорь эту овчарку. Заядлый охотник и собачник, Григорьев до сих пор ненавидит немецких овчарок... Кобура на ремне разведчика была расстегнута. Он выхватил ПП и трижды выстрелил в кобеля. В этот момент из-за забора, что окружал комендатуру, вышел немецкий оберлейтенант. Подойдя к Игорю, немец спросил с недоумением:

– Вас ист лёс? (Что случилось?)

– Все в порядке, господин старший лейтенант! – ответил по-немецки разведчик. И выстрелил прямо в лицо врагу. А в это время со стороны комендатуры хлестнула пулеметная очередь, стали бить шмайссеры, взорвалось несколько немецких гранат.

Партизаны Арту и разведчики бригадной разведки ворвались во двор комендатуры. Посреди двора в нижнем белье стоял немец и стрелял из автомата. Жора Савельев, Федя Григорьев и Игорь почти одновременно выстрелили. Промахнулись: немец продолжал стрелять. И кто знает, как бы обернулось дело, если бы в задние ворота не ворвался Иван Иванов с группой партизан. Он бросился к немцу и выпустил в него автоматную очередь. Немец упал. Игорь подбежал к нему, заглянул в лицо убитого. Это был его давний знакомый, лейтенант Абт.

Ваня Иванов, Рем Сультинг, Линда Соотс, Федя Григорьев и группа эстонских партизан ворвались в здание комендатуры. Но им навстречу ударили пулеметные и автоматные очереди. Все смешалось. Несколько партизан и с ними бывшие плюские подпольщики – **Иван Ива-**

нов и Федор Григорьев – были убиты; Раймонд Сультинг ранен: разрывная пуля попала ему в локоть левой руки. Оглушенный, недоумевающий и еще не понявший, что случилось, Рем подбежал к Игорю:

– Погляди, что с рукой?

Игорь увел Раймонда в немецкий окоп, снял с него фуфайку, осмотрел рану.

– Худо дело, дружище: рука у тебя перебита! Понимаешь разрывная пуля... Руки, считай, нет.

– Раз нет, так нет! Доставай финку, режь!

– Не могу, брат! Не могу!

– Эх ты! Дай-ка сюда твой нож! Держи мою руку крепче. – И Раймонд сам отрезал свою перебитую руку.

– Линда! Линда! – позвал Игорь.

– Здесь я! Сейчас! – девушка взялась перевязывать товарища.

– Перевяжешь, отведи его на сенопункт, там наша санчасть, – сказал Игорь.

Через полчаса после налета бой полыхал по всей Плюссе. Особенно жестокой схватка была на вокзале. Там стояли два эшелона. Один – с живой силой врага. Борис Чухов и другие партизаны атаковали паровоз. В кабину локомотива полетели гранаты. Два машиниста были убиты. Но из вагонов высыпали солдаты и залегли под вагонами. Их было больше двухсот. На вокзале бой длился больше двух часов. Много партизан погибло в том бою. Но и немцам досталось. Тяжело было партизанам, атаковавшим железнодорожный мост через Плюссу. Они добрались до моста, притащили тол, но мост взорвать не удалось. Очень уж сильным был огонь из немецких укреплений. Была сожжена казарма у моста, был устроен взрыв на мосту, но тол явно не хватило. На мосту погибло много наших ребят.

Бой в Плюссе длился почти всю ночь. Поселок горел. Горел весь день **18 октября**. И **трое суток** затем немцы за-прещали жителям выходить на улицу. В том бою погибли четверо плюсских подпольщиков – Федор Григорьев, Иван Иванов, Геннадий Окунев и Владимир Сунгуров.

Вот запись из дневника боевых дел 6-й Ленинградской партизанской бригады:

«...Бой продолжался долго. В результате его убито 150 солдат и офицеров, сожжено 15 автомобилей с грузом, взорваны 2 паровоза, 3 водоразборных ж.-д. колонки, водонапорная башня, семафоры, склад сена, уничтожены 2 пушки и 3 тяжелых миномета.

Среди взятых в плен – две переводчицы из комендатуры: Анна Анчус, 1903 года рождения, и другая, помоложе. Их прихватили бригадные разведчики. Показания этих переводчиц были очень ценны.

Пожар полыхал широко. Налет был неожиданным и дерзким. Наши потери тоже не маленькие – убито 75 да ранено 120...

Проводники – партизаны из местного населения – работали очень хорошо: достойны похвалы.

Понедельник, 18 октября 1943 г.».

Второй налет на станцию Плюсса был совершен партизанами 6-й бригады в феврале 1944 года, о чем свидетельствует следующая запись в дневнике.

В начале февраля «отряды нашей бригады налетели на станцию Плюсса... бои были сильные, с большими взрывами, пожарами, частой стрельбой. Потери у отрядов большие, но надо думать, что и противник их имеет, так как в поселок вошли неожиданно, почти без выстрела, забросали бункеры и дзоты гранатами сходу. Привезли трофеи – 20 повозок, 12 верховых лошадей, седла, боеприпасы... От-

ряды опять отошли после налета в Лышницы. У первого партизанского отряда до 40 раненых. Всех раненых со всех отрядов повезли на подводах 3 февраля в советский тыл, в госпиталь».

И в этот раз партизан на Плюссе вели бывшие плюские подпольщики – Борис Чухов, Владимир Клёмин, Людмила Маркова, Игорь Григорьев. В том бою партизанам крепко помогли оставшиеся в Плюссе члены подполья – Лариса Богданова, Николай Никифоров, другие ребята. Они наводили партизан на цель, да и сами неплохо стреляли...

После боя в деревне Манкошев Луг под Плюссой Игорь Григорьев встретился с отцом, который целых полгода скрывался от карателей в Манкошевском лесу. Провожая сына в дальнюю дорогу, отец говорил ему:

– Ты теперь один у меня остался, Игорь. Береги себя. Не лезь на рожон, горяч больно, знаю я тебя. Но и от других не отставай. Никто другой не должен умирать за тебя. Помни это, сынок. Я молюсь за тебя. Да сохранил тебя Господь Бог!

...После боя в Плюссе, на другой день, Игорь Григорьев догнал своих бригадных разведчиков.

Освобождение Плюсы

Был и третий поход на Плюссу. И снова вели наших солдат бывшие плюские подпольщики-разведчики Владимир Клёмин, Алексей Никифоров, Линда Соотс, Борис Чухов. Крепко потрудились подпольщики в Плюссе и на этот раз.

Из дневника боевых дел 6-й Ленинградской партизанской бригады:

«Воскресенье, 20 февраля 1944 г.

14 февраля остатки отрядов бригады, руководимые Крицковым и Гладуном, впереди наступающих частей Красной Армии по следам огрызавшегося противника, навязывая ему бой... через сожженные в результате боев деревни Вяжище, Нежадово, Большие и Малые Лышницы, Звягино – **прямо на подступы к станции Плюсса**. Партизанские отряды шли впереди, и 7-й отряд под командованием В. Печкурова уже вошел в поселок, но, не будучи поддержан ни минометным, ни артиллерийским огнем, был вынужден прекратить продвижение и залечь.

Потери увеличились во всех отрядах. Бои за Плюссу и ее окрестности продолжались трое суток... Партизаны нашей бригады (отряд Печкурова) водрузили Красное знамя на одном из уцелевших зданий...».

Плюсса стала свободной рано утром 18 февраля 1944 года. Во взаимодействии с партизанами ее освободили войска Ленинградского фронта.

«Черный день»

А теперь вернемся несколько назад...

...Написать пьесу о жизни подпольщиков и партизан Игорь Григорьев задумал давно, еще в Плюссе, в начале 1943 года. **Было о чем и о ком писать: разведчики, подпольщики, партизаны, верные русские люди, любящие свое Отечество; немцы, полицаи...** Он приглядывался к будущим героям своей пьесы, старался выделить в их характерах неповторимое, яркое, самобытное. Работа длилась с полгода. И вот пьеса «Черный день» готова. В начале декабря 1943 года ее прочитал начальник политотдела Шестой бригады.

– Пьеса, по-моему, у тебя, разведчик, состоялась. Вот только название «Черный день» предлагаю заменить на «Комиссар Железнов», – сказал Игорю Григорьеву начальник политотдела Цветков. – В нашем правом деле борьбы за свободу Советской Родины не должно быть черных дней. Наше дело светлое, наша вера красная, окрашенная кровью и пламенем. Назови пьесу по имени главного ее героя – комиссара Непоклонова, но с железным уклоном – «Комиссар Железнов». И вот что: хорошо бы пьесу поставить в новогодний вечер 1944 года! Что ты думаешь?

– Отличная идея, товарищ начальник политотдела! Я уже с ребятами говорил: есть желающие играть в пьесе. Это в основном бригадные разведчики.

– До Нового года остается около трех недель. Управитесь? Постараемся артистов без дела не беспокоить. Пришли в политотдел список. Готовьтесь! На генеральную репетицию приду. Там все утрясем окончательно.

Начальник политотдела не обманул артистов: пришел на последнюю главную репетицию.

– Сцену у партизанского костра проработайте четче. Отделите свет от тени – малодушного Ваню от стойких партизан, – указал Цветков.

Приводим сцену из пьесы.

Лес. Партизанский костер. Партизаны: Ваня, Молот, Сердюк, Гурий и Бикчурин.

Ваня (*решительно подходит к заместителю командира отряда Молоту*). Не могу больше. Нет мочи. Возьмите, товарищ заместитель, автомат. И пистолет возьмите. (*Отстегивает кобуру и кладет ее к ногам Молота.*)

Молот. Для чего он мне, твой автомат? Мне и своего довольно. И пистолет имеется. Что с тобой, Ваня?

Ваня. Вани больше нету. Перед вами слабак и контра.

Молот. Что ты городишь?

Ваня. Я говорю, что я гад и дерьмо, товарищ заместитель командира.

Молот. Что за спектакль? Ничего не понимаю! Ты рехнулся?

Ваня. Что я наделал!..

Молот. Садись, успокойся. И докладывай, что с тобой?

Ваня. Я совершил преступление перед Родиной. Я не убил врага. Более того: я отпустил его на волю.

Молот. Ты отпустил немца?

Ваня. Хуже. Я отпустил предателя. Я отпустил полиция!

Молот. Так-так...

Сердюк. Несчастный, шо ты зробыл?

Молот. Рассказывай! Да без утайки, все начистоту. А то, сам знаешь, время сейчас не шуточное. Да и мы тут не для шутоквания собрались. Понял?

Ваня. Понял. Третьего дня, едва мы подошли к большаку Плюсса-Ляды и засели в засаду, на дороге показались немцы. Много. Человек сорок. Когда немчура поровнялась с засадой, мы ударили. Ошарашенные неожиданным огнем немцы побежали. Выскочив из кустов... Подождите. Дайте закурить.

Сердюк. Кури. *(Протягивает кисет; Ваня закуривает.)*

Ваня *(жадно затягиваясь сигаркой)*. Выскочив из кустов, мы кинулись преследовать фрицев. Но тут справа ударил ихний пулемет. Несколько наших ребят упало. Мы залегли. Вражий «шкод» умолк, но стоило нам подняться, он снова ударил.

Входят Гурий Васин и Дмитрий Бикчурин,
останавливаются у костра, слушают партизан.

Ваня. Я пополз к пулемету, метнул в него гранату. Пулемет был готов, а пулеметчик, хромя, побежал в лес, к немцам. Я срезал его, но он опять вскочил и захромал к лесу. Живого возьму! Я настиг его. Он спрятался в гнилом пне. Я схватил его за ногу и выволок на чистое место. Пленный поднял руки, встал на колени и сказал: не убивай! Только не убивай!.. Глянув в лицо врага, я узнал его. Это был Михаил, мой старший брат... Он вырастил меня. И вывел в люди. Батю моего и маманю в тридцать седьмом в расход пустили. Так мы с ним и жили... У меня не хватило силы убить его или привести к нам, и я пошел прочь, оставив его живым... Теперь расстреляйте меня!

Молот. Ты давно в партизанском отряде?

Ваня. С двадцать пятого августа 1941 года.

Молот. Два года, значит. Так-так. Сколько тебе лет?

Ваня. Позавчера стукнуло восемнадцать.

Молот. Полностью совершеннолетний, значит?

Ваня. Значит, так.

Молот. В партизаны как попал? Сам?

Ваня. Сам. Без всяких-яких. Добровольно то есть.

Молот. Ранен был?

Ваня. Четыре раза.

Молот. Награды есть?

Ваня. Два ордена.

Молот (*задумываясь*). Так... Что скажете по этому поводу, товарищ начальник штаба?

Сердюк. Ах, хлопец, хлопец! Шо ты наделал, скаженна душа! Як же теперь быты?

Молот. Вы мнение свое высказывайте, а не сожаления. Тут война идет. Да еще какая! Тут жалости на всех не наберешься. Мнение свое говорите. Мы ждем.

Сердюк. Пидождаты до возвращения командира. Командир решать стане.

Молот. А разве вас и нас всех это не касается?

Сердюк. Так я сказал: пидождаты командира. Больше прибавить ничего не могу.

Молот. А вы что думаете, товарищи разведчики? Вот вы, товарищ Бикчурин? Как считаете?

Бикчурин. Считаю не считай (*опускает голову*): расстрелять!

Молот. Ваше мнение, товарищ Васин?

Гурий. Илья Иванович, разрешите мне уйти. Я ничего не могу сказать. Возможно, сам бы сотворил то же самое, привелось такое пережить...

Молот. Что-что?

Гурий. Мне нечего сказать. Я потрясен и ничего не могу сказать.

Молот. Разве это вас не касается?

Гурий. Я не судья.

Сердюк. Товарищ зам, пускай разведчик Гурий Васин идет. Потрясен он. Советчиком быть не может.

Молот (*морщась*). Хорошо, идите, Васин! (*Гурий молча уходит.*) Товарищ Бикчурин, уведите гражданина Петрова. Заприте в шалаше да приставьте караул.

Бикчурин. Слушаюсь, товарищ заместитель командира отряда! (*Уводит Ваню.*)

Молот. Вот так да! Так-так!..

Сердюк. Ах, хлопец, хлопец! Лучше б тебя маты не уродыла!

Ставили пьесу в канун нового, 1944 года в коридоре школы-восьмилетки, в деревне Клескуши Лужского района Ленинградской области. Режиссером у партизан была

радистка Елена Обьедкова. Она в театральном деле знала толк. И сил к постановке пьесы приложила немало. Самодеятельные артисты играли самозабвенно. Зрители – партизаны Шестой бригады и местное население, не искусенные в театральных премудростях, – смотрели спектакль с большим интересом. Когда окончилось первое действие, аплодисментов было много. Объявили получасовой антракт. Но только для действующих лиц пьесы. Концерт продолжался. Гости, прилетевшие из Ленинграда, пели новые песни, читали стихи Ольги Бергольц, Павла Шубина, Александра Прокофьева, Александра Гитовича. Да и своих самородков в Шестой бригаде хватало.

В перерыве актеры вышли на улицу подышать свежим воздухом. Шел двенадцатый час, последний час 1943 года. Было снежно, холодно. И очень тревожно. Кругом, куда ни глянь, пылало, отсвечивало, трепетало зарево пожаров.

Игорь Григорьев глядел в небо, слушал его дьявольскую музыку и про себя читал свои стихи:

Как ты гулко стонешь, Небо,
Желтые кресты неся!
Может, жизни еще и не было –
В пламени планета вся...

Небо не только горело, но и гудело: множество самолетов – чужих и наших – летело в темноте.

– Драпают немцы, Россию превращают в сплошное пожарище, – сказал разведчик Миша Шутов. – Ну, пусть не обижаются на русских!..

Налет на Мшинскую

В середине января 1944 года Игоря Григорьева пригласили в политотдел. Там сидел молодой красивый офицер

в новенькой форме, с орденом Отечественной войны на груди.

– Знакомся, разведчик, – сказал начальник политотдела Цветков. – Наш гость – фотокорреспондент ТАСС, старший лейтенант Васенин. Твоими стихами интересуется. Знакомьтесь, беседуйте. А я должен удалиться. Дела.

Разведчик и журналист познакомились. Разговорились.

– Добрые отзывы слышал я о твоей пьесе. Прочитал и сам. Там есть интересные места. Но пьеса – пьесой. А мне хотелось бы стихи твои послушать, Игорь. Кое-что в нашем рукописном журнале я прочитал. Да мало. Почитай, что считаешь лучшим.

Разведчик читал больше часа. Васенин слушал молча. Когда чтение было закончено, сказал:

– Останешься цел – далеко пойдешь, поэт. Попомни мое слово. А мне перепиши в блокнот стихотворение «Контратака»...

В ночь на 13 января 2-й и 4-й отряды во главе с бригадными разведчиками вышли на задание. Объект нападения – станция Мшинская. В третьем взводе третьей роты 2-го отряда шел на это задание бывший плюсковский подпольщик-разведчик Георгий Савельев. К Мшинской, до которой было километров восемьдесят, отряды подошли около 22 часов 16 января. Остановились на лесной опушке перед поселком и станцией.

Налет был намечен на полночь. Немцы каким-то образом проведали про это и устроили на пути партизан засаду. Но, увидев, что партизан очень много (человек 300), бросили оружие и дали тягу в гарнизон. Партизанам достались десяток пулеметов и другое оружие, кучи гранат, десятки ящиков с патронами.

В полночь партизаны развернулись на поле перед

Мшинской и пошли в атаку. Но были встречены огнем бронепоезда. Партизаны ворвались в поселок, по нападающим ударили орудия и минометы. Дома загорелись. Немцы были готовы к нападению партизан. Пришлось отходить. И все же бригадные разведчики Михаил Шутов, Николай Смирнов, Николай Петров и Алексей Поликарпов добрались до немецкого склада с боеприпасами, положили под него тол, запалили бикфордов шнур и благополучно отошли за пригорок. Жутко было слышать и видеть этот взрыв! Шарахнуло так, что небо содрогнулось.

На железной дороге партизанам третьей роты удалось захватить участок перед вокзалом. Особенно в том бою отличился Георгий Савельев. Он первым выбежал на полотно, уложив троих немцев. Он подрывал стрелки, корежил столбы связи, поджигал железнодорожные будки. Но очередь станкового «школа» хлестнула почти в упор. Георгию перебило обе ноги. Раненому сделали перевязку, а позднее отвезли в партизанский госпиталь и эвакуировали в Ленинград, в военный госпиталь.

Сенная команда

Из дневника боевых дел 6-й Ленинградской партизанской бригады:

«Среда, 22 декабря 1943 г.

День прошел тихо. Опять оттепель. Вечером, в 21.30, прискакал связной 3-го полевого отряда с запиской к комбригу. Позднее уточнилось, что это было донесение о бое из засады, что провел 3-й отряд с немцами, ездившими за сеном. Засаду организовал зам. командира по разведке 3-го полевого отряда Марков. Результат: убито 18 немцев, взято двое пленных, 25 лошадей, станковый пулемет,

один ручной пулемет, 15 винтовок, сани, упряжь, ящики с патронами...».

Оба пленных немца после допроса были отправлены к бригадным разведчикам.

Ночью, когда пришла его очередь охранять пленников, Игорь Григорьев заговорил с ними. Немцы рассказали разведчику все, что знали про сенопункт и его команду.

Этот сенопункт находился на берегу реки Луги, километрах в тридцати от Клескуши. Охраняли его восемь солдат во главе с унтер-офицером. Солдаты все пожилые, больные, нестроевые. Одним словом, сенная команда.

Когда сменить Игоря на часах пришел его плюсовый друг, подпольщик, бригадный разведчик Борис Чухов, Игорь сказал ему:

– Надо охранников сенопункта долбануть, а сенопункт вместе с сеном сжечь.

– Само собой, надо!

– Если начальство одобрит, пойдешь со мной?

– Конечно, пойдду, – отозвался Борис.

Утром Игорь пришел в штаб бригадной разведки. Иван Смирнов внимательно выслушал его. Сказал:

– Дельно! Одобряю! Операцию разрешаю. Сколько надо человек?

– Хватит двоих, товарищ командир бригадной разведки, – меня и разведчика Бориса Чухова. Переоденемся в немецкую форму и сегодня же отправимся. Дорогу я туда знаю. Лошади у нас в теле. К полночи доберемся. Разведем на месте, что и как. А перед рассветом стукнем немчишек. И сено, конечно, спалим.

– Хорошо! Иди, готовься!

Но случилось так, что сенную операцию пришлось отложить на целый месяц. Разведчики включились в «рель-

совую войну». Только 25 января 1944 года командир бригадной разведки сказал:

– Сегодня отправляетесь на сенной склад. Надо с ним покончить.

Вечером того же дня разведчики Борис Чухов и Игорь Григорьев отправились на задание. Надо было вовремя добраться до сенной команды, нанести удар и благополучно уйти.

В три часа ночи разведчики спешили и подошли к большому, похожему на сарай, дому. Было тихо кругом. В доме – ни огонька. Игорь и Борис огляделись, прислушались. Тишина. При свете звезд, хоть и слабо, но было видно: вокруг дома ходит часовой в тулупе. Навстречу ему двигается другой часовой. Обогнув дом, они сходятся. Бросают друг другу несколько отрывистых слов и опять расходятся. Разведчики спрятались за ствол толстенной сосны, росшей возле сторожки. Игорь сказал шепотом Борису:

– Как только часовые начнут сходить, ты стреляй правого, а я – левого. И сразу – в дом! Надо ударить вместе, чтобы не дать фрицам опомниться.

– Все ясно! – сказал Борис.

Вот часовые подошли друг к другу шагов на пять, вот поровнялись, перебросились парой слов и пошли в разные стороны.

Борис дал две коротких очереди. Игорь выпустил длинную очередь по «своему» часовому. Оба немца упали. Разведчики рванулись к дому, вскочили на широкое деревянное крыльцо. Дверь оказалась лишь припертой, но не закрытой. Нападающие осветили коридор, нашли дверь в жилое помещение и бросились туда.

– Хенде хох! – закричал Игорь.

Немцы не сопротивлялись. Сбились в кучу, как стая ворон. Молчали. Да и кому тут было сопротивляться? Перед разведчиками стояли шесть инвалидов. Один немец, очевидно, чокнутый, чему-то тихо смеялся, и вид у него был жалкий и глухой; другой – **горбатый, с выпученными глазами**, хватал воздух открытым ртом; унтер-офицер оказался стариком лет за шестьдесят, тощим и седым, в больших и толстенных очках.

– Ну и армия! – усмехнулся Борис Чухов.

– Да. Не от веселой жизни пригнали их сюда, – сказал Игорь.

Оружие было собрано, немцы обысканы. Партизаны прихватили пару «шмайссеров» да тройку «парабеллумов». А пулемет, винтовки и прочее сложили в кучу посреди сторожки.

– Борис, пригляди за немцами, а я пойду запалю сено. Зажигай сторожку!

Вскоре дом горел вовсю. Сено тоже горело. Разведчики вывели пленных на берег Луги.

– Игорь, я пойду погляжу, все ли горит. А ты пока немчишекпусти в расход.

– Ишь, какой шустрый отыскался, – возразил Игорь. – Дай-ка я пойду проверю, все ли горит. А ты тут пока их в расходпусти. Я не могу. Не по мне это – расстреливать.

– А я могу?.. Знаешь, что, – сказал Борис Игорю почти шепотом, – давай отпустим их на все четыре стороны. Все равно эти немцы никакие не вояки. Оружие их мы отобрали и в огонь бросили, казарму и сено сожгли. Некуда им деваться. К своим они ни за что не пойдут. Там им расстрел на месте обеспечен. К нам их тоже вести... сам знаешь... до пленных ли теперь нашей бригаде. Пусть идут навстречу нашим войскам. Может, в плен попадут...

– И то верно: таких калек грех бить. – Игорь заговорил с пленными по-немецки: – Мы вас отпускаем. Взять с собой не можем. Идите навстречу Красной Армии, она недалеко отсюда. Понятно? А к германским войскам вам возвращаться нельзя. Там всем вам капут. Уяснили?

– Яволь, – ответил за всех унтер-офицер. – Данке шен.

Последний бой

...Немцы получили приказ: пробиться на Гдов! Партизаны получили задание: не пропустить врага!

10 февраля 1944 года поутру гитлеровцы захватили возвышенность перед деревней Островно. Партизан и солдат было негусто, поэтому в контратаку послали бригадных разведчиков. Под озерной кручей, слева от деревни, были выстроены все бригадные разведчики – 38 человек. Перед строем появился командир бригады. Речь его была короткой:

– Знаете, зачем пришел?

– Знаем.

– Молодцы! Сам поведу!

И разведчики пошли. Командир бригады Виктор Обьедков и рядом с ним командир бригадной разведки Иван Смирнов были впереди. Невысокий, плотный, коренастый Виктор Павлович бежал крупными скачками. Иногда комбриг падал, споткнувшись, чертыхался, вскакивал, взмахивал своим ППШ в сторону разведчиков и опять бежал вперед. Партизаны не отставали. Пробивались на пригорок. Сразу же за комбригом бежали старшина бригадной разведки Григорий Серняев, Михаил Шутов, Владимир Богданов, Владимир Клемин, Борис Чухов, Людмила Маркова и Игорь Григорьев.

– За мной, ребята! – кричал комбриг, вбегая на откос и стреляя на ходу из автомата. – Огибай откос с правого фланга!

Дружно шли разведчики на немецкие укрепления. Прямо, в лоб, атаковал командир разведки Иван Смирнов. За ним бежали Алексей Поликарпов, Иван Алексеев, Николай Смирнов, Анатолий Григорьев, Николай Петров. С ними была и славная партизанская разведчица Ольга Петрова.

Первым на гребень ворвался Иван Алексеев. Он бросил в пулеметное гнездо ручную гранату. Два пулеметчика и пулемет прекратили свое существование. Ваня добрался до второго пулемета. И его уничтожил двумя гранатами. Одного убегающего пулеметчика добил из автомата. Вытащил последнюю гранату, теперь уже «лимонку», и побежал к очередному пулеметному гнезду. Но пулеметная очередь оборвала его бег. Увидев смерть своего товарища и закадычного друга, командир группы Алексей Поликарпов бросился на пулеметное гнездо, застрелил двух пулеметчиков и, повернув пулемет в сторону немцев, бил по ним до тех пор, пока были патроны.

На середине гребня немцы пятились к лесу. Их гнали, били. У бруствера окопа лежал раненный в живот Анатолий Григорьев. Над ним хлопотала Ольга Петрова.

Группа разведчиков на левом фланге ворвалась на гребень горы. С группой шла Антонина Михайлова, плюсская подпольщица. Она перевязывала раненых. Руководил левым флангом комиссар бригадной разведки Гладун. Группа его так дружно ударила по немцам, что те не успели выбраться из окопов. И теперь окопы напоминали растревоженный муравейник. Бились в рукопашную.

На правом фланге Обьедков стрелял по пулеметному

гнезду из автомата. Подползший к комбригу старшина Григорий Серняев бросил в пулеметное гнездо гранату. Один немец упал, другой побежал. За беглецом погнался Михаил Шутов. Немец, останавливаясь, стрелял в разведчика из винтовки, Миша поливал фрица очередями из автомата. Немец упал...

Плюсский подпольщик, бригадный разведчик Владимир Богданов, самый молодой из бригадных разведчиков, вел толстого немца с поднятыми руками, в русской шапке-ушанке из зайца-русака. К нему подбежал скуластый широколицый красноармеец, полоснул немца из автомата, и тут же упал сам, смертельно раненный пулеметной очередью из немецкого танка...

Тем временем немцы на правом фланге отходили. Володя Клёмин, Борис Чухов, Игорь Григорьев и Людмила Маркова вместе с группой партизан бросились преследовать беглецов. Дорога от поля круто заворачивала влево. Немцы скрылись за поворотом. И тут партизан, бегущий впереди, остановился, попятился, замахал руками и пустился назад.

– Танк, ребята! Там – немецкий танк!

И тут же из-за поворота дороги показался средний немецкий танк «Т-4». Он был метрах в пятидесяти. Пули и снаряды летели над головами разведчиков, не задевая их.

Партизаны приготовили гранаты. Игорь Григорьев поглядел на дорогу: танк был совсем близко. И тут партизан, лежащий впереди, рванулся с места, подбежал к танку, бросил ему под «брюхо» гранату. Гулко рвануло. Партизан исчез под гусеницей танка. Стальной зверь остановился. Не мешкая ни минуты, Владимир Клёмин бросил под танк свою гранату. Еще раз рвануло. Граната Бориса Чухова тоже попала в цель. Партизаны побежали к стальной

махине и стали закидывать снегом смотровые щели. Танк горел. Игорь пробежал шагов десять. Вдруг в нескольких метрах разорвался снаряд. Что-то ударило разведчика в правую лопатку, будто обухом. И он упал на колени. Спину заливало жаром.

К Игорю подбежала Людмила Маркова, его добрый друг, плюсская подпольщица. Девушка стала сдирать с него одежду.

– Тебя ранило! Ишь как пальто на спине рассадило! Терпи, дорогой, я сейчас помогу тебе! – утешала Люся товарища.

Это был последний бой руководителя плюских подпольщиков и разведчиков, бригадного разведчика 6-й Ленинградской партизанской бригады Игоря Николаевича Григорьева.

В тот же день подпольщица и разведчица из Плюссы Людмила Федоровна Маркова и сама была тяжело ранена. Но в госпиталь отправляться наотрез отказалась. Партизаны отвезли ее в деревню Игомель Плюского района, к бабушке. В этой деревне партизанка и залечивала рану свою...

Запомним их имена...

Такова вкратце история борьбы плюских подпольщиков и разведчиков в годы Великой Отечественной войны. Приведем еще раз дорогие имена непокоренных, верных защитников нашей Родины.

Владимир Петрович БОГДАНОВ. Подпольная кличка – «Сиротка». Родился 30 июня 1928 года. Живет в Царском Селе, под Петербургом.

ВАЛЕНТИНА. Подпольная кличка – «Беженка». Главная связная плюских подпольщиков со Стругоокраснен-

ским межрайонным подпольным центром. В 1943 году жила в деревне Машутино Стругокрасненского района. Иных данных о ней нет.

Петр Павлович ВЕКШИН. Подпольная кличка – «Летяга». Родился в 1928 году. Живет в Петербурге, часто бывает в поселке Плюсса

Фридрих Августович ВЕЛЯОТС. Подпольная кличка – «Фриц». Родился в 1923 году. Пропал без вести осенью 1942 года.

Борис Степанович ВОРОНКОВ. Подпольная кличка – «Кудряш». Родился в 1923 году. Умер от ран в партизанском госпитале осенью 1943 года.

Татьяна Александровна ВЕТКАСОВА. Подпольная кличка – «Ветка». Родилась 16 июля 1918 года. Живет в городе Стерлитамак в Башкирии.

Игорь Николаевич ГРИГОРЬЕВ. Подпольная кличка – «Капитан Игорь». Родился 17 августа 1923 года. Живет в Пскове.

Лев Николаевич ГРИГОРЬЕВ. Подпольная кличка – «Лека». Родился 26 февраля 1926 года. Погиб в бою у деревни Носурино Плюсского района 26 сентября 1943 года.

Федор Петрович ГРИГОРЬЕВ. Подпольная кличка – «Феликс». Родился в 1926 году. Погиб в бою в Плюссе ночью 18 октября 1943 года.

Тимофей Иванович ЕГОРОВ. Подпольная кличка – «Батя». Родился в 1907 году. Умер в Пскове в 70-х годах.

Анна Григорьевна ЕГОРОВА. Подпольная кличка – «Скорая». Родилась в 1926 году. Расстреляна немцами за подпольную деятельность в Плюссе в ночь с 15 на 16 сентября 1943 года.

Ирина Трифоновна ЕГОРОВА. Подпольная кличка – «Смирная». Родилась в 1888 году. Расстреляна за под-

польную деятельность в Плюссе в ночь с 15 на 16 сентября 1943 года.

Василий Павлович ИВАНОВ. Подпольная кличка – «Проводник». Родился 7 марта 1929 года. Скончался в городе Ярославле 19 сентября 1991 года.

Иван Павлович ИВАНОВ. Подпольная кличка – «Скобарь». Родился 11 ноября 1923 года. Погиб в бою в Плюссе ночью 18 октября 1943 года.

Владимир Степанович КЛЕМИН. Подпольная кличка – «Надежный». Родился 22 января 1926 года. Живет в Петербурге.

Василий Кузьмич КРАСОТИН. Подпольная кличка – «Тихий». Родился 22 февраля 1904 года. Трагически погиб 30 июля 1945 года.

Михаил Афанасьевич ЛОГИНОВ. Подпольная кличка – «Повар». Родился в 1914 году. Скончался в Заплюсье Плюсского района 9 января 1974 года.

Лариса Николаевна МИТЕНЕВА (в девичестве БОГДАНОВА). Подпольная кличка – «Лори». Родилась 3 августа 1926 года. Скончалась в Плюссе 15 августа 1994 года.

Евгения Николаевна МОНИНА. Подпольная кличка – «Заступница». Родилась 7 января 1895 года. Пропала без вести в 1943 году (по слухам, расстреляна немцами в ноябре 1943 года).

Алексей Николаевич НИКИФОРОВ. Подпольная кличка – «Лешка». Родился 25 января 1925 года. Убит в бою в Польше 14 января 1945 года.

Николай Николаевич НИКИФОРОВ. Подпольная кличка – «Дед». Родился 18 февраля 1928 года. Живет в городе Златоуст, на Урале.

Геннадий Васильевич ОКУНЕВ. Подпольная кличка –

«Красноперый». Родился в 1925 году. Погиб в бою в Плюссе ночью 18 октября 1943 года.

Людмила Федоровна ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ (в девичестве – МАРКОВА). Подпольная кличка – «Люся». Родилась 26 июля 1927 года. Живет в Петербурге.

Линда Александровна ПЕЧКУРОВА (в девичестве СООТС). Подпольная кличка – «Незабудка». Родилась в 1927 году. Скончалась в Пскове в 1985 году.

Георгий Павлович САВЕЛЬЕВ. Подпольная кличка – «Пекарь». Родился 12 июня 1924 года. Умер от ран в госпитале в Ленинграде 4 марта 1944 года.

Евгений Петрович СЕВАСТЬЯНОВ. Подпольная кличка – «Монтер». Родился 5 декабря 1922 года. Повешен за подпольную деятельность немцами в Плюссе 25 июля 1943 года.

Любовь Алексеевна СМУРОВА. Подпольная кличка – «Верная». Родилась в 1924 году. Расстреляна немцами в Плюссе за подпольную деятельность в ночь с 15 на 16 сентября 1943 года.

Раиса Ивановна СОРОКИНА (в девичестве ВОРОНЦОВА). Подпольная кличка – «Воронина». Родилась 9 августа 1923 года. Живет в поселке Заплюссье Плюсского района.

Алексей Степанович СТЕПАНОВ. Подпольная кличка – «Фок Алёха». Родился в 1924 году. Живет в Островском районе Псковской области.

Владимир Александрович СУНГУРОВ. Подпольная кличка – «Школьник». Родился в 1926 году. Погиб в бою в Плюссе ночью 18 октября 1943 года.

Раймонд Павлович СУЛЬТИНГ. Подпольная кличка – «Валентин». Родился в 1925 году. Скончался в Эстонии после Великой Отечественной войны.

Игорь Николаевич ТРУБЯТЧИНСКИЙ (фамилия в лагере военнопленных – ТРУБЧИНСКИЙ). Подпольная кличка – «Толмач». Родился 28 января 1913 года. Расстрелян немцами за подпольную деятельность в Плюссе в ночь с 15 на 16 сентября 1943 года.

Федор Александрович ФИЛИППОВ. Подпольная кличка – «Землемер». Родился в 1917 году. Скончался на Украине в августе 1985 года.

Антонина Алексеевна ХАРЛАМОВА (в девичестве МИХАЙЛОВА). Подпольная кличка – «Сергеева». Родилась 25 октября 1914 года. Живет в деревне Заполье Плюсского района.

Иван Васильевич ХВОИН. Подпольная кличка – «Сам». Родился 6 октября 1904 года. Скончался в Пскове 22 апреля 1981 года.

Борис Федорович ЧУХОВ. Подпольная кличка – «Живописец». Родился в 1924 году. Погиб в бою под Нарвой в 1944 году.

* * *

Из тридцати шести активных членов плюсского подполья и плюской разведгруппы, выполняя свой долг, шестнадцать сынов и дочерей сложили головы за Родину. Да будут они незабвенны! А живые – примите наш земной поклон!

Мария Кузьмина

МОЙ ОТЕЦ – ПОЭТ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ

Отец часто любил повторять: «Если я в жизни выиграю, то выиграю по большому счету». Сейчас, когда я пишу эти строки, за окном зябко осыпается последняя осенняя листва. Фотографии отца разных лет разложены на покрывале. Книги его стихов – всего двадцать две – лежат с ними рядом.

А что, собственно, можно назвать «самым большим счетом»?..

Я была внебрачным ребенком двух красивых образованных, талантливых и... совершенно не совместимых между собой людей. И говоря об отце, разумеется, не могу не сказать и о моей матери.

Рита Кузьмина хорошо училась в школе. Много читала, занималась в художественной самодеятельности. Не решившись поступать в театральный институт, пошла в Институт культуры им. Н. К. Крупской (ныне Академия культуры). Она знала наизусть множество стихотворений и часто их цитировала с повышенной экзальтированностью. Она могла сказать по-французски «я тебя люблю» с каким-то особенным прононсом, но... совершенно не разбиралась в людях. «Мне было двадцать пять, когда меня впервые поцеловал мужчина. Я от этого потеряла сознание», – сказала она однажды. «Ну, и чем ты, собственно, гордишься?» – довольно грубо спросила я. Мать не нашла, что ответить.

По окончании института ее распределили во Псков – заместителем начальника отдела культуры. «Получив направление во Псков, Рита плакала целую неделю», – рассказывала мне ее старшая сестра Тамара. Ей, домашней девочке, наивной и восторженной, впервые пришлось надолго уехать из дома, расстаться с родителями. «Я чувствую себя во Пскове – как Пушкин в ссылке в Михайловском», – писала она домой родным.

Сначала приходилось тесниться – жили на квартире, четыре девушки в одной комнате. Потом немного повезло – удалось снять комнату вдвоем с подругой Светой Рыбаковой. Я знаю этот дом во Пскове – на центральной площади, напротив пединститута. На первом этаже сейчас, как и тогда, располагается ювелирный магазин «Алмаз».

Жилось совсем не сладко – зарплата была невелика, а работать приходилось много. Девушки экономили на самом необходимом. Только раз в месяц, в день получки, наведывались на центральный рынок и устраивали себе «праздник живота» – покупали творог, сметану, фрукты. Когда мать начала работать, у нее были две самые простые и дешевые юбки, столько же синтетических банлонов и всего одно платье – черное. Чтобы как-то разнообразить гардероб, подруги обменивались бусами, воротничками. В особо торжественных случаях Рита надевала меховую горжетку. Помню, как она рассказывала о ее происхождении. «Горжетку носила баба Маня (Ритина бабушка, моя прабабушка. – М. К.) лет пятнадцать на своем старом зимнем пальто. Изнутри она была вся рваная, ее с трудом удалось починить. Накануне моего отъезда во Псков баба Маня вручила мне ее – на донашивание, перекрестила лоб и сказала: “Носи, с Богом. Пусть она принесет тебе счастье”». Но, очевидно, старая эта горжетка все еще смотре-

лась, потому что жительница Пскова, знавшая маму, рассказывала: «Рита была очень представительная. Особенно, когда надевала меховую горжетку, смотрелась весьма эффектно».

Она была в этой самой горжетке, когда произошла ее первая встреча с отцом...

Игорю Григорьеву тогда было чуть больше сорока. Высокий, красивый, эффектный, видный мужчина, перспективный поэт, участник войны, раненый, контуженый, расставшийся с женой и неприкаянный, талантливый, самобытный – он произвел на мою мать сношибательное впечатление. Она вручала ему грамоту и премию за победу на литературном конкурсе от Псковского отдела культуры. С ним тогда находились еще два его товарища – поэты Игорь Михайлов и Лев Маляков. Все они были молоды, веселы и уверены в себе. Спустя какое-то время Рита и Света пригласили всех трех поэтов к себе в гости. Закуска у них была самая незатейливая – отварная картошка, селедка с подсолнечным маслом, черный хлеб. Стол гордо венчала бутылка шампанского.

«Рита была красивая, бойкая, а я по сравнению с ней вела себя очень скованно, – рассказывала тетя Света Рыбакова. – Я всего стеснялась, а она нет. Маляков и Михайлов сразу почувствовали себя непринужденно, много шутили, подписывали и дарили книги своих стихов. А вот Григорьев – нет. Он держался отстраненно и загадочно. К тому же было видно, как его что-то гложет изнутри. Это не могло не произвести впечатления на эмоциональную Риту. Вскоре меня направили в командировку в отдаленный район Псковской области. Вернувшись оттуда, я узнала, что у Риты с Григорьевым начался серьезный роман»...

Несколько лет тому назад моих тетю и дядю отыскала

странная женщина – бывшая одноклассница моей мамы. Она, разумеется, искала не их, а маму, но мамы тогда уже давно не было на этом свете. Они никогда не были близкими подругами, но странная женщина привезла нам два письма, которые мама отправила ей из Пскова – за два с лишним года до моего рождения. Сначала она хотела мне их подарить, потом заявила, что продаст и, наконец, что не желает с ними расставаться, потому что это все, что осталось ей от ее «любимой Риты». Я прочитала их дважды, наизусть, конечно, не запомнила, но за общий смысл ручаюсь: «Я очень много работаю. Постоянно приходится ездить в командировки в самые отдаленные районы и деревни. Стесняюсь, устаю. Вокруг меня какие-то серые и скучные люди. Они старше меня в два, а то и в три раза, а обращаются ко мне по имени-отчеству, чем постоянно вгоняют в краску». И немного погодя: «Зато у меня есть любовь. Я очень люблю одного красивого и гордого человека, даже слишком гордого, слишком красивого. Знаешь, талант и красота – это то, перед чем я всегда преклоняюсь. Я слишком растворилась в нем, а когда мужчины это чувствуют, то они начинают нами пренебрегать». Я не смогла дочитать это письмо до конца и убежала плакать в ванную. Нет, я не узнала ничего нового, эту историю я и раньше слышала из самых разных уст десятки раз. Но сейчас голос матери, раздавшийся с того света, набатом прозвучал в моем мозгу.

У меня сохранилось несколько фотографий тех времен – середины шестидесятых годов. Красивый, талантливый, удивительный человек. Легко можно влюбиться, чтобы не сказать больше – нельзя не полюбить. А вот и подписи на них: «Маргарите. Самой любимой! Спасибо за возвращенную лунь и солнышко, ласточка моя! Июнь

1964 года»; «С весной тебя! Голубка моя! Солнце мое! Маргаритка моя! 15 января 1965 года».

Мои родители не создали семьи тогда, а даже если бы это и случилось, то они все равно не ужились бы вместе – слишком разными людьми они были. Но что бы мне потом ни говорили, я твердо знаю, что между ними была любовь. Настоящая. Я весьма осведомлена о перипетиях, предшествовавших моему рождению, а также о людях, которые были в них замешаны. Но ни обсуждать, ни комментировать этого я не берусь.

Когда у матери закончился срок работы по распределению, она вернулась в Ленинград и поступила в аспирантуру. 2 февраля 1966 года родилась я. Мама училась, заботы по дому и по уходу за маленьким ребенком взяла на себя бабушка – Мария Иосифовна. Мои же записи с этого места принимают характер сугубо личных воспоминаний и впечатлений, изредка перемежаясь рассказами и комментариями других людей.

Отец вовсе не хотел выглядеть ни подлецом, ни разгильдяем. Правда, самую первую мою встречу с ним, а мне было тогда три года с небольшим, нельзя назвать удачной. Я болела ветрянкой, была вся вымазана зеленкой, маленькая, воспаленная, всклокоченная, чернявая, как цыганенок. Отец посмотрел на меня, поморщился и быстро вышел из комнаты.

После того как он официально признал меня, мои родители установили между собой так называемые «дипломатические отношения».

С тех пор прошло больше тридцати лет, но и теперь, вспоминая отца, я неизменно смеюсь и плачу, как бы заново переживая все, связанное с ним, словно случившееся

вчера. Образ отца – яркий, самобытный, неподражаемый и «в своем роде» – никто не в состоянии ни заменить, ни вытеснить из моей памяти.

Бабушки не было дома. Мама ушла в магазин. Меня, четырехлетнюю, она оставила на попечение своей подруги аспирантки Зои Дементьевой. Рассказывает Зоя Алексеевна: «Я была на кухне, вдруг звонок. Громкий, решительный. Открываю – входит Григорьев. Рита рассказывала про него довольно много, но он выглядел еще необычнее, чем я предполагала. Я сказала ему: “Раздевайтесь пока”, а сама опять ушла на кухню – вскипел чайник. Двух минут не прошло, захожу в комнату – крик на весь дом. Игорь кричит, машет рукой, Манька орет и держится за красное ухо. Оказывается, он стал у нее сначала просить прощения и опустился на колени, а она подумала, что он с ней играет, и сделала то же самое. А потом Манька вдруг заявляет: “Давай денег, да побольше”. Мелюзга, четыре года – и вдруг такое. Хотя чего тут удивляться – у Риты стипендия небольшая, у Марии Иосифовны пенсия совсем маленькая, и в доме частые разговоры, что денег нет, – все при ребенке. На Григорьева это произвело неопишное впечатление. “Ты как с отцом разговариваешь, соплячка?” – закричал он и схватил Маньку за ухо, но она увернулась и укусила его, оставив на руке два ряда отметин от ровных зубов. Они оба так орали, что я не знала, как их утихомирить, собиралась даже облить водой. Слава Богу, что вернулась Рита – она разрядила обстановку».

Еще один случай, не менее забавный. Родители мои собирались вместе выходить из дома – мама спешила на заседание кафедры, а отец отправлялся на встречу с редактором, предстояла работа над новой книгой. Неожиданно для себя я решила, что проглотила скрепку, которой

была сколота его рукопись. «Ой, у меня болит живот, ой, я, кажется, умираю», – плакала я. Родители перепугались не на шутку. Они потащили меня в поликлинику, но, когда уже надо было заходить в кабинет к врачу, я, очевидно, со страху, обнаружила, что та самая скрепка, которая наделала столько шума, тихо-мирно лежит в кармане моего плаща. Родители так обрадовались, что даже забыли поругать меня за то, что я сорвала обоим важные деловые встречи и испортила им весь день.

Вообще постоянно отец жил во Пскове, но в те времена приезжал в Ленинград довольно часто – большинство его книг выходило в Лениздате. Когда он работал над очередной, нередко останавливался у нас. Все эти встречи я помню в подробностях.

Однажды отец и его друг Олекса Полишкарлов принесли мне в подарок замечательную игрушку – коня на колесах. Конь был розово-бежевого цвета, с уздечкой и очень красивый. Стоил он 27 рублей. «От тридцатки еще и на маленькую осталось», – прокомментировал Олекса. Конь мне страшно понравился, я сразу же на него залезла. А потом задумчиво спросила: «А чем мне его кормить? Он умрет от голода». Тогда отец сходил в кондитерскую и принес мне конфет – изюм в шоколаде. «Нет, – возразила я. – Лошади конфет не едят, привези мне лучше сена». Тогда отец съездил в деревню, где регулярно рыбачил, и привез целый мешок настоящего сена. Оно замусоривало всю комнату, бабушка страшно ругалась, выгребая его. А конфеты, разумеется, я съела сама.

Отец всегда был окружен самыми интересными людьми. Со многими из них я благодаря ему была лично знакома. Он приезжал к нам в гости со своими друзьями из Лениздата, поэтами, художниками. Чаше других у нас быва-

ли Лев Маляков и громкий полный человек, очень любивший выпить, в те годы главный художник Лениздата (имени его я не помню). У нас с мамой и бабушкой была большая, 34 метра, комната, перегороденная ширмой, но не до потолка – для того чтобы не считалась, как две комнаты (это было важно для жилконторы). В меньшей части жила мама, в большей – мы с бабушкой. Однажды поэты и художник выпили особенно много. Они громко кричали, смеялись и периодически ударяли кулаками по столу. Чтобы я не мешалась, меня выставили в мамину часть комнаты. Я соскучилась, обиделась и решила отомстить. На полу лежал вещевой мешок отца, я заглянула в него, там не было ничего, кроме большой банки грибов – рыжиков. Как выяснилось позднее, она предназначалась Нине Чечулиной, редактору, которая работала со стихами отца. Не долго думая, я достала эту банку, поставила ее в книжный шкаф, к дверце которого привязала небезызвестную лошадь – боевое охранение. Немногим позже отец из-за чего-то повздорил и ушел, забрав вещевой мешок, но не заглянул в него. Утром, протрезвев, он вспомнил про рыжики, которые не смог найти. Стал у всех спрашивать, но так и не сумел ничего выяснить. Только на третий день я призналась в содеянном маме и бабушке, которые все это время ни о чем другом и говорить не могли. Обе очень смеялись и после этого случая не выгоняли меня, когда отец приезжал с друзьями.

В моих глазах отец всегда был «поэтом во плоти», «ходячей поэзией». Именно таким, как мне казалось, и должен быть Поэт с большой буквы. Я и сейчас регулярно общаюсь в творческой среде. У меня там много знакомых, есть очень незаурядные и талантливые люди, которые ин-

интересно пишут и оригинально себя ведут. Но такого колоритного, как отец, среди них нет. Да и быть не может. Этому не научишься, это от Бога, это или есть, или нет.

В 1983 году в белорусском городе Новополоцке на художественной выставке я увидела интересную картину местного художника. Она называлась «Рождение поэта». На ней ангелы, воздух, рокочущие трубы. Но больше всего я помню ее энергетическое состояние, не передаваемое словами, – творческой отмеченности, избранности, харизмы. Таким и был отец. Кстати, если уж речь зашла о художниках, хочу рассказать вот что. Когда отец учился в университете, он часто подрабатывал, в том числе позировал в Академии художеств. В те годы там был студентом Илья Глазунов. Отец позировал и ему тоже. Молодые люди, видимо, общались и помимо того. Во всяком случае, Глазунов подарил отцу его портрет с этими самыми неподражаемыми глазуновскими глазами – большими, синими. Всякий раз, когда смотрю на эту работу, я неизменно думаю: а не со знакомства ли с отцом началась у Ильи Глазунова его особая манера письма, которой отец явился в прямом смысле типичным представителем. Сейчас эта картина находится у моего брата Гриши.

Огромное впечатление произвела на меня картина художника Филонова «Лики». Если кто помнит, там главный акцент поставлен на противостояние двух ликов – русского и еврейского. Русский лик – точная копия отца. Я потом смотрела по датам – нет, они не могли быть знакомы между собой, и писалась картина не с отца...

Отец был дружен с известным русским писателем Федором Абрамовым, с которым познакомился еще в университетские годы. Они сравнительно редко встречались,

но добрые доверительные отношения между ними сохранялись всегда. Моя единственная встреча с этим интереснейшим человеком состоялась (как и многие другие) благодаря отцу, когда мне было семь лет. Это произошло следующим образом.

Отец и Абрамов вместе уезжали в псковскую деревню с Витебского вокзала. Они любили рыбачить и охотиться. Мы с мамой отправились их провожать. Я зашла в купе, посидела на верхней полке, которая досталась Абрамову, а потом с ними вышла на улицу. Мы остановились возле киоска «Союзпечати», где мне приглянулась незатейливая картинка – репродукция на ткани под названием «Осенний свет». На ней были изображены красивые золотые деревья на фоне ярко-голубого неба. Стоила она 2 рубля 50 копеек. «Мама, купи, пожалуйста», – попросила я. «Нет, не могу, зарплату еще не платили. В другой раз», – сказала мама. Я расстроилась и начала капризничать. «Машенька, давай я тебе куплю, что ты хочешь», – сказал Федор Абрамов. «Нет, что вы, не надо, это неудобно», – засмущалась мама. Но ему уже заворачивали...

На репродукции Федор Абрамов сделал автограф: «Милой Машеньке от дяди Феди. 26/IV 1973 года». Она у меня до сих пор хранится дома, и я ее очень люблю.

Будучи инвалидом войны и членом Союза писателей СССР (а в прежние времена это весьма высоко котирировалось, не то, что сейчас!), отец в определенном смысле обладал властью, и возможностями. Сколько его помню, он постоянно кому-то помогал, что-то толкал, пристраивал. Одним он ссуживал довольно крупные денежные суммы, причем делал это совершенно безвозмездно, другим помогал с жильем, вещами, трудоустройством, третьих устраи-

вал на консультацию к хорошим врачам, а кое-кому даже помог выйти из тюрьмы. Многие люди до сих пор вспоминают его с благодарностью, говоря о том, что подобных ему в наше время просто нет, что он «последний из могикан». Я выслушала на эту тему большое количество самых разных сюжетов, но говорить об этом не буду – в конце концов, это не моя тайна. А вот как он помог моей бабушке, а потом неоднократно выручал меня, могу рассказать.

Осенью 1971 года тяжело заболела моя бабушка, Мария Иосифовна. Врачи обнаружили у нее запущенную межпозвоночную опухоль. Бабушка находилась в Кировской объединенной больнице. Сейчас это одна из лучших клиник города, а тогда имела самую дурную репутацию. У бабушки взяли пункцию из спинного мозга, и она не смогла ходить. Взяли еще раз – и она сидеть перестала, лежала, не вставая. Заведующая отделением, глядя на нее, цинично говорила: «Это у вас не пройдет. Это у вас так и останется. Не волнуйтесь, если дочери от вас откажутся, то я устрою вас в дом хроников. Я являюсь депутатом райсовета, так что помогу». – «Мои дочери от меня не откажутся», – отвечала бабушка, а сама уже и о самоубийстве подумывала. Но она была верующим человеком...

В один из таких тяжелейших для нашей семьи дней мать связалась с отцом, и он тут же приехал с очередной рыбалки, предварительно переговорив с очень хорошими врачами. Он – инвалид войны, четырежды раненный и дважды контуженный на ней, – много раз лечился в различных клиниках, лично знал прекрасных медиков, которые спасали его. Он стал помогать самым решительным образом. Вспоминаю бабушкин рассказ: «Лежу в палате. Вдруг открылась дверь. На пороге – Игорь. Он стоял на коленях и держал в правой руке красную гвоздику, а ле-

вую прижимал к сердцу. Он подполз ко мне на коленях и стал целовать мне руки, а потом сказал, что сделает все от него зависящее. Как ни слаба я была, но почувствовала сильное облегчение и, может быть впервые, уверовала в свое спасение. Это сделал Игорь своей сильной и доброй энергией, за что я навсегда останусь ему благодарна». Через несколько дней по ходатайству отца бабушку перевели в Поленовский институт нейрохирургии. Помню дождливое осеннее утро. Мы, то есть мама, тетя, отец и я, ожидаем очереди к профессору. Ждать пришлось часа два, а то и больше. Я скучаю и прошу: «Папа, расскажи сказку!». – «Не помню, Маня, давай я тебе лучше стихи прочту». – «Нет, не хочу я стихи, хочу сказку, да я сама и начну. Слушай. Встречаются, значит, домовой, водяной и кровяной (так я называла вампиров)...» – «Ага, – подхватил отец, – ну, они и говорят: “Пошли к лешему”, а потом домовой предложил: “Лучше к бабе Яге, у нее как раз выпить есть”». – «Приходят они, а Бабы Яги и дома нет – улетела на помеле», – подсказала я. «Улетела, улетела, – повторил отец. – Слушай, Маня, а нас уже вызывают. Подожди здесь, в коридорчике».

Я не помню всех подробностей, но твердо могу сказать, что с того дня бабушка пошла на поправку. Думаю, что, если бы не отец, она тогда вряд ли бы выкарабкалась, а так после этого она прожила еще десять лет. Сейчас я не помню фамилию профессора, спасшего бабушку, хотя тогда она звучала в нашей семье часто. Год спустя отец снова навещал этого профессора. Я была с ним и чувствовала себя совершенно счастливой. Весна, фиалки...

В силу удивительного сходства наших с отцом характеров, это не могло не приводить к постоянным перепалкам,

конфликтам и мелким ссорам, вспыхивавшим буквально на ровном месте. Ни я, ни отец не могли потом вспомнить, с чего все начиналось, да это уже и не имело никакого значения. «Ни с тобой, ни без тебя», – думали мы. «И смех и грех», – говорили окружающие. Приведу только несколько случаев наших резонансов в моем детстве. Можете смеяться, а можете качать головой, дорогие читатели, – это ваше дело.

...Мы сидим с отцом на балконе нашей новой квартиры в Веселом поселке. Желая, чтобы меня пожалели, я говорю: «Я сейчас спрыгну вниз». – «Пожалуйста. Тебя подтолкнуть? Лети, дитя мое», – радостно сказал отец и, усадив меня на перила, стал перекидывать через них мою ногу, как мне показалось, абсолютно всерьез. Разумеется, я тут же соскочила с перил.

...Другой случай, еще на старой квартире. Я знала, что отец терпеть не мог кефир и молоко. Вообще их не употреблял. Однажды он меня попросил: «Дочь моя, подай мне стакан воды». Я решила схулиганить и налила из графина воды в чашку с недопитым мной кефиром. Отец проглотил это машинально, не видя, что пьет. Глаза у него округлились, он охнул, подпрыгнул и вприпрыжку выскочил из комнаты. По дороге в туалет он чуть не сшиб с ног соседку, которая несла кастрюлю с горячими щами. Я громко хохотала, а отец даже не обиделся. Он только сказал: «Ну, спасибо тебе, доченька. Ну, напоила ты меня».

...Я только что вернулась из детского садика. Сложила на стуле домик из кубиков. Отец, не видя, что делает, уселся на него и, разумеется, развалил. Я расплакалась: «Ты своей попой сломал мой домик». – «Дитё мое, ты неправильно ставишь вопрос. Вообще-то ты должна была сказать: “Папуня, выброси этот вшивый домик, чтобы твоя

попочка могла бы усесться”». Мама с испугом смотрела на нас обоих и не знала, как нас утихомирить.

Отец родился в 1923 году. Впоследствии в разных военных документах говорилось, что из всего мужского населения Советского Союза в живых осталось только три человека из ста этого года рождения. Да и те были израненные – без рук, без ног, ослепшие, а проблемы с психикой имелись практически у каждого.

Война затронула отца самым непосредственным образом. Он был четырежды ранен и дважды контужен, много лежал по больницам и госпиталям, потерял пятнадцатилетнего брата Льва. А самое главное, он психологически как бы навсегда остался в том далеком времени, что, разумеется, ему мешало воспринимать повседневную жизнь. И через сорок лет после войны отец писал про нее стихи и поэмы, переживая все так, как будто это происходило вчера. Отец много мне рассказывал об этом, и в такие моменты мне казалось, что у меня вспыхивала генетическая память – так явственно и воочию представляла я себе и бомбежку Плюссы, и первые дни оккупации, и пребывание отца в партизанском отряде, и его работу переводчиком у немцев по заданию партизанского командования...

Больше всего отец говорил о Любе Смуровой. Очевидно, он считал себя одним из виновников ее гибели и не мог себе этого простить. Эта кровоточащая рана зияла в его сердце всю оставшуюся, довольно продолжительную жизнь. Не буду подробно затрагивать эту тему. Во-первых, потому что не так много знаю, а во-вторых, наверняка авторы других воспоминаний сделают это более компетентно и обстоятельно.

С некоторыми военными друзьями отца я была лично

знакома – со Львом Маляковым, Владимиром Клеминым и даже со знаменитым партизанским командиром Обьедковым. Глядя на них и общаясь с ними, я неизменно представляла себе, «как это все происходило». Знаменитые же поэмы отца о войне «Плач по Красухе», «Русский урок» и другие говорят сами за себя. Чтобы понять душу поэта, необходимо прежде всего изучить его стихи.

Отец всегда необычайно эмоционально воспринимал все происходившие в стране и за рубежом политические события и тут же их комментировал. Так, в конце семидесятых годов, глядя по телевизору на марширующих китайских солдат, он как бы дернулся, а затем произнес: «Ну и соседи у нас!». Мы много говорили с отцом о политике еще в те времена, когда это было не совсем принято. Но если «застой» отца раздражал, то «перестройка» просто выводила из себя. Недаром уже в последние годы жизни он написал такие строки:

В строе том – не принимал я многого,
В этом строе – отвергаю всё.

Спорить с отцом по любому поводу было практически бесполезно, никаких пререканий с ним он совершенно не переносил. Характер отца становился все более тяжелым и давящим. А поскольку я отличалась весьма независимым нравом (было в кого!), то это часто приводило к сильнейшим перепалкам. «Ты мне не дочь, и я от тебя отказываюсь!» – кричал он тогда мне. В общем и целом он «отказывался» от меня раз двадцать, если не больше. Случалось, что мы с ним не общались по нескольку месяцев, а потом все начиналось сначала. «Дитё мое, ты непокорно, и я предаю тебя анафеме», – заявил он как-то. «А мне

все твои анафемы – до хренафемы», – ответила я. После этих слов он пять месяцев не присылал мне денег. А потом сразу прислал – в несколько раз больше. Мне же он сказал: «Маня, я все ждал, когда ты у меня попросишь денег. Сама. Я бы дал, но ты – не просила. Маня, Маня, как же ты будешь жить на свете?» Вопрос остался без ответа. Я не воспринимала это как родительское проклятие, а всего лишь как болезненный эмоциональный всплеск. Надеюсь, что и небеса, и Господь Бог видели его истинное ко мне отношение, ибо хуже настоящего родительского проклятия ничего нет.

Я знала, что отец меня очень любит, но по-своему. Его отношение ко мне было слишком болезненным, а мне страдать по этому поводу не хотелось. Я и по характеру, и внешне была очень похожа на него, что и раздражало, и шокировало отца. Я являлась как бы напоминанием его вины, а у него столько было разных «вин». «Отец, я существую независимо от твоего сознания, то есть объективно», – сказала как-то я ему. И еще: «Если бы меня не было – меня стоило бы придумать». – «Дитё мое, я изрядно озадачен», – сказал он мне на это.

Все положенные годы отец исправно платил мне алименты и вообще старался, как мог, помочь материально. Не в пример многим другим отцам он вел себя в этом отношении предельно честно и никогда не был скупердям. Но иногда я сильно огорчала его, сама того не желая. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, отец прислал мне в подарок 50 рублей, а по тем временам это были деньги совсем не маленькие. В тот же день на работе (а работала я тогда в Обществе слепых) я получила небольшую премию. Все деньги сложила в сумку, повесила ее на плечо, как делала много и много раз, а в руках у меня были два

крупных пакета. Выхожу из метро, спохватываюсь – сумки нет. Разумеется, мне ее так никто и не вернул, хотя в ней находился конверт с моим адресом. А я себе присмотрела в «Доме мод» симпатичное платьице (как сейчас помню, стоило он 49 рублей 50 копеек) – элегантно, в красно-зеленую клетку, с маленьким белым отложным воротничком. Конечно, я так и не купила его себе тогда.

А спустя полгода я гостила у отца во Пскове, он тоже дал мне денег на карманные расходы, а я зашла в туалет и забыла там сумку с ними. Вышла, вспомнила буквально через две минуты, вернулась – сумку уже кто-то «прихватил». Отец сильно ругался тогда и сокрушался, грозился, что не даст мне больше ни копейки, но не понимал того, что я и так уже была наказана, что хуже от этого только мне. Но я всегда была рассеянная, как это часто бывает с поэтами и учеными, я и сейчас зачастую многое путаю и забываю...

Отец помогал мне материально до самой смерти, за что я ему до сих пор признательна и благодарна. Деньги он, в основном, посылал почтовым переводом. Как-то со мной произошла досадная история – я потеряла паспорт. Как и полагается, сообщила об этом в милицию, а там мне выдали ничего не значащую бумажку. Перевод лежит на почте, деньги у меня кончились, а мне их не выдают, и хоть ты тресни! Так и переслали ему их обратно. Он страшно разгневался, не знал, что я без паспорта, а думал, что я «показываю характер». В общем, не понял меня. Даже сказал: «Не смей мне звонить. Услышу твой голос по телефону – тут же буду вешать трубку». Я ему все-таки позвонила, и он ее действительно повесил. А сам тут же прислал мне еще денег, по доверенности, а те, которые ему вернули, себе не взял – все раздал тут же у почты пьяницам, бездомным и просто прохожим. Вот такой у меня был отец...

Постоянно проживая в разных городах – я в Ленинграде, отец во Пскове, мы, разумеется, встречались не так уж часто и общались относительно немного. Но он всегда интересовался моей жизнью, принимал в ней самое непосредственное участие и не раз выручал меня в нелегкие минуты моей жизни.

Мне было шестнадцать лет, когда умерла моя бабушка. Отцу об этом сообщили, он сразу же позвонил нам и выразил свое искреннее соболезнование. Отчим «Лерочка», которого я ненавидела, рвал и метал, слушая наш разговор по телефону, когда я кричала: «Милый папочка!» – да еще и рыдала при этом. Вскоре отец приехал к своей первой жене Дарье (Дине) Васильевне, чтобы узнать, «а в порядке ли у меня с головой», потому что незадолго перед этим я полежала в «психушке», куда меня «по благу устроил» все тот же Лерочка. В то же время в Ленинград приехал мой сводный брат Гриша, чтобы, как он выразился, «разобраться в этом деле». Разумеется, это была не единственная цель его визита, а одна из многих. К счастью, тогда я успокоила и отца, и Гришу. Гриша, профессиональный психиатр, тогда, помнится, сказал, что «Машу там неправильно поняли, и она испугалась», а отец, смеясь, добавил, что врачи в таких заведениях «начисто лишены чувства юмора». Я была счастлива, что обрела понимание родных мне по крови людей.

У отца же с юмором все было в порядке, хотя он и не воспринимал шуток о некоторых вещах и кое-какие темы для меня всегда оставались запретными. Иной раз отец мог завестись из-за совершеннейшего пустяка или вообще на ровном месте. Иногда он и сам не помнил, из-за чего, собственно, возник конфликт, а иногда причина действительно бывала достаточно серьезной. Мне было четыр-

надцать лет, когда в сильном гневе и не соображая, что говорю, я обозвала его «фашистом». Думаю, что этого он мне не простил до конца своих дней. Уже после смерти отца я узнала, что ему еще в 1945 году было присвоено звание Героя Советского Союза по линии контрразведки, из-за чего постановление об этом и не было обнародовано. Каково ему – партизану, инвалиду, герою, поэту – было услышать такое от своей дочери! Он очень долго не мог успокоиться тогда. Зайдя к отцу на кухню, я обнаружила положенный на стол листок, на котором сверху было написано: «Игорь Григорьев», посередине – «Ты фашист, папочка...» и совсем внизу – слово «Повесть». Все это было сделано с таким расчетом, чтобы я сразу же увидела этот листок. «Ты никогда не напишешь этой повести, – сказала я ему тогда. – А даже если и напишешь, то ее никто и никогда не напечатает». – «Главное – написать. Остальное – дело десятое», – ответил на это отец. Разумеется, он ничего тогда не написал, но этот случай до сих пор камнем давит мое сердце. Папа, прости меня за это, как и за многое другое!

Рядом с отцом я всегда ощущала себя необычно, а вместе с ним мы смотрелись весьма своеобразно. Он был человек громкий, активный и непосредственный, при этом совершенно не мог сдерживаться. Я вела себя аналогично, и делали мы это, совсем не сговариваясь. Всякий раз, когда случалось нам вместе проходить по улице, не было ни одного прохожего, который не обернулся бы в нашу сторону и долго не смотрел нам вслед, а кое-кто, наверняка, и крутил пальцем у виска. Но меня это никогда не обижало, а напротив – забавляло и смешило. С лица я была очень на отца похожа, я и сейчас похожа на него.

Как-то отец взял меня с собой порыбачить в деревню Губино Псковской области, где он частенько жил у бабушки Фотиньи. Идем по сельской улице, и отец все время останавливается и без конца со всеми здороваётся, как будто знает всех этих людей давным-давно. Ну, я его спрашиваю: «Папа, а кто это?» – «Не знаю, Маня, человек». – «А чего ж ты тогда?..» А он: «Здравствуйте, здравствуйте!». Мне как городской жительнице это было совершенно непонятно, поскольку я тогда не знала, что на селе так, в принципе, принято. Но отец даже «в условиях сельской местности» проявлял себя, что называется, «чересчур».

Я видела страсть отца к рыбалке, и хотя побывала с ним в лодке лишь однажды, но приятных воспоминаний об этом мне хватило надолго. Выгребли мы с ним на самую середину красивого лесного озера – вокруг вековые сосны и лиственницы, небо яркое, воздух гулкий и зыбкий, эхо далеко разносится. И отец на фоне этой природы – сам дитя природы. Не отрываясь, следит он за поплавком. И вот леска начинает сильно дергаться. Резкий рывок, потом второй... «Ага, дедушка ерш!» – и колючая рыбешка шлепается в приготовленное ведро. Через две минуты снова: «Ха-ха, дедушка окунь!». Окунь крупные, полосатые, сдаются далеко не сразу, подолгу бьются в ведерке, прежде чем затихнуть. «А вот и плотвичка, тю, плотвичка, плотвичка... Ушла, улетела, эх-ха-ха!» Правда, мне отец особо не давал самой держать удочку – я, в основном, наблюдала. Возвращались мы с рыбалки уже затемно и с неплохим уловом. По дороге я потеряла что-то из рыболовного снаряжения, и отец, который шел сзади меня по тропинке, сразу же это заметил. Он долго и достаточно занудно ругался на меня за этот, в общем-то, пустяк. Из-за чего приятный в целом день уже не казался мне таким приятным.

К сожалению, отец не раз унижал меня, причем прилюдно. Как-то я сварила на завтрак себе, отцу и поэту Саше Гусеву, который в то время жил у отца, целую упаковку вермишели. Гусев трапезничал в другом месте, а нам вдвоем этого, разумеется, оказалось много. Отец долго не мог успокоиться из-за этого. На людной псковской улице он вместе со мной подошел к незнакомой пожилой женщине и во всеуслышание заявил: «Вы представляете, какая у меня дочь кулинарка хорошая! Взяла и сварила целую коробку лапши. Кто ее есть будет? Все пришлось выбрасывать!» – «Дочуш, ты чё?» – испуганно спросила бабуля, не зная, как ей на это реагировать. А со мной в результате приключилась истерика. К сожалению, такое случалось неоднократно. Добившись «желаемого» результата, отец как-то сразу успокаивался и как ни в чем не бывало мог попросить: «Дочуш, а свари-ка мне картошечки, что-то есть захотелось». – «Да пусть черт тебе картошку варит!» – выкрикнула я однажды в гневе. Но все равно мы с отцом любили друг друга.

Отец родился 17 августа и был по своим проявлениям типичным представителем зодиакального знака «льва» со всеми его достоинствами и недостатками. Если бы существовал музей астрологии, то отца непременно использовали бы в качестве экспоната, столь очевидны и налицо были все его психологические характеристики. А много лет спустя нечто подобное я слышала о себе: «Махровый “водолей” – в музей ее, в музей». Итак, «льву» присущи театральность, импозантность, щедрость, активность. Он связан с Солнцем и любит светить. А еще из всего способен устроить бесплатное цирковое представление.

Как-то отец хотел побриться, пошел в парикмахерскую, а она оказалась закрытой на санитарный день. Другой парикмахерской поблизости не было. Вроде бы ничего особенного в такой ситуации нет, однако отец так долго, забавно и чрезмерно эмоционально рассказывал об этом, что все окружающие люди покатывались со смеху.

В другой раз отец нашел у меня книжку «Казахские народные сказки», раскрыл ее наугад и тут же начал читать вслух. Помнится, речь там шла о некоем бае Карахане, который стал жертвой собственной жадности. Со смаком отце читал, как бедняки производили экзекуцию над этим Караханом, а когда сказка закончилась, он все время повторял: «Очень жадный был Карахан!». Он говорил о нем и за ужином, и на следующий день. Эта фраза к отцу надолго привязалась, и в конце концов я не выдержала и сказала: «Слушай, отстань от меня со своим Караханом!».

Много лет спустя я была свидетельницей того, как отец читал своему внуку, а моему племяннику Василию знаменитое стихотворение Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?» Мне не передать эффекта – я хохотала так, что у меня потом два дня кряду болела диафрагма. С точки зрения педагогики, наверное, это было антипедагогично, ибо всем присутствовавшим от папиного чтения становилось ясно: «чем хуже – тем лучше». Я присоединилась к игре и прочла отцу такой вариант:

Крошка сын к отцу пришел.
И спросила кроха:
«Водка с пивом – хорошо?» –
«Да, сынок, неплохо».

Отец хмыкал, качал головой, поднимал вверх палец и говорил: «Слушай, Маня, а ведь ты хулиганишь». Но невооруженным глазом было видно, как он доволен.

Однако далеко не всегда все выглядело так весело и безоблачно. Мы с отцом часто и много говорили «за жизнь», особенно о ее теневых сторонах, о болезнях, о войне и предательстве, о бедности и страданиях. Мне семнадцать. Отец провожает меня на поезд. Мы сидим с ним на станции Сущево. Станция эта – узловая, пересадочная, грязная, заплеванная какая-то и весьма неприятная. Находиться на ней противно, а деваться некуда – до поезда еще добрых два часа. Даже буфет, и тот закрыт. Я оглядываюсь по сторонам – куда бы прилепить взгляд. Вдруг вижу: в помещение вокзала заходит небольшой щедушный человечек в каком-то немислимом одеянии и грязной кепчонке (а это был 1983 год, и бомжей в современном понимании этого слова и в помине не было). Человек садится на загаженную лавочку и обращается с каким-то вопросом к своему соседу визгливым женским голосом. Тот с отвращением шарахается. «Папа, чего это?» – шепотом спрашиваю я. «Это гермик, Маня, – отвечает отец. – Двуполое существо. В общем, ни мужик, ни баба. Но я должен тебе, Маня, сказать, что те, кто от него с отвращением отсели, не меньшие уроды, чем он сам. У него хотя бы все внешне, не притворишься. Гораздо страшнее – внутреннее уродство, которое сразу и не заметишь. Подумай об этом, Маня». Мне сразу стало очень грустно. И действительно, прошло столько лет, а я с каждым прожитым годом все больше убеждаюсь в правоте отцовских слов.

Вообще отец часто жалел людей, что называется, «Богом обиженных» и проявлял к ним, на мой взгляд, совершенно недопустимое снисхождение. Я иногда прямо спрашивала у него: «Зачем ты жалеешь такого-то? Разве в своих злоключениях он не сам виноват?». Иногда в синих отцовских глазах читалась такая скорбь за все челове-

чество, что мне невольно становилось не по себе. Об отце говорили разные люди, что он «человек блаженный», снимет с себя последнюю рубашку и отдаст ее нуждающемуся, а сам будет ходить голый, или что поделится последним куском со своим злейшим врагом.

А собственно, были ли у него враги? Разумеется, были люди, которых он не любил, не воспринимал, с которыми он поссорился и которые обидели его. Кое с кем у него были связаны весьма неприятные воспоминания по самым разным причинам. Возможно, кого-то он просто опаса́лся, с кем-то не хотел связываться, кто-то ему мешал. Были и такие, о которых он говорил сперва очень хорошо и возносил их до небес, а потом неожиданно вектор менялся на прямо противоположный. Последнее я неоднократно испытывала, что называется, «на собственной шкуре». Согласитесь, что когда тебя то проклянут, то тобой восхищаются, со временем совершенно перестаешь на это реагировать. Лично я в таких случаях часто зевала, засыпала – очевидно, так сопротивлялась психика.

Помню, как ругал отец стихи ныне покойного П. На мой взгляд, он действительно был чрезвычайно слабый поэт, и особенно противным было то, что именно такого толкают, выдвигают. «Скажите, пожалуйста, – возмущался отец, – “На Псковщине водятся лоси”. Тьфу ты, Господи! Открыл Америку. “Спокойные мудрые лоси стоят у извечных дорог”. Маня, принеси мне чаю!» Один раз с мы отцом шли по улице во Пскове и столкнулись с каким-то испуганным человеком. «Здрасьте, Игорь Николаевич!» – скороговоркой пробормотал он. По тому, как отец буркнул в ответ нечто нечленораздельное, я поняла, что это и есть тот самый П. Мы с отцом быстро ушли вперед, но я заметила, что П. еще несколько раз как-то боязливо на

нас обернулся. П. пережил отца только на год. В поэтическом календаре «Чтобы помнили» фотографии и цитаты из стихов поэтов Григорьева и П. расположены на одной странице. Знаю, что и другие недоброжелатели отца давно «почили в Бозе». Смерть примирила всех!

Когда, наоборот, отец кем-то необоснованно, на мой взгляд, восхищался, то бесполезно было ему доказывать обратное. Так, одного поэта он назвал «великим», по моему, совершенно безосновательно, хотя у того и попадались отдельные неплохие стихи.

С теми, кто ему, что называется, «глянулся», отец всегда много возился. Он помог Валентину Голубеву, Валерию Мухину, Виктору Малинину, Елене Родченковой и многим, многим другим.

В 1989 году умерла моя мать Маргарита Кузьминична. Ей был всего пятьдесят один год, а выглядела она еще моложе. Для меня это было огромным горем, к которому отец отнесся с большим уважением. Прежде всего он тогда хорошо помог мне материально, и я купила себе разных красивых платьев, каких у меня сроду не было. Вскоре я переехала на новую квартиру, и отец помог мне ее обставить современной мебелью, а также оплатил ремонт, поскольку квартиру мне оставили не в самом лучшем состоянии. Почти каждый день носильщики приносили в мой дом коробки с разными красивыми и нужными вещами – так я получила телевизор, проигрыватель, магнитофон, сборный шкаф и многое другое. Все эти расходы оплачивал отец. Самые близкие подруги стали мне завидовать.

Наверное, я не слишком тогда ценила эти подарки судьбы, воспринимая их как должное. И совершенно на-

прасно. Человек должен уметь быть благодарным, чтобы в конце концов не остаться в дураках.

Ремонт тогда халтурщики сильно затянули. Руководил им некий Дмитрий Адамович, которого все звали просто Адамыч. Вместо обещанных десяти дней шабашники под его руководством возились почти два месяца. Когда я пожаловалась на них отцу, он заметил: «Если бы еще был Адам, тогда еще куда ни шло. А так всего лишь Адамыч. Ишь ты!». Вообще отец всегда высказывался по любому поводу, что называется, «не в бровь, а в глаз». Эту привычку я переняла у него.

Общение с отцом зачастую было связано с разными неожиданностями, к которым я не успевала подготовиться. Но это всегда бывало интересно.

Как-то раз я обнаружила у него дома во Пскове необычный журнал, который назывался «Новый путь» и был издан в Риге в феврале 1944 года, то есть в последние месяцы оккупации. Журнал был профашистский, для населения. Я листала его, как зачарованная, он был для меня не только историей, не только музейным экспонатом, а чем-то большим. Там было несколько рассказов предателей Родины. Особенно запомнился мне рассказ «Паутина» некоего Василия Осокина. Отец сказал, что это литературный псевдоним, а звали автора совсем по-другому – не помню уже как. Рассказ был посвящен колхозам, и в нем присутствовал сильный религиозно-мистический эффект. Герой рассказа требует обратить сельскую церковь в клуб и глумится над Богом, за что Бог его наказывает, когда тот приходит на кладбище и пытается сломать крест на могиле: «Вдруг он охнул и упал ничком у креста».

В тот день мы с отцом много и долго беседовали на эту

сложную тему – о разных временах, о переоценке ценностей. Такое никогда не забывается! С журналом же произошла странная вещь. С разрешения отца я взяла его с собой, но он у меня долго не пробыл, а каким-то непостижимым образом дематериализовался. Я тогда еще подумала: «Ничего себе! До чего же все работает!»

Вообще отношение отца к религии было весьма сложным. Конечно, он был в душе человеком верующим, но, очевидно, его раздражала внешняя, обрядовая сторона. К тому же не стоит забывать, что он по своему рождению принадлежал к поколению атеистов, которые зачастую признавали Бога уже в последние годы своей жизни. Но он, безусловно, был верующим по своему восприятию жизни, по мироощущению. Душа отца постоянно скорбела, а это и является явным признаком «божественного начала» в человеке. Вместе с тем отец любил жизнь во всех ее проявлениях, был активным и оптимистичным. И это при всех его ранах и страданиях, и это после всего пережитого!

Вот еще одно доказательство приобщенности отца к «божественной сути». Перед своей смертью отец вел себя совершенно как человек православный благодаря духовной помощи его сына Григория. Когда уже в последние дни жизни отца соборовали и ему следовало покаяться в своих грехах, то, как бы подводя итог прожитой жизни, отец сказал: «Нет ни одного греха, в котором я был бы неповинен. Я – великий грешник абсолютно во всем».

Я все время молюсь за отца. Вечная ему память!

Не могу сказать, чтобы отец как автор стихов пользовался большой популярностью у читателей. Его поэзию воспринимал сравнительно небольшой круг людей, в основном пожилых, воевавших и часто деревенских. Осталь-

ным он, очевидно, казался несовременным. Если же еще учесть упадок интереса к литературе, едва ли не всеобщий, то легко можно вообразить и все остальное. Я не раз видела, что книги отца продавались «в нагрузку». Однажды я съездила «на разведку» в главный книжный магазин Пскова и вернулась оттуда вся зареванная. Я плакала от обиды на судьбу, от жалости к отцу и к себе. Ничего не стала отцу тогда рассказывать, но он и сам все понял – он прекрасно это знал. «Ну, что ты, Маня, полно тебе, успокойся», – повторял отец.

Славы и признания отец всегда жаждал и стремился к ним. Иначе и быть не могло. Ради них он иногда совершал разные забавные поступки. Помнится, он взял целую партию книжки стихов «Жить будем» (более ста штук) и принялся каждую подписывать для неизвестного читателя: «С любовью и уважением от такого-то...». Я тогда спросила: «Папа, с какой любовью, с каким уважением, ты же совсем не знаешь этих людей?», на что он ответил: «Большинство людей, Маня, достойны и любви, и уважения. Но... правда, не все». Помню, как он целыми днями просиживал в центральном псковском книжном магазине, подписывал и дарил книги всем желающим. Мне это не нравилось, казалось, что он таким образом унижает себя, а отец смеялся и... не унижался. А как-то он сказал: «Да, я неинтересно подписываю свои книги с пожеланием того-сего. И вообще... Вот если бы я написал что-то вроде: “Хмырь болотный!”, или: “Пошли вы, господа, на фиг...” – вот тогда отбою бы не было от покупателей. Но так, чего доброго, можно и в “ментовку” загреметь, чего мне совсем не хочется».

Сколько себя помню, отец постоянно писал нам письма: сначала маме и бабушке, а когда я чуть подросла – мне.

Его «эпистолярный стиль», как он сам иронически выражался, был вычурным и оригинальным, мало кто умел это делать, как отец. Сначала у меня была мысль процитировать здесь несколько писем ко мне как образец крайне нестандартных, но потом я подумала, что это слишком интимно и поэтому ни к чему. Письма его я все сохранила и ни одного не выбросила.

Книжки свои он подписывал тоже весьма своеобразно: «От дурака-поэта», «От скобаря из Скобаристана» и так далее, а когда злился или был мною недоволен, мог написать, например, так: «Марии Кузьминой с пожеланием невозможного». Вообще, уже по тому, как он надписывал конверт, можно было сказать, насколько он ко мне в данный момент психологически расположен. Верхом симпатии было, если на конверте значилось «Григорьевой Марии Игоревне», чуть-чуть ниже рангом – «Кузьминой Марии Игоревне», а когда он был совсем уж не в духе, то тогда просто «Марии Кузьминой».

Вообще, я всю свою жизнь находилась с ним в сильнейшем психологическом резонансе. Всякий раз, когда он меня ругал во Пскове, у меня бывал сердечный приступ в Ленинграде. И наоборот, когда он мной гордился и восхищался, я всегда ходила гордая и прямо-таки вся светилась.

Сейчас я перехожу к крайне болезненной и мучительной для меня теме. Этот вопрос мне задавали много раз, но я так и не смогла дать на него исчерпывающий ответ. А именно: почему отец, имея возможности в плане средств, знакомств и компетентности и видя мой явный литературный талант, не помог мне напечататься, издаться, опубликоваться, не «протиснул» меня, не направил и т. д.? Ведь он помог очень многим другим людям, и, да

простит меня Господь, некоторые из них были – совершенно объективно – посредственны и вторичны. Но что это, спросите вы меня, с моей стороны? Зависть, ревность? Ни в коем случае, я вообще не знаю, что это такое. Обида на судьбу свою незадачливую? Да, пожалуй, да.

Писать я начала очень рано, и в детстве отец ценил мои стихи очень высоко. Он искренне гордился мной и рассказывал всему городу Пскову, что его дочь – талантливая поэтесса. С самого начала я выбрала для себя литературную стезю и даже в кошмарном сне не могла себе представить, что здесь у меня может что-то не заладиться. Но уже в моем 16–18-летнем возрасте отец далеко не всегда бывал в восторге от моих стихов, и чем больше я ему их показывала, тем сильнее они его «раздражали и вводили в досаду», как он сам выражался. Если, когда я училась в школе, отец мне подписывал свою очередную книжку: «Моей Маше, той, которая дочь, наставляя ее на путь великой поэзии, с приказом создавать стихи раз в сто лучше моих. Иди! И не гнись», то когда мне было лет двадцать с гаком, он написал: «Марии Кузьминой с пожеланием невозможного». Отец старел, характер у него портился, временами он бывал чрезмерно агрессивен. Как-то он написал мне в одном из своих писем: «Плохих своих стихов ты мне не присылай. Они меня раздражают и вводят в досаду». При этом он признавал, что стихи мои «профессионально сделаны, хотя и легковесны». Его раздражал мой слог, перо. Дело в том, что я никогда не была так называемым «крестьянским поэтом», поскольку в своей жизни почти не жила в деревне. Я просто не могла им стать по определению. Надо сказать, что я и сейчас не воспринимаю «крестьянских» авторов, таких как Василь Быков, Валентин Распутин и так далее, которых мне в детстве постоянно реко-

мендовал отец. Я их не «не люблю», а это просто «не мое», о чем я отцу говорила не раз. «У тебя другой менталитет, Маня», – говорил он мне. Но ведь, в конце концов, об этом не спорят и за это не убивают. Просто, очевидно, как поется в немецкой песенке «Лесной коричневый орех», «Если хочешь быть со мной – будь таким, как я». Четкая постановка вопроса, и никаких гвоздей. Поэтому отец мог помочь только «истинно русским людям», к которым меня не причислял. К тому же я не могла по возрасту участвовать в Великой Отечественной войне, и по этой причине бесконечные разговоры о ней больного ветерана просто не могли мне быть близкими по духу. А отец всем этим жил. Его болезненное восприятие окружающей действительности не давало ему покоя. Надо сказать, что я сама не раз обижала отца вольно или невольно. Он мне читает главы из своей новой военной поэмы, а я в это время втихую читаю под столом «Владимир, или Прерванный полет» Марины Влади. Кто же будет помогать такому спесивому человеку? Когда я стала уже совсем взрослая, я писала о повседневной жизни, с которой сталкивалась регулярно, а отец слушал о ней по радио и имел о ней представление весьма смутное. К тому же в моих стихах фигурировала очень гордая женщина, с сарказмом описывающая мужские безобразия. «Маня, ну разве это стихи? Это же одна сплошная ирония. И помогать печатать их я не собираюсь», – говорил отец.

Ко всему этому примешивался мой характер, мое элементарное неумение жить, ибо я человек неделовой по натуре, не способный «делать деньги» и не вписавшийся в «рыночную экономику». Так что в наше время у меня просто нет денег на издание книги или двух, хотя у меня написано уже почти что пять. И стихи, и проза. А кому

они нужны? Психологически я совершенно не была к этому подготовлена и теперь постоянно страдаю от сильнейшей депрессии. Помню папины гонорары застоных времен, помню, как он говорил: «Хорошо пиши, Маня, и будешь много получать». Прошло двадцать лет, и вот теперь мне говорят: «Как вы хорошо пишете, Маня, платите нам, и мы с удовольствием вас напечатаем». Я «неудобная женщина», и со мной не желают связываться «сильные мира сего», а я совершенно не могу перед ними пресмыкаться. Состоятельные люди не собираются на меня тратиться, а бедные сочувствуют, но помочь не могут. В результате я совершенно озверела и один раз едва не покончила с собой. Я даже не неудачница, а меня вообще умножили на нуль.

Подобное неприкаянное положение меня изрядно угнетает. Мои лучшие человеческие качества и многочисленные способности остаются совершенно не востребованными. Из-за этого, как сорняки, произрастают все новые и новые плохие, которые я сама воспринимаю как провокацию и реакцию на современную действительность. Но Бог милостив! Возможно, жизнь просто хотела меня проучить за чрезмерную гордыню или за что-нибудь другое, мне неведомое, о чем я могу только смутно догадываться. Давно уже не надеюсь на чудо, ибо твердо верю, что все чудеса – закономерны.

Несколько раз я пыталась поступить в Литературный институт в Москве, куда меня так и не взяли. Рылом не вышла! А судьбы кто? Но ладно, хватит жаловаться, жизнь продолжается.

В последние годы своей жизни отец много болел, постепенно угасая. Когда я видела его последний раз в Пе-

тербурге осенью 1995 года у Гриши, отец был весь высохший и страшно осунувшийся. Я пыталась веселить его, читала стихи, которые могли ему нравиться, развлекала, как могла. В какой-то момент мне показалось, что не все еще потеряно и что отец непременно должен оклематься. Но случилось непредвиденное. 13 января 1996 года умерла папина мама, Марья Васильевна, которую отец очень уважал и любил, с которой был сильно связан энергетически, и у меня есть предположение, что она просто взяла его с собой. Во всяком случае, у меня было такое видение, как будто она улыбается и говорит: «Пойдем со мной, мальчик!». Тут он выходит из своего тела, протягивает к ней руки и идет следом. Марье Васильевне было 92 года, отцу – 72.

11 января я проснулась около пяти часов утра от страшного вороньего гула на балконе. Подойдя к окну, я увидела, что вороны разгребают снег в цветочных ящиках. Их было несколько, но вдруг взлетели две, при этом я обнаружила, что одна из них зацепилась за другую лапкой, а та, вторая, не сопротивлялась. Но мне тогда не пришло и в голову, что это предупреждение потустороннего мира. А 17 января в полдесятого утра в моей квартире раздался телефонный звонок. Я пила чай, собиралась завтракать и смотрела телевизор. Звонила тетя Света Рыбакова, я просила ее узнать насчет приработка и поэтому звонка ее, в общем-то, ждала. «Машенька, ты сидишь или стоишь?» – спросила она. «Да я вообще-то еще лежу», – зевнула я. «Машенька, я должна тебя огорчить – вчера умер Игорь Николаевич». – «Как?» – «Мне звонила Римма Никандровна из Пскова, а похороны уже сегодня». – «Как? Хоронят же на третий день». – «Не знаю, Машенька, позвони в Юмки, уточни у своего брата».

В глазах у меня потемнело, в горле застрял ком. Едва vorочая пальцами, я набрала Гришин номер. Трубку сняла его жена – Лена. «Да, Машенька, это правда. Через час отпевание в Спасо-Парголовском храме. Он умер вчера, ждать еще одного дня мы не стали».

Мне самой тогда показалось, что я умираю. Отпевание через час, ехать мне два часа. Могу и не успеть. Что же делать, Господи?

Я вынула из шкафа черное платье, надела его, сняла украшения в знак траура. Как сомнамбула, пошла на метро. Ехала – и не могла смотреть. Слезы застилали глаза. Выскочила из метро на проспект Просвещения, свернула на улицу Хо Ши Мина. Я почти бежала, ветер свистел в ушах. И все-таки я опоздала. Когда я вбежала в церковь, как раз закрывали крышку гроба. Увидев меня, Гриша взмахнул рукой, чтобы приостановились на секунду. Я подбежала запыхавшаяся, успела увидеть только нос и часть лица, закрытого простыней. Это продолжалось всего лишь несколько мгновений, затем крышка захлопнулась.

Хоронили отца в Юкках, у Гриши на вилле. По дороге туда я несколько раз падала, снег набивался в сапоги, я почти ничего не соображала. Задыхалась от слез, все время присаживалась прямо в снег – ноги не держали. Чтобы немного успокоиться, стала лепить снежки и натирать ими лицо. В какой-то момент мне показалось, что отец смотрит на меня и улыбается. Я даже услышала его голос, говоривший: «Ну, полно, Маня, полно!», как он всегда делал при жизни.

Поминки – роскошный и абсолютно трезвый стол. Друзья, знакомые, почитатели...

Девятый день, затем сороковой...

Прошло полгода. Я еду к себе на дачу, выхожу на стан-

ции «Балтийская». У меня плохое настроение, а надо принимать важное решение в жизни. Как зачарованная, повторю строки из отцовской поэмы:

«А если б себя не хватило,
А если бы сдали крыла?
Ведь ЭКАЯ СМЕРТНАЯ СИЛА
Твою непреклонность рвала.
Всю ночь – от потемок до света,
До самого Солнца-светла,
Ужель не боялась ответа,
Себя сожигая дотла?».

Знаю, что это ответ на все вопросы. Что это вызов обществу и миру. Выдержу и выстою во что бы то ни стало. И буду жить!

Шесть с половиной лет прошло с тех пор, как отца нет с нами. Я его помню живым, люблю и не забуду никогда.

За это время о нем публично вспоминали несколько раз. В 1998 году во Пскове состоялся вечер его памяти. В 2000 году в Рубцовском центре Санкт-Петербурга состоялся большой концерт в его честь, на котором исполнялись песни на его стихи, звучали любимые мелодии отца. 25 июля 2000 года во Пскове была открыта мемориальная доска на доме, где он жил. Собралось много народа, военные курсанты исполняли различные марши, они очень старались, хотя и не были знакомы с отцом при жизни, но, очевидно, почувствовали, какой это был человек. Надеюсь, что состоится еще не один вечер, посвященный памяти отца.

Да, сейчас не нужны поэты. Да, сейчас им трудно, как никогда. Но время не стоит на месте, и кто знает, как бы-

стро изменится его вектор. Так что не удивлюсь, что в одни прекрасный день Рижский проспект города Пскова, где отец жил в последние годы своей жизни, назовут проспектом Игоря Григорьева, чего он вполне заслужил.

За эти несколько лет я много передумала, поняла. Страдания облагораживают, но не должны продолжаться бесконечно, ибо у каждого человека есть предел их восприятия. Все эти годы я много пишу – и стихов, и прозы. Последнее время меня часто хвалят. Может быть, и отец был бы мною доволен. Бог даст, будет и на моей улице праздник.

*Октябрь 1999 г. Февраль 2000 г. Июнь 2001 г.
СПб.*

Внебрачные дети поэтов
Не слушают «добрых советов».
Ругают отцов за грехи
И часто не любят стихи.
Хотя исключенья бывают!
Тогда им несчастья хватает.
Пусть правильно выстроен стих –
Печатают всех, кроме них!
Век ходят по лезвию бритвы,
Стихи не звучат, как молитвы.
Порою – вообще не звучат,
Хоть души привычно кричат!
Они не выносят запретов –
Внебрачные дети поэтов.

1 декабря 2000 г.

Завертелось, закружилось,
И не разобрать ни зги!
Папа, папа, я влюбилась!
Папа, папа, помоги!
Прикурить давал ты бабам,
Доводил ты их до слез,
Он же по твоим масштабам
Не достал и не дорос.
Он красивый, поэтичный,
Есть дела и есть мечты.
Он лукавый, ироничный,
Он такой же, как и ты.
Поцелуемся, напьемся...
Порох есть? Взорвем, сгорим.
Как с тобою, с ним деремься,
Как с тобою, говорим.
Что хотелось – не забылось,
Не забудется – не лги.
Папа, папа, я влюбилась!
Папа, папа, помоги!
Все есть – сказочные были
И красивые глаза.
На твоей стою могиле
И взираю в небеса.

4 августа 2000 г.

Открытие мемориальной доски на доме отца

Мелькает вблизи твоя тень.
И слышу я шелест крыл.

Ну вот, наступил этот день,
Про который ты говорил.
Теперь не забудут тебя,
А забудут – так вспомнят вновь.
Жил ты, себя губя,
Но это и есть любовь.
Военный гремит оркестр.
Курсанты не знали тебя.
Но из «столь отдаленных мест»
Ты смотришь на них, любя.
Как много здесь молодых,
И среди них – твоя дочь.
А еще – поэтов других.
Им тоже надо помочь.
Как искренни их слова!
Иначе – и быть не могло.
Уже не болит голова.
На сердце стало светло.
Впереди еще много тризн,
И радости, и грехи.
Но продолжается жизнь,
И снова звучат стихи.

4 августа 2000 г.

Слово и дело

Слово лечит, слово ранит,
Слово голову морочит,
Слово нам мозги туманит –
Делает оно, что хочет.
Слово – сила, слово – доля,
Слово – божье наказание,

Кто владеет им – неволя.
Уготованы страдания
Горемыке-страстотерпцу.
Всем он действует на нервы.
Кто дает словами – перцу,
На словах лишь только – первый.
Он слывет уже привычно
Человеком неприличным,
Неудобным, нетактичным...
Лучше быть – косноязычным.
Не способен он сражаться,
На слова все переводит.
Кто привык словами драться,
Тот до дела – не доходит.
Действует он в лоб при этом –
Неуютно, неумело...
Что же делать нам, поэтам,
Для которых слово – дело?

13 июня 2000 г.

Лев Маляков

ПОЭЗИЯ – ЕГО СУДЬБА

За нашу более чем полувековую дружбу я наблюдал Игоря Григорьева в разных ситуациях. Мы шли в жизни бок о бок с первой встречи в партизанах осенью 1943 года до его кончины в январе 1996-го. Это был человек необыкновенный. За внешней открытостью и простотой жила сложная душа, о которой, мне кажется, он и сам не подозревал, душа ранимая, непримиримая ко всякого рода несправедливостям, порой терзаемая противоречиями, – душа талантливого русского поэта.

Нашу дружбу как символ мужской верности мы пронесли через войну, через студенческие годы, через сложное поэтическое становление, через шатания Коммунистической партии и даже через случавшиеся размолвки, о которых я теперь вспоминаю с большим сожалением. По-моему, лишь с высоты нашей дружбы можно в какой-то степени раскрыть сложный характер поэта Игоря Григорьева.

Впервые я увидел его в группе разведчиков, которые сидели вокруг обширного стола, отрезая куски мяса от исходящего паром свиного окорока. В избе стоял густой вкусный дух, от которого я сглотнул слюну. Меня пригласили за стол. Трапезничая с разведчиками Тимофея Егорова, я обратил внимание на парня с лицом иконописной четкости: прямой нос, резко очерченные губы, глубоко сидящие яркие голубые глаза с жестким металлическим бле-

ском. Широкие квадратные плечи и прямая спина, сидит, подумалось мне, как аршин проглотил. Это был Игорь Григорьев.

Нам дали задание: сходить в Псков к Спартаку Иванову за разведанными. Это поход мне запомнился знакомством с Игорем, знакомством с его внутренним богатством, которое с присущей ему открытостью он щедро выдавал мне.

Он рассказал о жизни в Плюссе, о начале пути разведчика в Плюсской хозяйственной комендатуре у немцев, о трагической гибели брата Льва и подруги Любви Смуровой. Он зачитал меня стихами русских поэтов и своими. Стихи его собственного сочинения легли мне откровением на сердце, потому что были правдой и болью об оккупации. Эти стихи потом вошли в его сборники.

Мы выполнили задание. А когда возвращались из разведки, попали под бомбежку в деревне Обрядиха Плюсского района. На время война развела наши пути. Игоря тоже вскоре тяжело ранило. Он долго лежал в госпитале. Несколько окрепнув, выписался и начал искать место в жизни. В книге «Жажда» он написал о себе: «...промышлял охотой в костромских глухomanях и фотографией на Вологодчине, бродил в геологической экспедиции по Прибайкалью, работал грузчиком, учился в Ленинградском университете». Оборву цитату, чтобы остановиться на Игоре Григорьеве-студенте.

Для меня, потерявшего много друзей-сверстников, встреча с Игорем в университете была подарком судьбы. Это было в сентябре 1950 года. Он уже год отучился, хорошо знал профессию, с некоторыми был на дружеской ноге. Его девятиметровая комната в коммуналке на улице Егорова у Варшавского вокзала была неформальным клу-

бом. В нем я познакомился с начинающими русскими писателями Федором Абрамовым, Глебом Горышиным, будущим доктором филологических наук Петром Выходцевым, с поэтами Леонидом Хаустовым, Владиславом Шошиным, нашим земляком Александром Решетовым, всех не перечислишь.

Это были фронтовики и блокадники. При встречах воспоминания о минувшей войне лились рекой. Главным рассказчиком почти всегда был Игорь Григорьев. Ему было что вспомнить из жизни Плюсского подполья, которым он руководил, из опасных заданий разведчика. Даже трагические истории он подавал с юмором, на что был большим мастером. В любой компании Игорь всегда был в центре внимания. На этих вечерах-встречах велись бурные дискуссии о поэзии, обсуждались нашумевшие тогда постановления ЦК КПСС о журналах, об Ахматовой, Зощенко. Читались стихи именитых авторов, а также свои. Не обходили стороной и политику.

До выхода первой книги Игоря Григорьева я уже знал многие его стихи (их воздействие Игорь проверял на своих друзьях). И стихотворение «Великая», посвященное Псковщине, которым открывается его первая книга «Родимые дали», и многие другие. Это был 1960 год. Первую книгу он ждал долго и с нетерпением. Много о ней говорил, переживал за каждую строчку. Потом поэтические сборники выходили почти каждый год: «Зори да версты», «Листобой», «Сердце и меч»... Всего вышло более двадцати книг, не считая переводных ради хлеба насущного. Игорь в литературе работал, как вол, не признавая ничего выше поэзии. Его поэтический кумир – Сергей Есенин. Он хорошо знал и современных поэтов, любил читать стихи Александра Прокофьева, Ярослава Смелякова.

Особенно ему нравились стихи, как он говорил, «с кукишем в кармане». В то счастливое время далеко не обо всем можно было говорить, о чем думаешь. Надо признаться: мы в узком кругу вели крамольные речи о жестоких порядках в деревне, когда мужика обдирали как липку. В этом мнении мы с Игорем были единомышленны, и не удивительно: родом из псковской деревни, мы хорошо знали ее послевоенные беды. Особенно много споров у нас было с Федором Абрамовым. Воевал он в особых частях органов госбезопасности, и будущему великому писателю России было, видимо, не так-то просто изменить свои убеждения. Но уже его первая публикация в журнале «Нева» – «Вокруг да около» – показала: Абрамов понял творящиеся в деревне несправедливости по отношению к российскому крестьянину. А его романы – верх обличения власть имущих.

Потом я благодарил Бога, что среди Игоревых друзей не случилось ни одного стукача. Ведь стоило «брякнуть» куда следует о наших литературно-политических дискуссиях, и мы загремели бы туда, куда и Макар телят не гоняет. И невесть что произошло бы с нашими литературными устремлениями.

Современному читателю, видимо, нелегко вообразить встречи в девятиметровой комнате человек до десяти. Но мы ухитрились разместиться да еще и пировать, чем Бог послал. У студентов известные пиры. Но надо учитывать, что Игорь в ту пору привез с Карельского перешейка больного отца и двух сестренок по отцу. Теперь уже трудно представить, как могли жить в такой комнате четыре человека да еще собака Арфа. Со своей стипендии и пенсии инвалида войны Игорь ухитрялся всех кормить. Он никогда не жаловался на житейские условия и полуголод-

ную жизнь. Охота и рыбалка были подспорьем, но не постоянным. К тому же из-за пропуска лекций приходилось иметь дело с деканом Колобовой, женщиной твердого характера. Но к Григорьеву она относилась с пониманием. В учебной группе ему тоже потакали. Даже простили сорванное однажды комсомольское собрание: кто-то из ретивых предложил обсудить Григорьева по-комсомольски, но при проверке оказалось, что он не является членом ВЛКСМ. Потом он с удовольствием потешался над этой неудавшейся попыткой ввести его в комсомольские оглобли.

После окончания университета Игорь пробавлялся случайными заработками и писал. Подрядился строить мастерскую к скульптору Дмитрию Епифанову, у которого мы ради заработка позировали во время студенчества. Тяжелая работа спровоцировала выпадение диска в позвоночнике. С адскими болями он лежал в постели и все равно писал. Тайком от его жены Дианы я приносил «маленькую», чтобы приглушить боль. Помогало, но не надолго. Как инвалида войны Игоря положили в Военно-медицинскую академию. Сделали операцию, но неудачно. Через несколько лет операцию пришлось повторить. Стал усыхать нога. К перемене погоды донимали сильные боли. Приходилось спасаться наркотиками, которые ему выписывали врачи. Когда наркотиков не было, переходил на водку. Потом мучительно выбирался из болезни, в рот не брал по нескольку лет. Помогали выйти из «тарангаса», как называл он свое состояние, все те же стихи. Поэзия была его звездой.

Свое поэтическое богатство он раздаривал щедро, по-русски. Мне, как самому близкому, перепало больше других. Наша дружба крепла. Игорь любил приезжать ко мне в Псков. Первая публикация его стихов была в «Псков-

ской правде», он это неоднократно подчеркивал. Он беззаветно любил свою малую родину. В 1967 году, когда первый секретарь обкома партии Иван Густов задумал создать в области писательскую организацию и стал приглашать в Псков на жительство членов Союза писателей СССР, я предложил кандидатуру Игоря Григорьева. Она была принята. Переехав в Псков, Игорь получил трехкомнатную квартиру. Его избрали секретарем писательской организации. Потом он писал, расставшись с Домом писателей имени Маяковского:

Мне не в Невском жаться скопище,
Не локтями ближних пхать –
У реки, низины топящей,
Песней зори колыхать.

Характер Игоря Григорьева был не приспособлен к послушанию и чиновничеству. Вскоре у него возник конфликт с секретарем по пропаганде и агитации Георгием Веселовым на почве оценки стихов. Веселов потребовал, чтобы сборник стихов принесли ему для прочтения, при этом заметил: «Я сам во всем разберусь», на что Григорьев ответил: «Уж в чем в чем, а в поэзии вы великий мастер». Секретарь не мог простить Игорю этой иронии. А вскоре Игорю пришлось лечь в тубдиспансер. Ему удалили часть легкого. Обком партии предложил оставить должность секретаря писательской организации, о чем не без горести Игорь тогда написал:

Мои собраты по перу
Не поделили «псковской славы»,
И я, доколе не умру,
Не позабуду той отравы.

Нет, не с цианом порошки
В стакане водки. Проучили
Меня надежней корешки –
В глазах России обмочили.
Вот это была так беда,
Не просто жизни оплеуха:
Не с ног сшибали – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа.

Игорь ушел «на вольные хлеба». Но оставался центром притяжения писательской братии. Можно сказать, писательский союз оставался у него на квартире. Виделись мы почти каждый день. К нам приезжали поохотиться, побродить по псковским перелескам уже ставший знаменитым Федор Абрамов, доктор филологических наук Петр Выходцев, поэт Владислав Шошин, из Москвы – Владимир Фирсов, Александр Говоров и многие другие литераторы. Конечно, были веселые застолья на природе при похлебке из добытой утки, шумные разговоры.

На время моего отпуска мы с Игорем уезжали в Белоруссию к тестю Григорьеву, директору школы Василию Захарову, к человеку интересному и гостеприимному. Он отвозил нас и лодку на озеро, в которых водились караси, как лапти. Правда, взять их было не так-то просто. Однажды с нами поехал Федор Абрамов. Игорь с его любопытством залез в трансформаторный щиток и что-то там замкнул. Вся деревня Чернечки на ночь осталась без света. Ужинать и играть в «козла» пришлось при керосиновой лампе. Абрамов прозвал Игоря «Ёшка-электрик» и всю поездку потешался над ним.

Иногда мы уезжали на мою родину, в Ямм, к тетушке Ньюше и дяде Саше. Интересной была рыбалка на Плоткином озере, куда нас отвезли директор Ямской средней школы Сергей Григорьевич Лаврентьев и его завхоз Петр

Иванович Менухов. На озере отлично брала щука на спиннинг, а река Желча навевала легендарные воспоминания о князе Александре Невском. Мы влать порыбачили.

Игорь Григорьев вобрал в себя все богатство русского духа, все особенности русского характера. Для него недостаточно было делиться с братьями душевным богатством. Всю свою жизнь он готов был отдать своему ближнему, да и первому попавшемуся под руку, последнюю рубашку. Неоднократно я был свидетелем его непомерной щедрости. Стоило ему получить гонорар, он тут же, по дороге к дому, совал в карман первому же забулдыге десятку, а то и две. Тогда это были деньги! Получив в Пскове трехкомнатную квартиру, он решил, что она для двоих велика и обменял на двухкомнатную «хрущевку» с попавшей в беду семьей работника обкома ВЛКСМ.

Постигло несчастье Александра Гусева, молодого многообещающего поэта. У него сгорел дом. Игорь приютил Гусева на много лет, предоставив ему комнату. Жили они, как братья, не мешая друг другу.

Образ Игоря Григорьева будет неполным, если не упомянуть о его любви к животным, особенно к охотничьим собакам...

В начале этих заметок я заикнулся о наших редких разговорах. Но я не хочу писать о них, они были настолько незначительны по сравнению со всем большим и важным в нашей жизни, что, вспоминая их, хочется уронить слезу сожаления, что было потеряно время для общения...

Мемориальная доска, что установлена на доме 56 по Рижскому проспекту в Пскове, – лишь малая толика нашего признания и благодарности большому русскому поэту и человеку. Главный памятник ему – наша память.

29 октября 2001 г.

Людмила Крутикова-Абрамова

УЧЕНИК И ВЕРНЫЙ ДРУГ ФЕДОРА АБРАМОВА

Прошло почти полвека, как мы (я и писатель Федор Абрамов, тогда еще доцент кафедры советской литературы филологического факультета ЛГУ) познакомились с Игорем Григорьевым. Много улетучилось из памяти. Остались книги, подаренные Игорем, его письмо и память о нем – добром человеке, интересном собеседнике, заядлом рыболове, талантливом поэте.

Игорь и его будущая жена Диана Васильевна Захарова учились на филологическом факультете, слушали лекции Федора Абрамова, а Дина была в спецсеминаре Абрамова и под его руководством писала дипломную работу о творчестве Шолохова.

Дина и Игорь бывали у нас дома еще в середине 1950-х годов, в затем и в 60-е годы. А мы летом 1962 года были у них в гостях в деревне Баборьки недалеко от Горodka Витебской области, где жили родители Дины. Там много гуляли по живописным окрестностям, рыбачили на озере.

Безусловно, дружеские узы больше связывали Игоря с Федором, чем со мной. Их роднили фронтовые воспоминания, оба были участниками Великой Отечественной войны, перенесли тяжелые ранения. Они вели долгие бесе-

ды друг с другом о войне, о партизанском движении, о событиях в стране, о литературе.

Федор Александрович очень ценил Игоря как талантливого рассказчика, остроумного, с юмором, владеющего богатством народной речи, и как неравнодушного, неунывающего человека, много испытавшего и повидавшего на своем веку. Об отношении Федора Абрамова к Игорю свидетельствует авторская надпись на подаренной книге «Деревянные кони»:

«Игорю Григорьеву, моему ученику и незаменимому товарищу, которому я так многим обязан, с которым мне всегда интересно. 20 сент. 1972, Комарово, Ф. Абрамов».

Игорь, в свою очередь, дарил нам свои книги с восторженными словами. В нашей библиотеке сохранились его четыре книги. Первая из них – «Родные дали» (Лениздат, 1960) с надписью:

«Уважаемой Людмиле Владимировне и дорогому Федору Александровичу от всего моего сердца с душевной благодарностью за братскую помощь. Желаю вам здоровья и творческих удач.

Всегда ваш Игорь Григорьев. 5. II. 1960 г.».

В 1962 году Игорь дарит поэтический сборник «Зори да версты»:

«Дорогому Федору Абрамову – другу и брату на всю жизнь. Игорь Григорьев, 14 октября 1962 г. Ленинград».

В 1970 году – сборник поэм «Забота»:

«Большущему Федору Абрамову от любящего сердца. Игорь Григорьев. 9. X. 1970. Псков».

И, наконец, в 1973 году присылает из Пскова книгу «Не разлюблю», в которую было включено и посвященное Федору Абрамову стихотворение «В снегопад» с замечательными заключительными строками:

Веди,
Буди от ледяного сна:
Земля должна. Земля еще задышит,
Зови, бедуй:
Тебя поймет весна,
И солнце огнеперое услышит!

На книге надпись:

«Моему дорогому учителю Федору Александровичу Абрамову и чудесной Людмиле Владимировне. – Знали бы, высокие друзья мои, как я вас люблю. – С признательностью сердечной – Игорь Григорьев. 5 февраля 1973 г. Псков».

В книгу было вложено письмо:

«Псков, 6 февраля 1973 года.

Мои славные и хорошие Федор Александрович и Людмила Владимировна!

Примите мою книжку “Не разлюблю”.

Жду, жду, жду и всегда буду ждать вас к нам во Псков.

Страшно соскучился по вам. Может, приедете хоть ненадолго? Как живете-можете?

Что с романом¹ твоим, Федор Александрович? Пронесло пылевое облако?

Не знаю, что и сказать-то. Вот так и вижу тебя, Федя, и помню до нотки: “Егоня, у меня есть курприз, – бросай уду, дуй на берег...”

И как с Вами, милая Людмила Владимировна, в картиншки перекидывались на безрыбье...

Людмила Владимировна! Может, пришлете мне что-нибудь свое? А? Ведь у меня нет ни словца Вашего. Осчаст-

¹ Речь идет о романе «Пути-перепутья», который печатался в 1973 году в «Новом мире».

ливьте старика хромононого. А? Заставьте за Вас Богу бить челом. В самом деле, как было бы для меня знатно и важно. Милая Людмила Владимировна. Ну, пожалуйста.¹

Буду рад, если откликнитесь.

Мама моя тут сидит под боком, кланяется вам и желает счастья, многих высоких книг и долгих лет.

Я сердечно обнимаю вас. И люблю насовсем. Всего-всего вам светлого, мои преславные и незабвенные великаны.

Игорь Григорьев».

¹ Я в те годы преподавала на филологическом факультете ЛГУ, читала курс русской литературы начала XX века, спецкурс о творчестве Бунина. У меня к тому времени вышло много статей о Бунине и книга о Куприне. Не помню сейчас точно, что я послала Игорю. Возможно, книгу о Куприне.

Светлана Молева

ЖЕСТОКАЯ ДОРОГА – ПОЭЗИЯ

Он не стремился создать себе «поэтическую судьбу» (как это безуспешно пытались сделать некогда величаемые «гениальными» столичные «мальчики» – ныне еще живущие, но уже напрочь забытые). Самая мысль вылепить из себя мнимую фигуру показалась бы ему нелепой. А природа столь вложила в него страстного, горячего, живого, ранимого, непредсказуемого, что это не под силу человеческой фантазии.

Может быть, имя, которое никогда не бывает случайным и в котором трижды отзываются и горе, и горечь, и горячность (но и горение, и горний), настойчиво диктовало ему.

Люто непримирим был он к тем, кто по вялости и неспособности к душевной работе прятался под маской «интеллигентности»; к тем, кто не смел обронить собственного слова, высказать свое, отличное от принятого, мнение, дабы не потрептать чванливую, отвыкшую думать публику. Наверное, в нем, долгие годы не имевшем религиозного опыта, органично жило новозаветное предостережение: «Знаю твои дела: ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откровение святого Иоанна Богослова, 3:15–16).

«Крученный, верченный» (как он подсмеивался сам), всем неудобный, но столь притягательный, что друзья и враги плотно обстояли его, он время от времени прорывался и уходил, оставляя всех.

И сколь бы теперь ни вспоминали и ни писали о нем, нам и всем миром не собрать малой доли стремительного, яркого, разрываемого противоречиями образа. Скорее всего, не удастся даже последовательно выстроить биографию, разбросанную по всей стране, и на долю его биографов, когда Россия поднимется и достанет у нее досуга вспомнить своих сыновей, выпадет нелегкий труд.

Одна из последних поэтических книг Игоря Григорьева биографична и называется «Крутая дорога». Как ее редактор я безусловно и сразу согласилась с этим названием. Вот она передо мной. И думается теперь: на свое неслабое мужское плечо примерял он эту дорогу. Не крутая она – жестокая.

Да, жестокая дорога поэзии стремительно пронесла его мимо нас. Многие шарахались в стороны, называя его шумом и кривлякой. Он не оглядывался.

Другие уязвляли больно, навешивая ярлык графомана.

До последних дней много раз, почти при каждой нашей встрече, он пытал меня: «Ты действительно считаешь, что я поэт?». Он знал. Знал, конечно. Но так важно было для него услышать это от других.

С чистым сердцем я всегда отвечала одинаково: «Да, Игорь, ты поэт». Но чего-то, может, недоставало ему в интонации, или хотелось услышать еще какие-то бесспорные весомые слова – доказательства, эпитеты. Потому все переспрашивал и переспрашивал.

Каюсь, поскупилась. Не по жадности или зависти. А по затертости слов «большой», «выдающийся», «талантли-

вый», «яркий». Да ведь и не может поэт быть небольшим, невыдающимся, неталантливым, неярким. Ибо самое слово исчерпывает суть. Да, Игорь, ты поэт.

И много лет назад сам учил меня знать цену слову: «В строке не может быть проходных, случайных, необязательных слов. Ты должна забивать их туго, как патроны в обойму...». Что ж, видно уроки не прошли совсем даром.

Многие из нас стали только краткими попутчиками на этом стремительном пути, требующем постоянного душевного напряжения и полной отдачи. Взлеты и падения – конечно, литературный штамп. Но я вижу его, летящего по Октябрьскому проспекту Пскова, безоглядно выкрикивающего стихи, и себя, деревенскую школьницу, стыдливо, но изо всех сил выбивающуюся – рядом. Стыдливо потому, что встречные пересмеиваются и, как горох, рассыпаются по сторонам. Таким был день нашей первой встречи.

«А он любил эпатировать!» – тут же подметит какой-нибудь умник.

Да полно! Ему претили нерусские слова и чувства. Таким мощным, неподдельным, генетически чутким было его ощущение родного слова – слова всеобъемлющего, оплодотворившего весь мир.

Но, конечно, строку не всегда удавалось зарядить, как обойму. И попутчики часто попадались не из тех, с кем можно идти в разведку (а он именно с этой меркой подходил к людям). И падения бывали такие жестокие, что еще не пришло время поминать о них. Да не приспееет никогда.

Но именно в один из таких, кажется, безвыходных моментов судьбы написаны эти легкие, чистые хрестоматийные строки:

Покойны желтые озера,
Спокойны синие пески:
Они, как старость без укора,
Они, как юность без тоски...

Так что ж – все обман, все выдумка, все поэтическое во-
ображение?

А поезжайте в глухомань навережских озер! Там, где в
убогих деревнях о двух–пяти избах доживали свой век ис-
калеченные войной старики и до смерти опивались дена-
туратом редкие, не согдившиеся для города молодые го-
ловы; где Господь упас нас холодным ненастным днем
на разгулявшемся трехкилометровом озере, когда утлый
плот по бревнышку раскатала тяжелая, жадная до жертвы
вода, – там и родились эти стихи. И коли не все вымерли в
этих местах – так помнят Игоря Григорьева.

И ясным днем с любого холма, с любой горушки воо-
чию убедитесь:

Покойны желтые озера,
Спокойны синие пески...

Так что не расходилось его слово с жизнью. А жизнь со
словом. И «отдать ближнему последнюю рубашку» было
для него не образным оборотом речи, а то и значило:
снять и отдать! И когда такое свершилось на виду иронич-
ных зевак, маленькое потрясенное Чихачево долго не мог-
ло опомниться и простить.

И он и себя отдавал, не жалея; много и напряженно ра-
ботая, помогал начинающим литераторам, фронтовым
друзьям, случайным людям, в смутное наше время оказав-
шимся в беде. Казалось, более, чем от смертельной болез-
ни, он страдал от того, что видел, как разрушают и губят
Отечество. Октябрьские события 93-го года в Москве по-

трясли его. «Россия, что с тобой?» – таковы были последние горькие слова, брошенные им в зал на последнем для него вечере писателей. Счет шел уже на дни...

В трудные для всех нас, знавших и любивших его, дни кто-то спросил, что означают слова Евангелия: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Не помню, ответили ли тогда. Но вот теперь это ясно открылось и требует ответа.

Мы исказили и потому утратили слова. А вместе – и истинное представление о жизни и смерти, о живых и мертвых.

Древние помнили, понимали и мудро охраняли живых от живущих, но безжизненных – не имеющих Совести, не вещающих Правое Слово.

И не дерзостно нам уповать, что жив будет у Господа тот, кто так открыто, так неодолимо стремился к Правому Слову, Слову Единородному. Будем уповать. Будем уповать.

1996

+++

Игорю Григорьеву

Над избами,
Над переправой,
Над гребнем огненных лесов,
Над примороженной отавой
Вонзился в сумрак
Горький зов!
Вожак крылами тяжко машет,
Снижаясь, кличет,
Бьется зря:
Ведь гусям не понять домашним,
Что значат вольные края.

Ведь жирным гузнам
Птичник – участь,
Пастух
Да сытая еда.
И клич, тревожный и могучий,
Не оторвет их от пруда.

Пусть не бегут с тоской за стаей,
Пусть не шумят –
Не улететь.
А дикие по ним рыдают,
Когда о небе надо петь!

1964

+++

И. Григорьеву

Этот дождь не пройдет до утра,
Заночует опять, по приметам,
Среди блёклых измученных трав,
Заполосканных намертво ветром,

Пала в сердце тоска. Потому
Все гляжу я в глухое заречье...
Не пойти ли сегодня к кому
Скоротать подступающий вечер?

Не нагрянет ли нынче ко мне
Кто-нибудь молодой и желанный,
Кто сгореть не боялся в огне
Золотой от купавы поляны,

Светлана Молева

Кто пропасть не страшился во мгле,
В куцах душных и таволгах белых.
Кто-нибудь, кто любил и жалел
За такие простые напевы.

1995

Юрий Шестаков

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Я был знаком с Игорем Николаевичем Григорьевым около десяти лет. Почти каждый год, путешествуя на мотоцикле по стране, заезжал к нему в Псков.

Игорь Николаевич одобрял мои ежегодные путешествия по России и считал, что они способствуют поэтическому творчеству. Он охотно и со вниманием слушал мои стихи, читал свои произведения. Несмотря на то что Игорь Григорьев отличался удивительной душевной непринужденностью, сердечной естественностью, я все-таки так и не смог избавиться от ощущения непреодолимой дистанции между нами, обусловленной моим глубоким уважением и восхищением этим человеком, ставшим для меня еще до знакомства не только замечательным поэтом, но и человеком-легендой: знаменитым молодым разведчиком, бесстрашным воином, ветераном Великой Отечественной войны.

Игорь Николаевич был верующим православным человеком. Помню, как я со своей женой заехал к нему домой как раз во время освящения батюшкой квартиры поэта. Мне было предложено заодно освятить и мой мотоцикл, я охотно согласился. Иногда я думаю, что мы с женой, попавшие год спустя в серьезную дорожную аварию, остались живы благодаря этому освящению «стального коня».

Я слушал рассказы Игоря Григорьева о войне и не переставал удивляться, какой же силой духа нужно обладать,

чтобы, пройдя сквозь этот бесчеловечный военный ад, все-таки остаться человеком – добрым, сердечным, уравновешенным.

Игорь Григорьев был «капитаном Игорем» в подполье и партизанах и он же стал капитаном своих книг-кораблей, плывущих по бурному морю жизни и всегда готовых принять на свои поэтические борта людей, чтобы помочь им, изможденным временной дисгармонией грешного земного мира, вспомнить о гармонии небесной, непреходящей.

В беседах со мной то грустно, то весело, то задумчиво и всегда искренно звучал его мягкий голос. Но когда поэт Игорь Григорьев читал свои стихи, его голос становился твердым, и порою стихотворные строки, которым я внимал, невольно представлялись мне высеченными на граните.

Валентин Голубев

* * *

Игорю Григорьеву

В городе белом твоём
Улочек десять – не боле...
Речка журчит подо льдом
Старославянскою болью.
Улицы снега полны,
Встретить прохожего хоть бы...
Лишь у речной полыньи
Утица белая ходит.
Где ты, в каком терему
Нынче тоскуешь кирпичном?
Взору явись моему
В образе волчьем иль птичьем.
Северный край наш богат
Мудрой былиной и сказкой.
Гостю какому ты рад,
Песней какою обласкан?..
Вьётся гулена-метель,
Змейкой струится под руку,
В лес увести бы теперь
Снежную эту подругу!
Улицы снега полны,
Где ты, аукнулся хоть бы...
Лишь у речной полыньи
Утица белая ходит.

Виктор Торопчанин (Васильев)

НЕЗАБВЕННОЕ

Ленинград... Ленинград, офицерская моя молодость.

Купив в киоске сборник стихотворений Игоря Григорьева «Стезя», изданный в Ленинграде, я примостился на скамейке в скверике и стал выборочно читать. Стихи увлекли. В то время я писал короткие рассказы о природе, а в стихах автора мое сокровенное – родное приволье. В это же время «варили» меня в Псковской писательской организации как прозаика. Принеся очередную рукопись в организацию для семинара, я попросил председателя Александра Бологова прикрепить меня к руководителям, которые хорошо знают природу.

– Вот Гейченко – хранитель и реставратор Михайловского.

– Много о нем слышал, буду очень рад познакомиться.

– Игорь Григорьев – рыбак и охотник.

– Игорь Григорьев?! А разве он не питерский?

– Жил некогда в Ленинграде, вот перекочевал. – В его голосе почувствовалась недоброжелательность.

Перед началом семинара я сидел в «литературной гостиной» и ждал очередную «литературную экзекуцию». Нас – семинаристов – по головке не гладили.

Вошел рослый мужчина и, немного прихрамывая, приблизился ко мне.

– Игорь Григорьев, – сказал он и протянул руку.

Я робко представился.

– Почему-то именно таким я вас и представлял... по произведениям.

– Автор в какой-то степени должен выражать себя.

– Истинная правда. И даже не в «какой-то». А в большой, в высшей степени раскрывать свою душу.

...Настало время подведения итогов семинара. Очередь Игоря Григорьева.

– Я охотно познакомился с молодым прозаиком. Автор не допускает в своих рассказах серой обыденщины. Послушайте, – приподнято произнес Игорь Николаевич, – как великолепно можно писать прозой: «Когда обломилась последняя спица заката, а лес убаюкался под монотонный напев какой-то пичуги, рысика с котятками остановилась у елового клина...» – Строки он цитировал из моего рассказа «Неведомая тропа». – А вот еще...

Я, взволнованный, видел краем глаза – Татьяна Дубровская недоуменно бросает взгляды то на меня, то на Игоря Николаевича. Повторюсь: обычно на семинарах с молодых летели «пух и перья».

– Думаю, даже уверен, – закончил Игорь Николаевич, – в нашем полку собратьев по перу прибыло. – А мне при расставании сказал: – Жду вас вечером у себя дома, – и дал адрес квартиры.

Звоню, сердце, как говорится, выскакивает из груди от волнения.

– Заходите, старина, – спокойно сказал Игорь Николаевич, – рад вас видеть.

Оговорюсь: «старина» было любимым его словом.

– Моя жена Елена Николаевна, искусствовед.

Так я познакомился с Еленой Николаевной Морозкиной.

– Первым делом давай на «ты», – сказал мой наставник.

– Игорь Николаевич, позднее, немножко пообвыкнись.
– Тогда ближе, к знакомству, садись, – показал он на стул.

– Потомок торопецких лесных кривичей, – сказал я, изучая облик Игоря Николаевича, правда робко.

– А почему лесных?

– Зарабатывают на жизнь лесозаготовкой.

Сказал, где работаю. В то время я исполнял обязанности руководителя теплотехнической лаборатории на псковском заводе АТС.

– Писатель тоже ведь инженер, – сказал Игорь Николаевич, – только человеческих душ. Не знаю, как на заводе, а в литературе ты инженер хорошей квалификации. Уже!

Я был не знаю на каком небе. Впервые в жизни меня называли писателем.

Затем он много рассказывал о себе. И как-то незаметно перешел к моим рассказам.

– Любое, тобой написанное, должно быть рассчитано на профессионала. Особенно при описании природы. Здесь мелочей вообще не существует, все должно быть четко, до буквы точно. Однажды я прочитал, что у одного автора запели соловьи в августе. Тебе, конечно, известно, что соловьи кончают петь в конце июня, когда появляются детки. Будешь ты дальше читать такого автора?.. Я – нет!

Здесь замечу: любимым знаком препинания у моего наставника было тире. Приучил он к нему и меня.

– Теперь – еще ближе к делу. Вот у тебя употреблено название растения «щетняк». Для местного читателя – хорошо. Но прочитай кто из другой местности?! Думай-гадай! Поэтому употребляй название растений ботаническое, здесь – белоус. Или другое – медуница, правильно – таволга вязолистая, лабазник...

Я был удивлен знаниями Игоря Николаевича и чувствовал себя перед ним школьником. Как много нужно мне еще изучать!

– А вот элодею канадскую ты назвал «водяной чумой» – очень хорошо. В общем, старина, приноси свои рассказы – будем и корректировать, и редактировать.

Мы с ним иногда засиживались над моими рассказами до полуночи. Не буду утверждать, что он опьянял меня похвалой, но вдохновить он умел мастерски. Как опытный учитель.

Когда мы с ним стали хорошими друзьями, я позволял себе вступить в полемику. (Разница в возрасте у нас была шестнадцать лет.)

Он очень громко кричал:

– Лена-а!.. Лена-а!

Елена Николаевна торопливо входила в комнату:

– Что такое?

– Он меня учит... у-учит...

– Господи, можно подумать, пожар.

Вникнув в суть дела, Елена Николаевна деликатно переходила на мою сторону.

– Сдаюсь, сдаюсь, – поднимал кверху руки мой друг. – Теперь, старина, пойдем-ка почаевичаем.

Елена Николаевна уходила в свою комнату (она всегда много работала – архитектура, литература), а к нам присоединялась Мария Васильевна – мать Игоря Николаевича.

За чаем, как обычно, – рыбацкие и охотничьи были.

– А помнишь, мама, какие в нашей Веретеньке язи водились – во-о! – показывал Игорь Николаевич.

– Помню, помню...

– А речушка – одним махом перепрыгнешь.

Наступала очередь моя.

– Да ну-у! – восклицал Игорь Николаевич, когда я еще не договаривал байку. – А я однажды в Узе поймал головля, представляешь – мой кулак тогда в пасть ему входил.

Марии Васильевне вскоре наскучивали наши воспоминания, и она начинала дремать. Игорь Николаевич очень вежливо отправлял ее в свою комнату. Ну, а мы снова засиживались до полуночи. О чем только ни говорили!

Однажды я уехал к родителям на сенокос. Вернулся в Псков через три недели и сразу же к Игорю Николаевичу.

Открыв дверь, он насунился:

– Вить... ты меня не бросай. Я к тебе привык...

Сколько было откровения в этом «я к тебе привык»... Мне пришлось долго рассказывать ему причину отлучки.

– Ну, как батя?

– Привет тебе передает, называет тебя «аржанным мужиком». Аржаной или ржаной – в нашей местности высшая похвала для сильного пола.

– Спасибо, спасибо.

Отец и Игорь Николаевич познакомились на моем дне рождения. Один другому очень понравились.

– А вообще как на селе?

– Много нареканий на демократов.

– Эх да! Попали мы из огня в полымя...

Расскажу поразительный эпизод нравоучения. В ноябре 1992 года Международный институт резервных возможностей человека пригласил меня работать в свое псковское представительство. По старой памяти я поругивался матом. Игорь Николаевич всех сотрудников представительства хорошо знал. Ему кто-то сообщил о моей «памяти». Замечу, приятель мой был характера импульсивного.

– Витя, что тебя там заставляет употреблять нецензурную брань? – резко произнес Игорь Николаевич.

– Сила привычки. Ярче эмоциональная окрашенность речи, – полушутливо ответил я.

Но в таких случаях он шуток не признавал.

– Ха! «Эмоциональная окрашенность»! Да мат – это словесный понос... Правда, я тоже грешу этим, но как со стороны неприятно слушать такое паскудство.

– Я тоже не могу переносить похабщину, особенно в автобусах.

– Так вот, давай, старина, договоримся: приходи ко мне и мы до посинения этим поносом друг на друга. А там, Витя, нельзя, там общество.

Одно из достоинств демократии (ельцинской) – это действительная свобода слова. Я давно мечтал издать хотя бы небольшую книжечку своих стихотворений. И вот мечта осуществилась. Небольшую подборку ранних стихов я принес Игорю Николаевичу.

– Ты меня приятно удивил. Почему же раньше не говорил, что занимался стихосложением?

– Да как-то не к слову было.

Он внимательно прочитал рукопись.

– Вот что. Я согласен быть твоим редактором. Но оставлю все, как есть, – ни слова менять не буду.

Так появился мой первый сборничек стихотворений «Проклятая радость». Он на столе у редактора.

– Вить, все ж скажи – почему молчал о стихах?

– Игорь Николаевич, в семьдесят первом я сжег общую тетрадь, а в ней около двухсот стихотворений и поэма «Цыганка Феня». Причина банальная: куда ни пошлю – отовсюду возврат, иногда вообще не ответят. И решил я больше не заниматься стихами.

- Зря, старина, зря. Талант у тебя есть. Я бы на твоём месте отринул все дела и принялся за восстановление сожженного. Не обижайся, но какой же ты дурак, что бросил поэзию. Пока прозу - в сторону!

- Нудная и кропотливая работа - восстанавливать в памяти давно забытое.

- Ты вспоминай их, как первую любовь, как первый поцелуй.

- Если ты так настаиваешь - придется напрячься.

- Только помни, Витя, у тебя появятся недоброжелатели, они всячески будут тебе мешать и даже обливать грязью. Помни об этом, старина, и не обращай на них внимания.

Прав оказался мой незабвенный друг. Но ему уже никогда не скажешь об этом.

Елена Родченкова

ЦЕЛУЮ РУКУ ТВОЮ

Вот так, проснувшись ранним утром после тяжелого сна в душной комнате с темными, плотно завешенными шторами, усталый, вялый, подходишь к двери, распахиваешь ее и обмираешь от внезапно хлынувшего слепящего солнечного света. Зажмурив глаза, наполнившиеся слезами, трешь их ладонями, недовольно морщишься – как ярко! – глотками пьешь вздох утренний воздух и вдруг просыпаешься, забыв и ночь, и нехороший сон.

Потом пытаешься смотреть на солнце, но куда там – невозможно! – и снова трешь глаза, но уже улыбаясь, чувствуя, как властно светлое тепло разливается в душе, заполняет ее всю, вытесняя из потаенных уголочков хитрую темноту. Всю, до конца, безжалостно!

Каждое утро такой радости не бывает. Так происходит редко, иначе мы привыкли бы к радости.

Бывает и во всякой судьбе такое вот солнечное утро, когда случайно или, скорее всего, неслучайно приходит солнечный человек. Не знаю, много ли их или мало, таких солнечных людей? Иногда кажется, что много, иногда засомневаешься: приходят ли на место ушедших – другие, не темнеет ли с каждым годом планета? Никто и никогда не сосчитает и не составит точный список, но всякий чувствует сильный, животворящий свет и тянется к нему, ища спасения.

Я перечитываю письма Игоря Николаевича Григорьева редко, потому что это очень тяжело. «Был» – резкое, жестокое слово. Прибавить мягкий знак – «быль», – и слово становится мягче, теплее, спокойнее. Быль – значит, правда...

Когда скапливается, сгущается тьма, когда становится тяжело дышать и кажется, что нет никакого выхода, никакого смысла, – рука непроизвольно тянется к заветной папке с письмами, развязывает шнурочки, и... Как тем утром, после тяжелого сна – в раскрытую дверь – свет! Свет, от которого наполняются слезами глаза и просыпается вязкая ноющая боль в груди: это мучается и цепляется за жизнь темное в душе.

Перечитаешь все, а боль не проходит, жжет. Но темноты нет – не выдержала, пропала... Надо жить дальше. И ясен путь.

Он был Поэтом Божьей милостью. Ему досталось от жизни все.

Они любили друг друга. Такой красивый, жестокий роман с жизнью длительностью в семьдесят три года... Как и положено в романе – нежность, радость, испытания, разлуки и встречи... Да, и разлуки. Сколько раз его пыталась увести та, другая, которая все-таки победила и забрала его навсегда.

Был какой-то юбилей, и в редакции районной газеты «Земля Новоржевская» собралось много гостей из соседних районов и из Пскова. Звучали тосты, стихи, рассказы, анекдоты, разные байки – коллектив собрался интересный. Прочитала стихотворение и я. Как обычно, о России. О России все теперь пишут.

В перерыве подошел ко мне Александр Матвеевич Савыгин, писатель из Пушкинских Гор:

– Надо бы несколько ваших стихов Григорьеву послать, – сказал он. – Правда, мы с ним в ссоре, но надо послать.

Я выслала Александру Матвеевичу в Пушкинские Горы несколько стихотворений, и вскоре он переслал мне ответ незнакомого Григорьева. Первую весточку. Первый лучик солнца.

«Псков, 17 июня 1993 г.

Дорогой Александр Матвеевич!

Стихи Вашей подопечной – Елены Новик – талантливы. Но пока что не дюже мастеровиты технически. Это с поэтическим трудом придет – мастерство дается, оно – дело наживное. А талант – искра Божия.

Очень был рад и взволнован стихами.

Вот отобрал 5 стихотворений. Попробую предложить газете, но гарантировать, что их опубликуют, не могу – не в моей власти.

Собственно, все о стихах написал во вступлении. Пусть меня простит Елена Алексеевна за некоторую порчу – мою правку ее стихотворений. Но, думается, без этого их было бы трудно предлагать газете.

Копию подборки посылаю.

Остальные замечания на полях рукописи.

Передайте мою книжицу Елене Алексеевне, другая – Вам. Сердечный привет Елене Алексеевне.

Всего Вам доброго.

Игорь Григорьев».

Помню, подумала тогда: «Все-таки не помирились!» – и не особо поверила в текст письма. Жизнь научила не верить, и к стихам своим я относилась тогда, как к не-

победимой слабости природы, которую надо скрывать от всех, но зачем-то оберегать.

Потом пришел толстый конверт с газетой «Псковская правда» и краткой запиской.

«13 августа 1993 г., Псков.

Дорогая Елена Алексеевна!

Посылаю Вам два экземпляра “Псковской правды” с Вашими стихами. Извините меня, пожалуйста, за вмешательство в Ваши некоторые строки.

Всего Вам доброго и светлого.

Игорь Григорьев».

Целый день я вчитывалась в печатный текст, и радуясь, и сердясь на далекого незнакомого Игоря Григорьева за правку, и удивляясь: зачем ему надо было печатать эти стихи, писать напутствие, высылать мне...

Перечитав раз сто, к вечеру загордилась совсем, думая, что местный народ теперь не будет шептаться, крутя пальцем у виска: «Стишки пишет. Поэтесса, короче».

Но еще несколько дней было немного жаль «потрепанные» правкой «мои шедевры», а потом радость от того, что стихи напечатаны, победила сомнения.

Я написала Игорю Николаевичу первое письмо-благодарность, уж не помню точно, о чем, но письмо явно глуповатое и детское, судя по мудрому ответу Григорьева.

«Псков, 3 сентября 1993 г.

Милая Елена Алексеевна!

И я вместе с Вами радуюсь Вашим стихам в газете. Они, по-настоящему, – откровение, которое Вы подарили всем нам, Вашим читателям и будущим почитателям.

Дай Бог Вам Благоденствия и Душевного равновесия!

О дружбе ведь не говорят – она или есть, или может быть, или – нет, или быть не может. Скажем так: проживем – увидим. Но я согласен и сам надеюсь на благодушное Ваше ко мне, грешному, отношение.

Будете в Пскове, непременно появитесь в моей хате.

Адрес: ...

Ехать: ...

Буду рад Вас видеть, поближе познакомиться и послушать Ваши стихи. Только не берите стихов много. Лучше мы в меньшем побольше разберемся.

Человек я совершенно простой, лишенный всякого умысла и хитрости, поэтому приглашаю Вас к себе в дом от всего сердца.

А вот насчет: “Прошу Вас, если Вам не трудно, будьте моим учителем?” – это вы слишком загнули. Не могу. Потому как, во-первых, сам не учен, а во-вторых, если честно говорить, не Вам у меня, а мне у Вас надо учиться. И я всей душой жалею, что уже поздно это сделать.

Если чем-либо я могу быть Вам полезен, – я буду. И что в моих силах, сделаю для Вас! Потому что вы – настоящая.

Трудно вам будет, ох, как трудно. Но Вы – Поэт, а все остальное (писательский навык, например) приложится.

Как бы тяжело вам ни доставалось, не бросайте Поэзию. Все остальное перед ней ростом ниже. Если “Красота спасет мир”, то Поэзия – Пророчество, ИСКРА БОЖИЯ.

Она у Вас в душе, я в этом, да и все мои друзья – настоящие Поэты, которым я показывал Ваши стихи, – того же мнения.

И значит, все в порядке!

Посылаю Вам свою книжку и книжку Елены Морозкиной, моей жены, Вашей поклонницы. Не обессудьте меня

за стихи в “Русском уроке”, неровные и не все стоящие. Вот такие дела.

Я был рад вашему письму. И Вы хорошо сделали, что написали его.

Приезжайте. Целую Вашу малую руку.

Поклонник Вашей поэзии

Игорь Григорьев».

Я тут же взяла книжку «Русский урок» и стала читать. После третьего стиха обомлела. Так вот к кому я в ученицы напрашивалась и в друзья набивалась, благодарственное письмо строча! Провинциальная моя наивная самоуверенность, так быстро приобретенная после первой же публикации, как гольшок, корчащийся от стыда, высвечивалась мощными лучами его Поэзии. Не лучами – проекторами! Ох, как было неудобно, как было стыдно...

И с покаянной головешкой – будь что будет! – вооружившись коробкой конфет, я поехала знакомиться с Поэтом.

В квартире № 37 современного дома на Рижском проспекте (совсем прозаичное место), где жил Игорь Григорьев с женой Еленой Николаевной Морозкиной и матерью Марией Васильевной, меня встретили, как близкую и даже любимую родственницу, которую по каким-то причинам долгое время не видели. И было как-то неудобно, что так давно не приезжала, занималась пустяковыми делами, вместо того чтобы поспешить туда, где так ждут. Это радостное ощущение осталось навсегда. Когда бы впредь я ни открывала дверь этого дома, сразу чувствовала, что мне рады.

Сидя в кресле перед его письменным столом, я мямлила что-то несурзное. Но Игорь Николаевич быстро по-

давил мою неловкость. Он, как лев, царствовал над своими бумагами по другую сторону стола и внимательно изучал меня. (Он и по гороскопу был «лев», хотя не признавал астрологию за науку и недовольно морщился от словосочетания «знаки зодиака».)

Книжный шкаф был полон тоненьких книжечек. Удивилась тогда – поэт, а библиотека какая-то несерьезная. Но это были книги, подаренные ему авторами.

На стенах – фотографии, картины. Привлек внимание портрет: Игорь Николаевич – молодой, красивый! Просто демонически красивый! Художник – Илья Глазунов. Ничего себе! Глазунова-то я знала...

Позже поведали мне питерские поэты, что Григорьева рисовали чуть ли не все, кому он встречался на пути – настолько он был хорош собой. И сейчас, глядя на портрет Достоевского кисти И. Глазунова, я вижу Игоря Николаевича, а не Федора Михайловича. И Иисуса Христа – его глаза, лоб...

В кабинете было уютно и просто. Ничего лишнего. Все было удобно для работы в кабинете Поэта...

Говорили мы долго. Вернее, я слушала, а он говорил.

– Про тебя я все знаю по стихам, а до автобуса осталось два часа. Надо многое успеть. Слушай.

Разбирали стихи построчно, побуквенно, до запятых!

Это было ужасно. Я пыталась возражать, но Игорь Николаевич был безжалостен в эту первую встречу. Наряду с похвалами – такой разнос! Пообвыкнув, осмелев, я стала спорить. Он молча выслушал, кивнул головой:

– Характер есть. Это хорошо. Слушай дальше, что говорю. Каких поэтов читаешь?

– Никаких...

– Надо читать. То, что тебе некогда, это все ерунда. Это

не объяснение. Запомни: щи варить умеют все бабы, а стихи писать – единицы. Ты не имеешь права плохо писать!

– Я еще учусь заочно...

– Значит, надо успевать все. Тебе повезло, что я жив, и не упускай возможность.

Он всегда говорил прямо. До слез прямо.

Изредка в комнату заходили Елена Николаевна и Мария Васильевна.

Елена Николаевна была большая юмористка. Говорит, к примеру, о серьезных вещах, а потом вдруг скажет что-нибудь этакое! От неожиданности у меня всегда приключался неадекватный приступ смеха, который унять было непросто.

Мария Васильевна, уже совсем старенькая, плохо слышала, и их диалоги с Игорем Николаевичем, такие привычные для них, когда один говорит одно, а другой – совсем другое, и оба хорошо друг друга понимают, – тоже смешили меня.

– Что, маменька, скучно тебе, моя хорошая? Пришла послушать? Садись, моя родимая, послушай Ленины стихи.

– Да я хорошо себя чувствую. Ты бы отдохнул, Игорек. Так много работаешь!

В разные слова они облекали одну и ту же фразу: «Как я тебя люблю!».

Возвращалась я домой и в этот раз, и во все другие приезды с большой коробкой конфет.

– Это Олесеньке от деда Игоря. В следующий раз вези все стихи, что есть. Будем делать книгу. Надо торопиться.

«Псков, 24 мая 1994 г.

Дорогая Алена!

Возвращаю тебе фотографии (одну оставил себе, – из-

вини) и пробы фото для книги. И – под фотографию – твоё четверостишие. Все – в натуральную для книжки величину. Пойдет на книжку фото, где ты в плаще (я пометил), как ты и сама хотела. Светлана Молева и Михаил Устинов сказали, что фотография в плаще лучше всего подходит для печати.

Книга твоя на подходе: скоро мы её увидим, дай ей, Боже, доброго пути! Все говорят, что книга получилась, что и следовало доказать. Выйдет, сразу же тебе сообщу.

С тобой хочет познакомиться наш прекрасный поэт Александр Гусев.

Моя дорогая хозяйка Поэзии в “Псковской правде” – Светлана Николаевна Андреева – очень сожалела, что не смогла тебя застать в Пскове, чтобы взять интервью. Обещала приехать в Новоржев к тебе, как только выйдет твоя книга. Я был у Светланы Николаевны на дне рождения, – много говорили о тебе. Она – умница и считает тебя даровитой. Ей лишь немногим больше лет, чем тебе. И мне думается, что вы сойдётесь. Чему я рад.

Радио Пскова в лице Веры Николаевны Мухортовой ждет встречи с тобой, чтобы сделать передачу о твоих стихах и о тебе.

Высылаю тебе переделанный автограф своего “Напутствия”. Старый ты разорви – он сырой и скороспелый. Как видишь, я вмещаюсь и в свои стихи и правлю их, а не только рекомендую делать правки другим хорошим поэтам.

Новостей у меня нет. Все ладно и складно у меня и у нас, чего от всей души желаю и тебе, и дому твоему, и чадам с домочадцами.

Моя жена считает тебя талантливой и любит твои стихи, как и все мы, твои поклонники.

Передай мой сердечный привет Владимиру Алексан-

дровичу, твоим батюшке и матушке. А Олесю поцелуй от деда Игоря.

Дай тебе Бог Благоденствия.

Целую руку твою.

Игорь Григорьев».

А потом вышла книга. Малюсенькая, беленькая, настоящая! С фотографией!

Я сидела в своем кабинете в Новоржевском управлении сельского хозяйства, где работала юристом, когда открылась дверь и вошла Елена Николаевна Морозкина. В болоньевой куртке, резиновых сапогах, платке.

– ??!

– Я привезла книги. Еду в деревню. Идем, заберем их из машины.

В Бежаницком районе, в глухой деревеньке, у них был домик. Елена Николаевна спешила. Ее ждала природа, любимая лодка, любимое озеро и творчество.

– Еще Игорь передал вам письмо, деньги и пачку финской бумаги для новых стихов. Обязательно сразу ему напишите. Обязательно! Он ждет!

Уже гораздо позже я догадалась, а потом и точно узнала, что книгоиздательская система разрушена и мою книгу Игорь Николаевич издал за собственные деньги, не посвятив меня в тайны этой кухни. А тогда, глядя первую книжечку и придумывая, какие подарки я куплю всем моим в честь первого гонорара, я читала его письмо.

«Псков, 28 июня 1994 г.

Дорогая Елена!

Посылаю тебе гонорар за твою книгу. Он ничтожен, но лучше, чем ничего. Это – за 100 твоих книг, которые я взял

и, давая своим друзьям, продал. (На самом деле не продал, а дарил. – Е. Р.)

Деньги бери спокойно – они твои. Жаль, что так мало. Будем надеяться, что во второй раз, за вторую книгу, ты получишь больше. 15 твоих книг, как ты разрешила, я отдал в Облкниготорг для вручения их библиотечному коллективу бесплатно. Дело стоящее, и я его приветствую. Пусть люди тебя читают и чтят (чтут и чтят).

Остальные книги, что лежат у меня – 250 книжек, посылаю тебе.

Успеха в новых стихах. И житейского Благоденствия тебе и дому твоему.

Целую руку.

Игорь Григорьев».

Долг этот на моей душе – до смерти...

А чуть позже по почте я получила письмо, датированное следующим днем после приезда Елены Николаевны.

«Псков, 29 июня 1994 г.

Дорогая Олена!

Вот эти стихи я перечитал бы, и где слабо – тобой недотянуто или мной испорчено – исправил бы, как следует, то есть довел до блеска. Не останавливайся и правь меня, где сочтешь надобным (я ведь не абсолютен). Правь.

Стихи должны быть со всех сторон доведены до полной кондиции, чтобы, приставая к ним, комар носа не подточил.

Вот, на мой взгляд, эти стихи (ты сама гляди – что-то можешь не делать из мною предложенного, что-то можешь включать свое).

Их, эти стихи, надо будет беречь для новой – второй – твоей книги:

1. “Я продаю! Я продаю!..”
2. Натали в Новоржеве.
3. “Эй, мужички-мужички...”
4. “Надеваю улыбку на губы...”
5. Волк.
6. Памяти Алексея Болдина.
7. “Разукрашенная осень...”

Вот с этих семи стихотворений я бы начал закладывать новую книгу. (Остальное из первой книжки гляди и суди сама.)

Ну, и к этим семи надо будет добавить новых стихотворений 43, чтобы было 50 стихотворений, листа на два авторских (1400 строк).

С Богом!

Игорь Григорьев».

Так вот и втянул он меня в непрерывную работу. В то время я училась на юрфаке, получая второе высшее образование, работа была сложной, да и дома было много дел. Ездить в Псков часто не могла, но когда случались командировки (а порой я хитрила, напрашивалась, запудривала мозги своему начальству), я хоть на час-полтора забегала к Игорю Николаевичу.

Он расстраивался, что, не успев толком поговорить, я уже спешила уходить.

– Вот закончу учебу и приеду на целую неделю, – обещала я. – Все брошу, и тогда мы наговоримся.

– Дай Бог, дай Бог... – неуверенно говорил он.

А однажды, читая привезенные стихи, задумчиво покачал головой:

– Что-то я тебя, кажется, перехвалил.

– Что? – замерла я.

– Быстро ты наловчилась делать стихи. Для этого таланта не надо...

Какой ужас охватил меня!

– Ты, Елена, это брось – строчки для количества рифмовать. И глаза перестань ярко красить. Зачем так намалевалась?

– ???

– Волосы испортила. Была хорошая коса, а теперь на кого ты похожа! Таких вот овец курчавых – полон город.

– ?!!

– В человеке все должно быть прекрасно, а в поэте – особенно! Тем более – в поэтессе. Не люблю я это слово... Настоящая ты должна быть, натуральная! И в стихах, и в жизни. Не обижайся. Дело говорю.

С тех пор волосы я не стрижу и не завиваю. Глаза крашу ярко в исключительных случаях. А тогда обиделась, долго не писала.

Потом, как ни в чем не бывало, он позвонил мне на работу, сказал, чтобы ждала корреспондента Псковского радио. Потом позвонил, сказал, что приедет телевидение делать про меня фильм.

Фильм получился интересный, дня три я была в стрессе после всех съемочных хитростей. Прическа у меня была очень строгая: бараньи кудряшки были стянуты в тугой узелок на затылке.

«Псков.

Елена!

Будешь писать на машинке (печатать) стихи, бери за образец отпечаток твоего стихотворения “Старая гитара” – оно напечатано по ГОСТу. И впредь старайся так печатать. Привыкай к норме.

“Старую гитару” твою слегка подредактировал. Суди сама. И взглядишь в стихи эти и, если найдешь нужным, поработай над ними.

Стихи “Старая гитара” - прекрасны! Так и впредь пиши.

Да! Только что прослушал передачу твою по радио. Поздравляю. Молодчина. И. Г.

1. “Окно”. Хорошо. Но усложнено и литературно.

2. “Раскинув руки, утопает в бездне...” Очень усложнено и литературно.

3. “Жила, к груди твоей прижавшись тесно...” Литературно горазд! Надо ли так? Да и голос не очень-то твой, только тон твой, а голос литературности.

4. “О! Капитан мой Грей!” Стихи сделаны хорошо, грамотны и талантливы. Но тема битая, старая, не твоя.

5. “Дурочка”. Сыро и очень заумно.

6. “В малиннике могила...” Очень сырое.

7. “Укради меня всю, без остатка...” Хорошо!

8. “Князь! Улыбнись мне ласково!...” Интересное стихотворение, но сырое.

Алена! Все эти стихи я еще буду читать внимательно. И тогда тебе о них сообщу, но это будет позднее. Пожалуйста, подожди.

Повторяю: держись за “Старую гитару”. Мне думается, там твоя дорога в Поэзию.

Сейчас тебе и того, что посылаю, достаточно. Про меня тебе расскажет моя Елена. Передай сердечный привет супругу и дочери.

Ты – молодец. И за стихи тебе спасибо. Работай, удача за тобой. Знаю!

Всего тебе светлого.

Целую руку твою.

Игорь Григорьев».

– Не могу больше. Трудно, – жаловалась я ему.

Вторая книга рождалась долго. Денег не было, и я, унижаясь, обивала пороги власть имущих.

– Посмотрим, что ты можешь, – улыбался Игорь Николаевич.

– Не хочу. Не надо мне это.

– Надо! – сердился он. – Назвался груздем – полезай в кузов! Дальше будет еще труднее.

– Как труднее?

– Увидишь. Самое лучшее, что я тебе обещаю, – замалчивание.

– А худшее?

– Это не приведи Бог.

Он много рассказывал мне о себе. Я знаю, что такое худшее. Это не приведи Бог. Пусть мучается при жизни и после смерти совесть тех, кто делал зло Поэту. Пусть!

«Псков, 4 июля 1995 г.

Дорогая Алена!

Спасибо за “Костер у Сороти”. Стихи твои в этом “Костре” огненнее всех других собратий по “Костру”. Можешь! Молодец!

Обложкин твой проект “Жалею и зову” мне очень пришелся по сердцу. Отлично! Вот только у тебя на эскизе написано:

“Жалею и

зову”,

а надобно:

“Жалею

и зову”,

то есть “и” ставить не после “жалею”, а перед “зову”, так: [рисунки обложки].

Усеки!

Рад продвижению твоей книжки. Рад!

Хорошо.

У нас дома все по-старому – ни шатко, ни валко. Все идет своим путем. Я – в норме, чего и тебе, и дому твоему желаю.

Надеюсь, что с книжкой твоей осложнений издательских не будет, не дай Бог!

От Елены моей тебе – привет, от Нины привет, от меня – поклон.

Добрые пожелания и сердечный привет Владимиру Александровичу и Олесе.

Господь с вами.

Целую руку твою и желаю Благоденствия.

Игорь Григорьев».

Это было его последнее письмо.

В сентябре сын Григорий отвез его в Петербург на обследование и лечение. У меня была последняя сессия – наконец-то вышла на диплом.

С трудом отыскала их с Еленой Николаевной в лабиринтах огромной, оснащенной по последнему слову медицинской науки больницы.

Гриша устроил их обоих в хорошей отдельной палате.

– Что, думали, спрятались от меня, беглецы? Я вас и здесь нашла.

Буднично вздыхая от усталости, я уселась на стул у двери и принялась рыться в сумке. Подняла глаза, почувствовав, что тишина слишком затянулась.

Никогда не забуду эти лица с одинаковым выражением озадаченной, изумленной радости. Как мы смеялись! Они уже тосковали по дому. Мы пили чай, наперебой расска-

зывали друг другу разные новости, я читала новые стихи, Игорь Николаевич и Елена Николаевна внимательно слушали, изредка переглядывались, и тогда я понимала: вот тут получилось.

Игорь Николаевич чувствовал себя лучше. Его обследовали, выяснили причины заболевания, а причина была одна – война. Лечение шло на пользу, и настроение его было приподнятым. Он только очень волновался: как там без них Нина, их помощница, с Марией Васильевной.

У Елены Николаевны болело сердце. Она во фланелевом халате, ссутулившись, медленно прохаживалась по палате, хлопоча с чаем, а Игорь Николаевич шутил:

– Я сестричкам молодым говорю: вы не смотрите, что у меня супруга вроде как невзрачная. Это она только днем такая. На самом деле она заколдованная! Ночью она из лягушки в царевну превращается.

– Ага, – отшучивалась Елена Николаевна, – я, как в том анекдоте, где лягушка всем объясняет, что она зеленая и в пупырышках только потому, что немножко приболела. А на самом деле – беленькая, пушистенная!

Я сидела у них долго, и к концу встречи скулы у меня ныли от смеха, и уголки губ до самого вечера по привычке растягивались до ушей.

Было так радостно, что они победили болезни и что дурные предчувствия, которые мучили меня всю осень, не оправдались. Все было так замечательно! Выходила в Новоржевской типографии моя вторая книжка, диплом был написан, все были здоровы, и мы договорились встретиться в Пскове. Приеду на целую неделю! С книжкой!

Оправдались предчувствия.

Последняя встреча была в доме у Григория. Идя в гости к выписанному из больницы Игорю Николаевичу (Елена

Николаевна была уже в Пскове), мне почему-то очень захотелось купить ему розу. Непременно красную.

Он удивился, даже, кажется, нахмурился, когда я протянула ему цветок.

– Кому это?

– Вам.

– Мне – цветы?

И вдруг детская радость мелькнула в глазах – так они залучились!

Мы играли с маленьким Василием, внуком Игоря Николаевича, названным в честь прадеда, пили чай с Григорием и Еленой, невесткой Игоря Николаевича. Потом долго сидели с ним вдвоем в зале и разговаривали. Беседа наша была какой-то торжественно-прощальной. Игорь Николаевич говорил со мной, как будто выступал перед аудиторией, – о поэзии, о поэтах – много и подробно, о жизни, о смерти...

Я пожалела, что нет у меня диктофона. Это обязательно нужно было записать! Это должны слышать все!

– Вот уж кто будет плакать, когда я умру, – вполухотку, вполусерьез сказал он мне, подавая пальто.

– Буду, – машинально выскочило.

– Но поэтом я все-таки успел тебя сделать. Уже ты не бросишь поэзию, – уверенно сказал он.

– Не брошу.

– Держись Свету и Мишу, если что...

14 января 1996 года умерла Мария Васильевна, его мать, а 16 января, узнав о ее смерти, тихо умер Игорь Николаевич.

В этот день я получала диплом и тихо радовалась, что скинула тяжкий груз учебы, что в Новоржеве ждет меня, может, уже готовая книжка, что скоро будет радостная

встреча в Пскове, куда я приеду на целую неделю, а он с порога скажет: «Могешь! А теперь отбираем десять лучших стихов, которые лягут в основу твоей третьей книги. Надо торопиться. Надо работать. Времени мало».

В Сузеве, выйдя из вагона с букетом цветов, дипломом, значком, фотографиями и радужными надеждами, первое, что я услышала от встречавших меня на машине родственников (беспоощадно!):

– Умер Игорь Григорьев.

– ???

– Передавали по радио. Вчера...

Вчера оркестр играл праздничную музыку. Все смеялись, танцевали, шутили. И не было в тот момент на свете человека более везучего, более удачливого, более счастливого, чем я.

...Не было и нет!..

Больно это писать.

Но, может быть, какой-нибудь великий литератор, заласканный славой, обремененный дифирамбами, уставший от народной любви, оглянется вокруг и увидит, что он в России – не один! Может, разглядит среди тычущихся в его бронзовую грудь маленьких слепых котят с пачками исписанных листов в лапках – свою возможность иметь право войти в будущее. Или долг свой – помочь им открыть глаза...

И если бронза непробиваема, то, может быть, слепым котяткам помогут эти письма?

Другой вопрос: был ли смысл? Есть ли толк? Будет ли прок?

Но это другой вопрос. И ответ – не сегодня.

Целую твою руку, Поэт.

Василий Овчинников

ЦЕНА ПРАВЕДНОГО СЛОВА

Одна неправда нам в убыток,
И только Правда –
Ко двору.

А. Т. Твардовский

Мой отец к писателям и их книгам относился как к учителям и собеседникам, с которыми можно советоваться, соглашаться, спорить.

Тогда в «Псковской правде» и в альманахе «На берегах Великой» печатались первые стихи Игоря Григорьева. Я узнал, что отец с ленинградским поэтом родом из одной деревни – Ситовичи, что под Порховом.

– Мы с ним босиком по одним тропкам бегали. Помни.

Отец был на два года старше поэта. Я запомнил...

В холодном январе 95-го на полуостров Крым, что в ближнем зарубежье, пришла международная бандероль. Две книжечки и письмо-записка от «земляка, однодеревенца и жихаря ситовского», как он сам надписал на одной из своих книг, Игоря Григорьева.

«1 января 1995 г., Псков.

Дорогой Владимир Васильевич!

Сердечно тебя и чад твоих с домочадцами и супругу твою, само собой, поздравляю с Новым Годом. От всей души желаю тебе творческих удач, душевного равновесия и благоденствия.

И да будет так!

Письмо твое получил. Спасибо. Мысли твои я разделяю целиком и полностью. Пусть новый год принесет нам ответ на вопрос: “Куда мы идем?”. И как из этого “куда” выходить будем?

У меня новостей нет. Болею.

Прими мои книжки. Поклон тебе сердечный.

Бывай здоров и ясен.

До встречи, на которую надеюсь.

Крепко обнимаю. С любовью *Игорь Григорьев*».

В доме не стало теплее, не потянуло меня на подвиги, не вдохновлялись перед вылетом поэтическими строками наши соколы-летчики – всего этого не было. Дом оставался таким же холодным, без угля, без газа, а часто и без света. Время «подвигов» к той поре уже прошло. Наступило время позора и развала. Российский гарнизон на Крымском аэродроме сидел без керосина и, соответственно, без полетов. Не ревели очистители ВПП и разогреваемые двигатели, лишь борей, разбежавшись от Новой Земли вдоль Урала, сдувал снег с заледенелой взлетной полосы.

В тот вечер, не пожалев остатков керосина, который потихоньку сливали с самолетов и толкали по дешевке штатским предприимчивые прапоры, я открыл одну из присланных мне книжек. «Кого люблю. *Посвященные стихотворения*». Когда пришла пора долить керосинцу, добрался до середины книжки и обнаружил стихотворение, посвященное «псковскому мальцу-огольцу», который, уехав далеко, увез с собой память о лесных стежках-дорожках, озерах, речушках и болотах, о соснах, елях и березах.

В комнате теплее не стало. Но душу согрело. Уже не так безнадежно воспринимался крик муэдзина, когда я поутру бежал на электричку.

До Крыма над эволюцией стиха Игоря Григорьева я не задумывался. Послеуниверситетская дань пролетарскому интернационализму – многочисленные переводы разбросаны по толстым журналам – осталась для меня неизвестной. С первых стихов в «Псковской правде», с первой книги «Родимые дали» в шестидесятом перед нами уже зрелый, широкий поэт. За плечами огромная школа жизни, война, университет, годы работы. И как творческие ориентиры – есенинская лирика, чувство долга перед теми, кто не дожил до Победы, история и судьба Родины. Со временем стихи становятся все более личными, все более и более шершавыми, шероховатыми, как будто даже неотделанными по сравнению с «доперестроечными» произведениями. Но на далеком, ставшем уже «не нашим» полуострове мне многое открылось. Маленькую, формата потайного кармана книжечку «Крутая дорога», в которую поэт отобрал все лучшее о судьбе, о Родине, посвятив ее сыну и внуку, я долго носил с собой.

Открывает книгу письмо сына поэта: «...Я хочу сказать отцу, что чем дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи. Я их часто перечитываю, многие из них для меня, как молитва. В них истинная боль и крик вещей русской души!».

Боль нельзя отредактировать и пригладить. Поэт не входил в образ, как артист, он был живым образом – подпольщиком, разведчиком, партизаном, русским человеком со всеми его достоинствами и недостатками. Жизнь одарила его в равной мере щедрой и трудной судьбой и ярким талантом. Он так же щедро тратил себя. Горел не-

ровно, иногда вспыхивал до боли ярко, но никогда «не коптил». В стандартные рамки не вписывался, раздражал. Посредственности, как властвующей, так и прислуживающей, пишущей, всегда кажется, что личность как-то не так распоряжается своим талантом: «Вот мог бы...». Заставить замолчать невозможно, уничтожить – нельзя. Поэта хранила судьба, его прошлое. Пытались подцепить на биографии, на вольном слове, оболгать, задвинуть или, наоборот, приблизить, купить, зацеловать. Не получалось.

Поэт не любил вспоминать не понявших и предавших друзей. Но в поэме «Вьюга» проговорился:

Мои собратья по перу
Не поделили псковской славы,
И я, доколе не умру,
Не позабуду той отравы.

.....
Мне делать нечего в дому –
Во Пскове нелюбезном стало,
И я, собравшись как попало,
Шагнул за дверь, надев суму.

Поэт был не из тех, кто дрался за место в жизни. Вернее, он дрался за жизнь, но только не для себя. Чиновником он не был по духу. Призвали – возглавил в шестьдесят седьмом Псковскую писательскую организацию. Как же, на земле Пушкина – и без своих писателей? Но лиру и должностное кресло никогда не путал. Первая – свята, вторым – не очень дорожил.

Вспоминаю первую встречу с ним. Конец девяностого. Перед отъездом на жительство в Крым я решил собрать все, что удастся, о своих корнях. Игорь Григорьев – последняя связь. Спросил о его судьбе у давнего товарища,

еще со времен учебы в институте, Ивана Иванова. Ваня писал стоящие стихи со школьных лет, но только в то время, годам к сорока, впервые решился представить их на суд читателей.

«Игорь Григорьев? Жив. Мой учитель, мой критик, мой редактор». Иван Васильевич и ввел меня в дом поэта. Земляка, вылитого Ваську Овчинникова, моего деда, поэт узнал сразу. А вот довоенную историю деревни Ситовичи он знал хуже меня.

Врукописи лежал стихотворение «Хутор» с эпиграфом-частушкой. Игорь и его младший брат Лева сначала жили с мамой где-то в районе Кингисеппа, потом – это уже отдельная история – братьям пришлось уехать к отцу в Плюсу. Там Игорь закончил школу, там они и встретили войну. Дальнейшее мне уже было известно из только что вышедшей книги о псковских чекистах «Испытание»...

Мой первый «визит вежливости» после знакомства и взаимной разминки-разведки превратился в вечер воспоминаний. Помню, как возвращался домой. Внутри зрело сознание, что прикоснулся к значительному. Хотелось, чтобы эта встреча не осталась единственной. Хотелось стать другом этого доброго дома. В заводской газете «Энергия» – тысяча экземпляров раз в неделю – появился очерк о поэте-земляке.

Игорь Николаевич воспринял его уж слишком неравнодушно:

– Ты первый, кто сумел понять меня с первого раза.

Я не стал говорить, что шел к поэту считай тридцать лет...

В редкие приезды на родину я шел в дом поэта, всегда открытый не только для меня.

– Игорь Николаевич!

– Зови меня просто Игорь!

– Что же вы не сказали, что и меня включили в число тех, «кого люблю»?

– Вот и узнал, читаешь ли ты мои стихи или просто, как некоторые, «иконостас» из книг собираешь.

Позднее, при чтении одного из ранних сборников Игоря Григорьева, мне показалось, что поэт «схитрил». Посвященное земляку стихотворение под названием «Местность» было написано много раньше встречи со мной и называлось «Отчизна». Но, разобрав вместе с дочерью построчно и первое, раннее, и второе, более позднее, стихотворения, мы пришли к согласному выводу, что это два разных произведения.

Поэт постоянно возвращался к написанному ранее. Отшлифовывал, дополнял, изменял. Менялось время, менялся автор, жили и изменялись его стихи. И мы сегодня можем взять в руки его книги разных лет и почувствовать время, судьбу, эволюцию чувства, взглядов на жизнь и творчество.

Обсуждали стихи и очерки, вошедшие в приуроченный к круглой дате сборник «Контрразведка» – твердый красный переплет, золото на обложке. Поэт уже «расскрепчен». Игорь Николаевич дополняет рассказ о том, как взяли оберста СД матерого разведчика Отто фон Коленбаха. Дерзость двадцатилетних мальчишек помогла провести операцию на уровне генштаба и без потерь.

Разведчик рассказывает, как отлавливали и переправляли в партизаны таких же мальчишек-полицаяв. Многие, если не большинство, не по своей воле надели немецкую форму. Выбор был невелик: или оstarбайтером в Германию, или... «шинель с повязкой, сапоги, винтовка, паек, велосипед и... девкам нравится». «Бывшие» хо-

рошо воевали в немецких сапогах и с немецкими винтовками. Ненавистные шинели меняли на ватники или партизанские полушубки. Но Родина после войны не простила «полицайское прошлое» немногих оставшихся в живых. Жестокость Игорь Николаевич объяснить и оправдать не мог и чувствовал себя в чем-то соучастником, обманщиком. В партию поэт не вступил, может, по этой причине?

О своих ранах-бедах находил силы говорить всегда с юмором. Вспоминал первое ранение, когда он, получив из немецкого пулемета пулю в «постыдное место», скакал от немцев на одной ноге до спасительных кустов. По нему стреляли, попадали, но слабые, уже на излете, автоматные пули только дырявили ватник.

- Игорь Николаевич! Как живы-то остались? Столько дырок, а вы еще и ползли после этого?

Уловил тень сомнения в моих словах:

- Да ты, оказывается, Фома, а не Володя! - Тут же задрал рубаху. - Считай!

На спине - глубокие шрамы.

- Ватник спас. Ну, что, штаны тоже спустить?

Было немного смешно, чуть-чуть стыдно и очень больно - болью сопереживания.

Что было после последнего ранения, Игорь Николаевич не помнит. Это случилось в феврале сорок четвертого. Дрались под Плюссой, уже вместе с наступающей армией, не пускали окруженных немцев на Гдов. Рядом разорвался снаряд, и партизан очнулся только в ленинградском госпитале. Осколок снаряда застрял в позвоночнике. Поэт стал инвалидом.

Садись за стол:

- Водку будешь? Мне нельзя, свое выпил, но для гостя

в доме всегда есть... Не пьешь? Впервые вижу скобаря, не пьющего на дармовщину. Чай пить будем.

В комнату иногда заходила Елена Николаевна Морозкина. Нас связывала, оказывается, давняя заочная дружба. Сам любитель потопать пешком, только познакомившись с автором, я наконец-то понял, в чем секрет успеха ее небольших книжечек-путеводителей. Все, о чем писалось, изучено, зарисовано в молодости, пройдено своими ногами. Это сейчас она кандидат наук и признанный поэт, исследователь и защитник русской старины, а когда-то была босоногой девчонкой, зенитчицей в войну (вспомним «А зори здесь тихие» Бориса Васильева), студенткой...

За стол присаживалась и мама поэта. Ангел-хранитель. И сына, и дома. Ушли из жизни мать и сын почти одновременно.

Последние годы поэт работал над прозой. Он хотел рассказать о тех, кто был рядом с ним в трудные годы и не дожил, оплатив жизнью своей послевоенный мир. Его двухтомник включили в издательский план. Поэт успел бы. Но стихи остались в отдельных книжках, а проза так и не была издана – государства не стало.

В строе том не признавал я многое,
В этом строе – отвергаю всё, –

безвременье и смуту поэт принять не мог. Он сам учил терпению, говорил, что все перемелется, но не пережил.

Последние книги свои, издававшиеся за счет автора и близких малыми тиражами уже в новые времена, дарил щедро тем, кто хотел и умел читать. Он сознавал, что так и недослышан, так и не понят своим народом. Боль, страдания – удел всех, вставших при жизни на путь пророка. От боли никуда не денешься. Боли не за себя, за Россию.

- Игорь Николаевич, случись снова стрелять – в кого?
- Только в себя...

Первое письмо случилось как-то нечаянно. Написал я его не в самом лучшем состоянии духа. Очень хотелось поддержки, мужского плеча, чтобы рядом был кто-то свой.

«Дорогой Игорь Николаевич!

Покой Ваш тревожит земляк ситовский Васька Овчинников. Дерзнул. Давно хотелось написать. Но то ли деликатность, то ли дурная стеснительность мешают. И жена говорит: “Зачем ты ему?”.

Я, наверное, как поздний ребенок. Вокруг всё всем ясно, а я всё ищущу. Свою идею. Свою философию. Свое слово. Своего бога. Не согласен с поэтом, сказавшим: “На свете счастья нет, но есть покой и воля”. Однако без ответа на вопросы извечные – “кто мы, откуда, куда идем?” – не хватит никакой воли, чтобы обеспечить душе покой. В одиночку искать очень трудно.

Вы для меня одни из немногих, о ком я не только вспоминаю, но с кем иногда и разговариваю. Полтора года, как в Крыму. Хорошо там, где нас нет. Везде свои сложности. Особенно здесь. Народ в массе более крученный, чем в нашем болотном Нечерноземье. Земля “обетованная”. Испокон веков тянет сюда людей энергичных, не всегда чистых. Национальный вопрос встал колом. Русские, украинцы, татары и... Выступают. Но, надеемся, до Карабаха не дойдет. Залог тому, как ни странно, многонациональность. В этом “котелке” любые две стороны готовы передрасться, но понимают, что третья стоит рядом с ложкой для снятия пенки, если варево закипит. Не дай Бог. Надеюсь, людям мозги даны, чтобы думать, а язык – чтобы су-

меть договариваться друг с другом. Но когда "кусочек тощим становится", уж больно много зверского из людей вылезит. Хуже люди не становятся; раз прет, значит это и раньше в нас сидело, только прятали глубоко. В этом смысле даже что-то вроде очищения происходит. Дерьмо всплывает на поверхность, пласт чище будет. Флотация в кипящем слое...

Но лучше о Вас. Игорь Николаевич! Дорогой. На ответ я не надеюсь. Не надо Ваше дорожное время на это тратить. Но, если подвернется случай, Вы с этим письмом познакомьте Ваню Иванова. Он меня к Вам первый раз привел. О нем я тоже вспоминаю. И пусть он мне ответит. С завода он ушел, и я его потерял из виду, как уехал.

Очень хотел бы знать, как с Вашей книгой. Прошло почти два года. Когда уезжал из Пскова, удалось купить два тома Льва Малякова – "Россияне", "Затяжная весна". Открывал, но не осилил. Претензия на эпопею. Для меня это сейчас не первоочередное. Стихи меньше времени берут и больше душу ранят. До сих пор как вспомню Вашу "Вьюгу", даже сыроватую, нет-нет да и открою книжечку с Вашей надписью... Искренность – главное. Сам пишу, в основном, только дневники. Печататься не собираюсь. Да и негде. После нескольких газетных статей стал персональной "нон грата". Дай Бог, детям прочитается. И нет совсем времени над фразой работать. Деньги на прокорм семьи добываются тяжело, хотя и начальник КБ на заводе. Натуральный продукт сами на участке выращиваем. Концы с концами сводятся с трудом. Как у Пушкина: "Пишу для себя, печатаю для денег" – не получается.

Доброго Вам здоровья, Игорь Николаевич. С любовью и уважением

В. Овчинников.

(Полу)остров Крым, 19.19.92».

«Псков, 2 марта 1993 г.

Дорогой Владимир Васильевич!

Спасибо тебе за весточку. Рад, что ты жив и здоров. И от всей души надеюсь, что жизнь будет жизнью, а не смертной тоской.

У меня новостей нет. Живу тихо и грустно. Последнее время и работать стал мало: все чего-то жду, а чего, и сам не ведаю.

Книга моя “Избранное” пока повисла в воздухе. Сейчас за нее надо несколько миллионов, и то с разными оговорками. Так что придется пока что переждать. Да не в книге и дело. Когда-нибудь, даст Бог, книга будет. Главное: написать бы что-либо стоящее! Но где оно, это стоящее? Бог весть!

Дома у меня все в порядке. Иван Васильевич у меня не бывает (как был когда-то с тобой, так больше и не показывался).

Думаешь ты, дорогой, “кто мы, откуда, куда идем?” ладно и надобно. И я думаю, и так же, как ты, не знаю ответа на эти огненные вопросы. Только думается и веруется: Россия не может не быть. Без нашей России, без нашей русской души, без нашей мученической веры в мире не будет ни любви, ни добра, ни надежды. Без нас, *русских*, и России нашей многострадальной апокалипсис: всему конец. Но так быть не может. Будет у нас еще Россия, будет непременно: ведь она и есть, только пока отпихнутая в сторону цапучими и загребущими лапами недочеловеков всех мастей и партий.

Так что слова Софии – Божьей Мудрости, ее дочери – Надежда, Вера и Любовь – с нами. И при монгольском иге они жили, не погасят их и теперешние басурманы.

О здоровье моем – не умер, как видишь. И то ладно.

Ты написал очень хорошее письмо, дорогой. Я разделяю твои тревоги о нашей Родине. Спасибо тебе за русскую душу твою. Передай мой привет супруге твоей. Всего доброго и светлого. Братски обнимаю тебя. Твой

Игорь Григорьев».

Игорь Николаевич живо интересовался происходящим. Газет и телевизора ему явно не хватало, да уж и очень предвзято в них подавались события. В редких письмах я как мог дополнял ущербную, часто намеренно искаженную происходившего вокруг нас и с нами. Нам в Крыму, иногда и не без оснований, казалось, что в России сильны деструктивные силы, «мутящие воду», желающие «жареного». Хорошо, когда ты творец или свидетель в истории, но плохо и больно, когда историю творят над тобой и дурно творят...

«Псков, 1 мая 1994 г.

Дорогой земляк мой.

Друг мой,

собрат мой по перу

Володя, свет Владимир Васильевич!

С Воскресением Христовым тебя и чад твоих с домочадцами!

Вновь перечитал твое письмо, жене дал прочитать. И сижу и думаю, ей-Богу, так: вот бы мне такую стройность мысли и такую точность слога! Мне бы такую способность убеждения! Словом, мне бы такой дар. (Поэт явно льстит мне. «Дара» и добрых сил не хватило. Свою «тихую» войну мы проиграли. – В. О.)

Спасибо за умное, светлое, поэтичное, трогательное, сердечное послание твое. Тронут и польщен. Трудно, до-

рогой, и тяжело, и муторно, и тошнехонько сейчас всем нам, русичам. Эх нас уделали-разделали!.. Только ведь все равно без России жизни в мире не быть, ибо Россия – душа. А жизнь не может загинуть ни за что ни про что. Будем и мы жить. Будет наша Россия! Будет! Будет! А пока надо терпеть и заниматься делом или хотя бы работой. Без работы человек рассыплется. А без людских дел земля зачахнет.

Столько всего было на нашей горемаятной и многострадальной Руси. И все прошло, хотя и не без следов, зачастую – страшных следов...

Да благословит Георгий Победоносец наше Отечество и нас, его воинов! Русь никогда не оскудевала воями – сынами и дочерями. Вот только куда идти, с кем, за кого? Бог весть! Скажем так: за нас, за землю нашу, за слово наше, за веру нашу.

Я совершенно согласен с мыслями и думами твоими и с задумками. Хочется верить, что мы еще пригодимся Отчизне, дорогой. А как же иначе? Кто же ей послужит верой и правдой, кровью и честью, жизнью и болью, если не мы – ее дети...

Сейчас я пришел из больницы. Три недели лежал с забарахлившей стреляной на войне ногой. Надо садиться за автобиографию для книжки моих стихов и поэм – “Избранное”. Статья должна быть где-то в пределах 120–150 страниц на машинке (можно и больше). Прописать жизнь мою, какова она была, без туфты. Пока что написано страниц 20–25. А стихи и поэмы почти собраны, их будет стихотворений – 250 и 4–5 поэм. Вся книга будет листов на 25 (печатных). Получается пока что, вроде, сносно. Но когда как: то кажется ничего, то – не ахти как. А время не терпит: надо торопиться, а то как бы не опоздать в послед-

ний вагон положенного живым поезда. Материал – и поэтический, стихи и поэмы, и житейский для автобиографии – есть. Этим и живу. Пишется когда как. Но пишется.

Дома у меня все в норме. 9 августа моя дочь Елена (жена сына) родила мне внука Василия – Василия Григорьева, так что моего полку прибыло, за что я несказанно благодарен судьбе. Сын Гриша сейчас в Иерусалиме (у Гроба Господня). В Россию вернется 11 мая.

Вот такие дела у меня.

И если бы не беда с Родиной, горя бы на душе не было. Но что есть, то есть.

Еще раз благодарю тебя за доброе письмо твое. Ты пиши. Обязательно пиши. В тебе сидит большой литератор, ей же ей, дорогой. Завидно большой литератор, большой гражданин и большой сын бедной нашей матери России.

Да благословит тебя Спаситель.

Передай мой сердечный привет милой супруге своей. И пусть у вас все будет ладно и складно.

Обнимаю тебя крепко, братски. Всегда твой, любящий тебя

Игорь Григорьев».

В феврале девяносто шестого до Крыма дошло очередное письмо, уже не от поэта, а о поэте. Вырезки из газет. Некролог, подписанный знакомыми именами. Стихи Игоря Григорьева, стихи друзей поэта. Девять дней, сорок дней...

Родину нельзя найти,
Можно только потерять!

В свое время Стефан Цвейг сказал: «Отечество там, где тебе позволяют быть отцом. Родина там, где тебя мать ро-

дила». Писателю-космополиту казалось, что он гражданин мира. Но когда чужой сапог растоптал его Австрию, ему не нашлось места на земле. В далекой Аргентине он написал свою последнюю книгу-завещание и сам ушел из жизни. «Вчерашний мир» – книга пронизана тревогой и болью, но все же удивительно живая, устремленная в завтра, книга для тех, кто будет жить.

«Родимые дали», «Зори да версты», «Не разлюблю», «Забота», затем «Красуха», «Жажда», «Стезя», «Жить будем!» и наконец «Вьюга», «Набат», «Боль», «Крутая дорога». Игорь Григорьев был русским. Патриотом. Родина и Отечество для него едины. Поэт всю жизнь шел очень крутой, жесткой дорогой, в непрестанной заботе о своей Родине – России. Не каждому дано было понимать и разделять ее боль.

«Человек я верующий,
русский, деревенский,
счастливый,
на все, что не против Совести,
готовый!
Чего еще?»

Он жил с открытой душой, дышал полной грудью и шел всегда прямо – в полный рост.

Решись: распутье – не распятье
И не проклятье –

напутствовал он внука и всех, кого любил на большом и нелегком пути жизни.

В декабре девяносто седьмого исполнилось тридцать лет Псковской писательской организации. В холодном

полупустом зале областной библиотеки говорили о тех, кто стоял у истоков, кто уже никогда не придет. Отдавали должное живым. Наш «самый читающий» народ, судя по заполненным читальным залам и очередям на абонементе, читать не разучился. Но к живому слову отношение настороженное – в зале всего десятка три гостей-читателей.

Говорилось о долге, боли, об ответственности за судьбу слова, народа, России. Писатель скажет свое слово, даже если нет пока у него читателя и слушателя.

После окончания выступлений получил приглашение от председателя местного союза писателей Олега Калкина. Встреча продолжилась в более тесном кругу в помещении писательской организации. Я не любитель застолий. Но в данном случае не смог уклониться. Присел поближе к выходу. Вспоминали заслуги и вклады, сожалели о расколе в писательской организации, но чувствовалась какая-то недосказанность. Уточнять причины раскола было неко времени и месту.

Рядом, у торца стола, сидела Елена Родченкова – одна из последних литературных крестниц Игоря Григорьева. Ее первую книжку стихов со своим редакторским предисловием-напутствием поэт надписал и подарил мне года три назад.

Сестра печали, день неожиданный мой,
Отрада лета – иволга певуча,
Без песни нечем жить тут: плачь, но пой,
Молчанием глухим души не муча...

Избрав свой путь, приняв от Бога лиру,
Страшись безверья, не ропщи напрасно,
Простосердечье пой. И станет ясно:
Ты есть на свете? Иль приснилась миру.

Вблизи поэтесса, в отличие от ее стихов, казалась уж слишком прагматичной и даже грубоватой. Может, это и естественно? В наше время – и роза без шипов?

Напротив – Светлана Васильевна Молева.

Маем ласковым горько обижена?
Кипень-платьем не бело-бела?
Что же ты закручинилась, вишенка,
От подружек в сторонку ушла?

Другу, жене, поэту, редактору своих книг Игорь Григорьев посвятил не только это стихотворение. Поделились воспоминаниями. На память о встрече Светлана Васильевна надписала мне свою книгу, записала в нее и номер телефона. Первая книжка сборника «Речь», где опубликовано начало ее исследования по нашей древнейшей письменности, указывала на серьезнейший пласт не только нашего прошлого, но и проблем сего дня. Прочитав «Слово об Ариях» – удивительную историю о расшифровке каменного письма наших далеких предков, увидел в авторе во многом единомышленника. Осмелился представить на суд записки об Игоре Григорьеве. Недели через две позвонил. В выходной встреча состоялась. Светлана Васильевна не стала оставлять рукопись у себя. Расположились на кухне. Мою неискусную рукопись читали с явным интересом, обсуждали и тут же правили. Часа через три в начатой пачке сигарет заметно убавилось, что меня, некурящего, слегка шокировало, но рукопись была прочитана, карандашные поправки изменили ее, и не к худшему. Про себя я не мог не отметить удивительный такт, чувство меры, точности и красоты слова. Поговорили. Светлана Васильевна показала вырезку из газеты – свою статью об Игоре Григорьеве, напечатанную год назад. Я увидел, что не повторяюсь. Пора было и уходить. Поблагода-

рил за редактирование. «Это не редактирование, это только первое чтение», – услышал в ответ.

Стихотворение Валентина Краснопевцева об Игоре Григорьеве, случайно прочитанное в газете, лишний раз укрепило меня в уверенности, что я не зря теряю время. Все будет востребовано...

Стремление разобраться в судьбе земляка, и как поэта и чисто человечески, заставляет искать, читать, сопоставлять и сравнивать. Расширяется круг и литературных знакомств.

Январь девяносто восьмого. В читальном зале городской библиотеки на улице Конной свободных мест нет. Памяти поэта, которого уже два года нет с нами, посвящен вечер клуба любителей поэзии «Лиры».

В «Лиры» я познакомился со Львом Ивановичем Маляковым.

Стихи Льва Малякова мне нравятся. Несколько раз пытался читать и прозу, но далеко не продвинулся. В крымской суеде показалось: очередной «деревенщик», пусть талантливый, псковский, свой, но припоздалый. Двухтомник так и пропутешествовал в моей библиотеке сначала в Крым, затем обратно до Пскова непрочитанным. Со Львом Ивановичем, который директорствовал в лицее по соседству с моим новым псковским местожительством, заставили встретиться невыясненные обстоятельства по Игорю Григорьеву. Дружбы не получилось. Очень мы разные. Да и осторожен Лев Иванович. Но многое он прояснил: «Почему в открытую не заступился, когда возник вопрос в писательской организации в далеком семьдесят шестом? Я с ним в разведку уже потом ходил, в партизанах. А до этого, в немецкой комендатуре, меня с ним рядом не было. Да и времена... Вы моложе, и вам трудно даже представить, как

все это было. Поэт Игорь настоящий, большой. Администратор? Никакой...».

После памятного разговора я дал себе слово, что в следующий раз встречу со Львом Ивановичем, только прочитав все, написанное им. Но начал не с томов путешественников. К тому времени вышла еще одна книга прозы Льва Малякова – роман о жизни и тяжелой, часто непереносимой борьбе за жизнь на оккупированной Псковщине – родине главного героя, в Полновском и Гдовском районах – «Страдальцы». Книга автобиографическая, автор без труда узнается в главном герое Леньке Мужанове. Игорь Григорьев – под своим именем. Книга правдивая и искренняя, действительно о пережитом и выстраданном, больше о трагическом, чем о героическом. Автор стал знаком и близок уже не только как поэт. Бывает так: поймешь и примешь как данность.

В то время я работал мастером наладчиком в издательстве «Курсив». Должность техническая, но близость к печатному станку и простые отношения, сложившиеся в неплохой команде журналистов, позволяли и мне время от времени кое-что печатать на страницах «Вечернего Пскова». Удалось поместить в газете и небольшой очерк об Игоре Григорьеве. Осенью девяносто восьмого, к семидесятипятилетию поэта, знавшие и любившие его задумали издать книгу его избранного. Августовский кризис поставил издательство на грань банкротства, казалось бы, не до книги. Заявлено было триста экземпляров, сделали еще меньше. Работали по-русски, аврально, но успели вовремя. Книги, прямо с офсетной машины только что проклеенные и обрезанные, были в тот же день розданы на торжественном вечере, посвященном памяти поэта. Теперь его, которого не очень-то жаловала при жизни власть и

предпочитала не замечать критика, можно было и «канонизировать».

Елена Николаевна Морозкина. Она после смерти Игоря Григорьева покинула опустевшую квартиру, живет в Москве, но на вечер приехала. Последний раз мы встречались года три назад. Разговаривая с живой и, несмотря на пережитое, молодо выглядящей женщиной, я всегда обнадеживал и себя: умного и стремящегося быть добрым человека время щадит. Но в этот раз на сцену поднялась сторбленная, совершенно седая старушка. Ее выступление было ярким и точным; память стариков очень цепко держит моменты былого, но когда я к ней подошел, то с сожалением отметил: она меня не узнала.

Григорий Григорьев. Имя сына, военно-морского врача, кандидата медицины, упоминал Игорь Николаевич с гордостью, иногда с чуть проскальзывавшей виноватинкой. Надписывая мне в подарок книгу Глеба Горбовского «Исповедь алкоголика» – небольшая брошюра, но с сильным и добрым зарядом, упомянул, что вышла книга при содействии фонда сына. В первую субботу каждого месяца доктор Григорьев принимает людей, желающих избавиться от недуга алкоголизма, в псковском медицинском училище. Хотел подойти, познакомиться, но Виктор Васильев – «Торопчанин», тоже поэтический «крестник» Игоря Григорьева и, как сам рекомендуется близким, бывший алкоголик уже с большим стажем воздержания, а по совместительству сотрудник в псковском центре Григория Григорьева, – отсоветовал: «Больно вы разные, не поймет он тебя».

Во время антракта на вечере я раздавал газету «Вечерний Псков» со страничкой, посвященной Игорю Григорьеву. Предложил газету и Григорию Игоревичу. Сын оказался непохожим на отца: борода, рост не тот, да и ма-

неры не столь непосредственные. Газету с моим очерком он взял, но приглашения к знакомству в его глазах я не прочитал.

А вот с мамой Григория Григорьева и ее учениками разговор состоялся, неспешный и обстоятельный. Директор Пушкинского лицея привезла из Петербурга целый автобус своих талантливых воспитанников, украсивших выступлениями вечер. Сложно складывались отношения поэта с женщинами, которых он любил, при жизни, но в воспоминаниях ни от одной из них я не услышал ни ревнивого слова, ни обиды, ни упрёка. Благодарная человеческая память добрых людей хранит только хорошее.

25 июля 2000 года, в день города Пскова, на доме Игоря Григорьева была открыта мемориальная доска.

То ли до, то ли после этого события, уже и не важно, забежал в читальный зал городской библиотеки. На выставке роскошный, дорогой, толстый том – «Русская поэзия. XX век. Антология» (Москва, Олма-Пресс, 1999). С претензией. Полистал с пристрастием. Открывается Буниным, не многие из русских писателей стали Нобелевскими лауреатами, закрывается автором небезызвестного хита «Когда качаются фонарики ночные...» – Глебом Горбовским: «У России есть Пушкин. Пушкин есть у России...». Сильно и приятно. Пусть и петербургский, но корни-то здешние. Игоря Григорьева нет. Из земляков, псковских современников, больше никого... Внутри шевельнулось нечто, похожее на обиду. Шевельнулось, но разум тут же угасил дурное чувство.

Не суетное смутное безвременье определит цену слова поэта. Да и меня занимает не столько пока до конца не разрешенный вопрос о месте Игоря Григорьева в великой русской литературе. Я пишу о месте земляка – Поэта, Гражданина – в моей жизни.

Поэт ушел. Боль осталась.

Темное и невежественное легко находит друг друга в борьбе за суетное. Темное, воинственное, но нежизненное, может быть, и сбивается в стаю, как грязь в водовороте, из-за неосознанного страха-страсти. Светлому и доброму необходим период разумного осознания, иногда болезненный и долгий, идеи, пути, судьбы, дела. И на уровне личности поэта, и на уровне народа. Нам не надо искать «новое слово». Уже многое сказано. Нам только надо прислушаться к словам совестливых пророков своих.

«Одно слово правды весь мир перетянет», – сказано Александром Солженицыным еще во времена вермонтского затворничества в напутствии России, озаглавленном «Жить не по лжи». Согласен, но это при условии, что слово будет понято и принято народом нашим.

Будет. «В начале было Слово...»

Симферополь, 1996. Псков, 2001

Валентин Краснопевцев

* * *

То ли утром, а может, вечером
(Не упомнится издалека)
По участию человечьему
Резанула меня тоска.

Что бесплатное понимание,
Без процентов добро займы
И простое даже внимание,
К коему не приучены мы.

А ответом – душа нараспашку,
И прямой, без утаек, взгляд,
И последнюю с тела рубашку –
Вместе с кожей живой – напрокат.

Может, утром, а может, вечером,
Словно в липком кошмарном сне,
«Если не для кого, то и не для чего», –
Безнадежно подумалось мне.

Вадим Зверев

ДАР ЖИЗНЕЛЮБИЯ

Что бы мы ни говорили об Игоре Николаевиче Григорьеве – человеке, поэте, гражданине, – все это будет пусть и верной, но только частью той истины, того явления, каковое он представляет.

Впервые о нем я услышал лет десять тому назад от его сына. В ответ на мою просьбу рассказать об отце Григорий лаконично сообщил, что отец живет во Пскове, занимается литературой, пишет стихи. В моем воображении предстал образ пожилого, строгого во всем, от одежды до манеры общения с людьми, сдержанного, замкнутого кабинетного человека, ведущего размеренную спокойную жизнь, ограниченную рамками бытовых потребностей. Однако вскоре состоялась встреча с ним. Немало лет прошло с тех пор, но как будто это случилось вчера – таковым было потрясение от знакомства с этим поразительно самобытным человеком. В моей некороткой жизни приходилось общаться с разными людьми, талантливыми и оригинальными, но такого человека видеть не доводилось. До сего времени я ловлю себя на том, что, сколько бы я ни пытался, и тогда и сейчас, воспринять Игора Николаевича своим разумением и сердцем, не в состоянии охватить всех сторон и глубин его существа. Что-то остается на уровне интуиции, подсознания и не находит словесного воплощения. Огромный заряд энергии, живость, напо-

ристость, свежесть его мысли были покоряющими, произвольно пробуждали и вызывали к жизни весь личностный потенциал собеседника, оказывали воспламеняющее воздействие. Это было тем более неожиданным и поразительным, что совершенно не соответствовало физическому здоровью Игоря Николаевича, состоянию его израненного на войне, где «у жизни мал лимит, зато у смерти бланки в торбе», изрезанного при хирургических операциях многотрадального тела, противоречило его тяжким хроническим недугам.

Кипучая душевная сила, ясность, открытость чувств сочетались в нем с мудростью и добротой («Ни обиды на сердце, ни боли, тихий свет – от земли до небес»). Он привлекал к себе искренностью, естественностью и душевностью, что выделяло его даже среди других неплохих и талантливых людей. В нем был дар Божий, иначе не скажешь. Игорь Николаевич нес в себе светлый эмоциональный заряд, вселяя в людей оптимизм и жизнеутверждение: «Тревожься, негодууй, но не вздыхай, иди себе и, что дойдешь, – уверуй». А насколько великолепны юмор («Михей стоял – без малахая, зато с наганом на боку»), озорство («И, захмелея от свиста, пускаешься в майский загул», «И я спшибаю с петель дверь»), образность его поэзии («И тишина была нагой, но полной трепета и звени»)! В центре поэтических раздумий поэта – простой русский человек, дух и участь которого так преломляются в сознании и в сердце поэта: «На этих совестливых душах – вся тяжесть русского креста». И он сам был самою совестью, обнаженной и чистой. Поэзия Игоря Николаевича высоко художественна, глубока по содержанию, пронизана любовью к родной земле, что ставит его поэтическое наследие на уровень национального достояния. А лиричность и свет, излучаемые

ею, пронизывают читателя до мозга костей («Я лирикой болен, мне сердце беречь не дано»).

Душа Игоря Николаевича – старателя о правде и достоинстве – не переставала болезновать за Отечество, его настоящее и будущее. «В жизни и в поэзии я не мыслю себя без России», – справедливо говорил о себе поэт. Богатство русской души, ее неповторимость были предметом его восхищения и прославления в стихах и, надо сказать, нашли яркое воплощение в нем самом.

Вспоминая Игоря Николаевича, невозможно не сказать и о том, что этот гремящий и звенящий эмоциональной заряженностью, бескомпромиссный человек был тонок, восприимчив, впечатлителен, раним. Трогательно это было видеть... Так же, как и то, насколько бережно и с какой отеческой любовью он относился к начинающим поэтам, особенно когда находил в них искорку таланта. Кто еще способен так сказать о молодой поэтессе: «Тешпинка мая, иволга певуча»! Он гордился открывающимися талантами, жил их заботами, наставлял, опекал, воздвигал их поэтический дар, помогал им материально, сколько мог.

Портрет Игоря Николаевича (я понимаю, что здесь только штрихи к нему) будет односторонен, если не отметить его твердость, решительность, жесткость вплоть до жертвенности, готовность, в конце концов, к драке, когда это требовалось. А требовалось это, когда что-то было против его души и совести. «Живой, крутой, на дело годный», – верно писал он о себе. Он не всегда был праведником по укладу своего быта, но всегда оставался честным и правдивым и, завершая свой жизненный путь, пришел к полному примирению с Богом; душа его отошла ко Господу. Покоен и светел был посмертный лик поэта, чему я свидетель.

Для нас несомненно, что творчество Игоря Николаевича – это большая поэзия, поэзия есенинского масштаба, глубина, красота и значимость которой еще не осознана обществом и не раскрыта в полной мере. Она сродни духу и таланту поэзии А. К. Толстого, Тютчева, Майкова, но в то же время неповторима и первична. Она ждет своего времени, которое придет вместе с возрождением Отечества. И память об Игоре Николаевиче Григорьеве наполняет душу светом и теплом.

Виталий Федоров

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ БОЛЬЮ

В голове не укладывается, что физически его уже нет. Что ноги его не ступают ни по российской, ни по белорусской земле. Их Игорь Григорьев воспринимал как единое целое.

Да и не могло быть иначе! Отец Игоря Григорьева – боевой офицер царской армии в Первой мировой войне, Георгиевский кавалер Николай Григорьев. Его тесть – участник Второй мировой Василий Захаров – обосновался и выстроил дом в белорусском райцентре Городок Витебской области. Здесь учился, заканчивал десятилетку сын поэта, ныне известный в России ученый-медик, директор Международного института по изучению резервных возможностей человека Григорий Григорьев. Проще говоря, судьбы всех Григорьевых, подобно корням деревьев в лесу, слились и сплелись с судьбами многих россиян и белорусов.

По меркам выдающейся личности, поэт и воин, достойный сын двух народов, оставил после себя могучее духовное наследство – свыше двух десятков книг, изданных, главным образом, в самых солидных государственных издательствах Москвы и Ленинграда. А еще – в Пскове, который стал для Игоря Григорьева своеобразным согревающим душу костром на вечере жизни. Подобно сердцу Данко, григорьевское наследство продолжает нести свет и тепло гордым за такого своего сына народам-братьям.

Игорь Григорьев был известен в самых высоких литературных кругах послевоенной поры. Уже тогда стало крылатым изречение хрестоматийной писательницы Веры Пановой: «Кто бы мог подумать, что этот “кавалерист” на псковском коньке въедет в русскую поэзию?».

Между тем путь этот легким никак не назовешь. Скорее мученическим. Неоспоримо большого поэта долго замалчивали, а почестями и вовсе обходили. Таков, увы, удел большинства неординарных талантов и гениев при их жизни. Нечто вроде креста, с которым они восходят на «творческую Голгофу». А иного пути они не приемлют.

Вот и Игорь Григорьев в неполные восемнадцать лет стал партизаном на Псковской земле. Здесь руководил подпольем в поселке Плюсса, группой разведки в немецком тылу. Не прятался за спины боевых друзей, не шкурничал и был четырежды ранен. По самой полной программе будущий известный русский поэт внес свой вклад в разгром врага на опаснейшем участке, на самой передовой битвы – в составе бригадной разведки 6-й Ленинградской партизанской бригады.

Неверно, что, когда пушки стреляют, музы молчат. С первых дней войны и до ее победного завершения поэт-воин написал множество замечательных стихотворений. Причем не только военных, но и глубоко лирических, задушевных, песенных. Многие из них как бы звучат в унисон с есенинскими ритмами, рифмами, мелодией. Но это – не эпигонство, не жалкая подражательность, а нечто пророчески-промыслительное в плане продолжения есенинских традиций.

Известный литературный критик из Санкт-Петербурга Владислав Шошин в 1995 году отметил следующее: «Семьдесят пять лет тому назад Сергей Есенин горевал: “Я по-

следний поэт деревни...”. Однако время доказало: Сергей Есенин – не последний, но доньше первый поэт и не только деревни – Руси. Первый! Но не единственный. Есть и другие. И среди них – “поэт последней деревни” Игорь Григорьев».

Четверть века Игорь Григорьев сам жил в бывшем Ленинграде. И вдруг в 1967 году, имея литературную известность, неплохое по советским меркам материальное состояние, уезжает насовсем в Псков. Многие его тогда не поняли и даже злословили, что Григорьев «чудит» и «с жиру бесится». Пророчили, что через годик-другой снова укатит в северную столицу. А он никому не подыгрывал и ничьих прогнозов не оправдал. В Пскове Игорь Григорьев создает писательскую организацию, первым избирается председателем ее правления.

Как ни странно, но в Пскове признанный во всей России поэт не был любимцем ни у партийного начальства, ни у литературной критики. А ведь уже тогда он был автором таких поэтических книг, как «Родимые дали» (Лениздат, 1960), «Зори да версты» (Москва-Ленинград, «Советский писатель», 1962), «Листобой» (Москва, «Молодая гвардия», 1962), «Сердце и меч» (Москва, Воениздат, 1965), «Горькие яблоки» (Лениздат, 1966)...

Почему так? Объяснение достаточно простое. Как поэт милостию Божией, Игорь Григорьев служил, а не прислуживал. Служил народу и Отечеству, а не временщикам. Всегда и везде. При этом не вписывался всем своим творчеством в «железобетонную стену» социалистического реализма.

Невероятно, но факт: еще в 1947 году, когда проза и поэзия захлебывались от лжепатриотической трескотни, в строках Григорьева выливалось чистое, светлое и земное:

Я иду через покосы
Прямиком.
Я иду, простоволосый,
Далеко.
А вокруг меня давнишня
Родня:
Бусы свешивает вишенью
С плетня.
Над колодцем – долговязый
Журавель.
При дороге дремлют вязы,
Вьется хмель.
Утро искры горстью мечет
На пруду...
Ничего, что мне далече,
– Я иду.

Осмысливая эти простые искренние слова, начинаешь понимать, почему спустя два десятилетия после их написания поэт оставил северную столицу России. Да, его неудержимо, генетически тянуло в те места, где прошло детство, короткая юность, опаленная войной, где он защищал этот колодец долговязый, пруд, реки и деревья – все, чем живет и дышит всякий нормальный человек. И вовсе не случайно после «псковской прописки» поэт выплеснул многократно обдуманное и выстраданное:

Когда мы жизнью наиграемся –
Натешимся,
Намаемся до дна,
Тогда мы жить
засобираемся,
Как будто нам вторая
жизнь дана.

Продолжением такого же выстраданного и личного воспринимаются строки стихотворения «Блудный сын»:

По разным чужбинам шатался –
Скобарь шантрапе ль побратим?
Измучился. Родине сдался.
И, пленный навек, победил.

Пред этим обиженным домом
Я плачу. Я снова рожден.
И пахнет знакомым-знакомым:
Поземом да вешним дождем.

Обнаженная, как нерв, искренность. Словно для автобиографии, Игорь Григорьев однажды написал в прозе красивым каллиграфическим почерком учителя русской словесности: «Человек я верующий, русский, деревенский, счастливый, на все, что не против Совести, готовый! Чего еще?».

Как нам не хватает сегодня этих доступных каждому, но редко кем исполняемых нравственных качеств! У покинувшего сей суетный мир замечательного русского поэта Игоря Григорьева Совесть как высшая святыня имела начертание с большой буквы.

Наталья Советная

ГОРЕВОЙ ЦВЕТОК РОССИИ

А мне было легко, потому, что было и есть у меня три матери: первая – Богородица – Царица Небесная, вторая – Родина – Россия чудесная, а третья – это моя матушка родная Мария Васильевна – прелестная.

Игорь Григорьев

Всякому, впервые попавшему в храм Господень – в церковь, наверное, знакомо чувство Встречи. Вдруг замирает дыхание, к горлу подкатывает «комоч», громко стучит сердце, влажнеют глаза: «Я – дома, Отец!». Нисколько не преувеличивая, беру на себя смелость говорить о схожести испытанных ощущений с моим состоянием во время встреч с Игорем Григорьевым. Мне всё время казалось, что я вижу и слышу родного отца. Значительно позднее поняла: Игорь Николаевич был настолько православно-РУССКИМ, что душа тянулась к нему, как к Совести, как к Свету.

«Однако буквально сразу же мои глаза были прикованы одним лицом – да нет, скорее ликом: сей лик и впрямь словно с иконы сошёл. То был облик, с одной стороны, принадлежащий типичному псковскому крестьянину – из той нашей глубинки, которой в давние столетия не коснулись никакие восточные нашествия. Прямой, крупный, “скобарско-чудской нос”, темновато-русые, с лёгким

“льняным” отливом и очень густые волосы, – они у него до последних дней такими оставались, не редели, и седина их, казалось, почти не трогала... А с другой – это лицо отличалось столь резкой неповторимостью, что в любом многолюдье таких же наших земляков из глубинки он сразу выделялся. Уже значительно позже я понял: выделяла его жёсткая печать перенесённых болей и страданий. Она виделась во всём – и в глубоких морщинах впалых щёк, и в суровом взоре донельзя – ну, поверьте, просто невероятно синих глаз. Их синева сияла даже ночью... Словом, этот воин – а он никем иным не мог выглядеть в своей гимнастёрке, хоть и без погон, но с орденом и медалями, – так поразил моё воображение, что даже его младший товарищ по поэзии и по партизанским боям Лев Маляков, смотревшийся в те годы истинным Лелем, не столь поразил моё воображение своим обликом...» – такие впечатления о первой встрече с Игорем Николаевичем Григорьевым в мае 1960 года остались и в памяти известного писателя, переводчика, публициста Станислава Александровича Золотцева¹.

При жизни поэта его имя не было широко известно, хотя литературные критики сравнивали Григорьева с Николаем Рубцовым и Сергеем Есениным, а лучшие его произведения называли «жемчужинами русской поэзии». О его творчестве писали Владислав Шошин, Вера Панова, Станислав Золотцев, Аркадий Эльяшевич, Вячеслав Кузнецов. Виктор Астафьев называл Григорьева «чистоголосым поэтом», а Алексей Полишкарлов посвятил ему поэму «Слово о капитане Игоре». И всё-таки творческое наследие талантливейшего, истинно русского Поэта было недо-

¹ Золотцев С. А. «Зажги выюгу!». Псков, 2007. С. 14–15.

оценено современниками. Может быть, потому, что большое видится на расстоянии?

«Моей души беда и честь»

Игорь Николаевич родился в деревне Ситовичи Порховского района, Псковской области, 17 августа 1923 года. Непритязательна Псковщина, не бросается в глаза спокойная, неяркая её краса. Небогата земля – глина, песок да суглинок, скромна, однако любезна, гостеприимна, приветлива. Именно эту землю так неподдельно искренно, по-сыновьи нежно, по-русски преданно полюбил навек её певец.

Моё родимое селенье,
Тебя уж нет,
Да всё ты есть, –
Волненье, тяга, повеленье,
Моей души беда и честь.
Вон там, за сонным косогором,
Вдали от зла и суеты,
Окружено былинным бором,
Дышало ты,
Стояло ты –
Всего житья-бытья основа,
Поклон вам,
Отчие кресты...

(«Ситовичи»)

Псковские былинные леса, не ведая границ, покрывают север соседней Беларуси, озёра и реки, начинаясь на одной территории, заканчиваются на другой. Равнинные просторы, весёлые холмы и пригорки похожи, словно родные братья. Как похожи и переплелись наши горе и радости, наши судьбы и жизнь. Без России поэт не мыс-

лил существования, белорусской землей был очарован, любил по-братски, как, впрочем, любил и Украину – никогда не делил людей по национальному признаку. Своим другом он, ненавидящий фашизм, считал полунемца-полусловака Десое, который учил его стихосложению, поэзии и не выдал, случайно узнав, что комендантский переводчик Эгон – русский разведчик Игорь Григорьев.

Вольная псковская земля, русская деревня с её щедрым, неунывающим, работающим народом наделили поэта извечными духовными сокровищами: любовью, верой, всепрощением.

При тропинке безымянной –
Куст сирени.
Под кипреем над поляной –
Три ступени.
Три ступени в чистом поле –
Как три лика:
Ни злой памяти, ни боли,
Ни полкрика.
Светят, никнут, лютуют травы
У погоста:
Ни тоски, ни месть-отравы –
Время роста.
Не польнь – медынь и сладость
Обрученья.
Забутье, любовь и радость –
Всепрощенье...

Хутор деда Гриши (Григория Дмитриевича) стоял в полуверсте от деревни Ситовичи, на краю леса, который имел прозвание Клин. Поэт, вспоминая детство и дедов пятистенки, называл дом дряхлым, похожим на гумно. Видимо, досталось хутору в 20–30-е годы прошлого столетия, не берегли последующие:

Гришин хутор, хутор Гришин,
Обездворен, обескрышен,
Слёзы льёт у старых вишен.
Лью и я, да хоть залейся,
Хоть о дедов рай разбейся,
Не воскреснет, не найдётся,
Не воспрянет. Зряшны стоны,
Зло плодит свои законы:
На растопку свят-иконы!
Ошалели лжевладыки:
На костёр – святые книги!
На дрова – дворы и риги!
.....
Полегли ужель напрасно?..
Всё кругом от крови красно,
Завтра «светлое» ненастно.
Дело делать бесполезно:
Руки связаны железно.
Руки! Русь! Россия!.. Бездна?

(«Хутор»)

Отец Игоря Григорьева – Николай Григорьевич – пол-
ный георгиевский кавалер Первой мировой войны, ко-
торую начал унтер-офицером, а закончил командиром
роты сапёров, был участником Брусиловского прорыва,
любимцем генерала. А ещё он был крестьянским поэтом,
в 1916 году в Варшаве вышел его первый сборник. Игорь,
видимо, по наследству вобравший поэтический дух своего
отца, посвятил ему стихотворение «Берёзовый сок»:

Мой родитель – чудила-поэт,
Песен целую торбу сложил:
Что плакатов извёл на куплет,
Что исчиркал свекольных чернил!..
.....

Берестяный корец подносил,
Приговаривал: – Сбылось, сынок:
Набирайся терпенья и сил,
Из пригорка родимого сок! –
С чуда-сока взмывал я, удал,
Не буйан, да на песню не тих;
И коня – в партизанах – седлал,
И ретивый оседлывал стих...
Славный отче мой, время горит:
Стал я старше тебя – твой юнец.
Но безмолвствует Муза... навзрыд.
Мне бы соку с пригорка корец!

Матушку, Марию Васильевну Лаврикову, Игорь Николаевич любил нежно, лелеял, берёт до последних дней. Даже собственную смерть просил подождать: негоже сыну уходить раньше, причинять боль матери, которая и без того приняла её с лихвой, потеряв многих близких, а младшего сына Льва ещё в войну.

«Извещаем...
за Отечество...
с врагами...» –
В чёрной окаёмке
Пять казённых строк.
Заходила ходуном божница,
Закачалось под ногами,
Надавил на темя горбатый потолок...

Отдышалась. Встрепенулась.
Пестерёк внесла с придела:
Сдунула солинку с распашонки,
Расчесала русый завиток.
Тихая, как виноватая, глядела –
Ни проклятья, ни полстона. Видит Бог!

А кругом плясал, гудел зелёный пламень,
Бил огонь оледенелый:
Всё – в лицо, в лицо, в лицо.
Почтальонка ей:
– Поплачь – душа не камень... –
А она соседок проводила на крыльцо.
Вышла за калитку, огляделась:
Всё как было –
Грозовеет небо, сиротеет поле...
И, скупых не пряча слёз,
Сухонькой рукой
Бумажку стопудовую сложила:
– Будет, бабоньки: развиднело –
Пора на сенокос!

(«Мать»)

Последние годы жила Мария Васильевна с сыном Игорем в его псковской квартире, где всегда было многолюдно от друзей, писателей, поэтов. Она выбегала из своей комнатки на стук входной двери с неизменно радостной улыбкой, заглядывала в глаза, привечала каждого гостя, словно родного человека. Только что не приговаривала, как святой Серафим Саровский: «Радость моя!». Редкое качество в наше время – способность радоваться людям, тем более удивительное, что мать поэта сохранила его до весьма преклонных лет.

В 90-х годах мне посчастливилось неоднократно бывать в доме поэта. Мария Васильевна запомнилась именно такой. Да и могла ли быть мама Игоря Николаевича другой?

Мальцом Игорь пропадал в лесу и на речках: Гусачке, Веретенке, – ловил решетом вьюнов и гольцов, на Узу бегал за раками...

Под вечер в субботу у нашей вагаги,
Конечно, на Узу маршрут.
- Ура! Отлиняли клешнятые раки
И в рачницы рысью попрут...
(Поэма «Стезя»)

За щуками ходил вместе с отцом – зарабатывать на жизнь. Николай Григорьевич непорядка и неповоротливости не терпел – наказывал, но не сразу, потому понять: за что? – не всегда было просто.

Однажды (случилось после войны) отец сам не успел подхватить подсачиком – упустил щуку, которую тянул сын. Тот, расстроенный, нарушив иерархию, сгоряча приказал старшему Григорьеву из лодки вылезать. Николай Григорьевич промолчал, стерпел...

Вскоре удалось вытащить крупную рыбину. Да и остальной улов оказался неплох. На берегу рыбаки разожгли костёр, достали припасённые продукты. Об истории с подсачиком, казалось, было забыто.

- Погодь-ка, сынок, должок надо отдать, – прервал на полуслове Николай Григорьевич Игоря и неожиданно залепил ему подзатыльник.

- За что?.. – удивление, возмущение смешались в голове. – Почему не тогда, не сразу?

- А глаза у тебя были такие... зелёные!

Отец рано научил Игоря охотиться, в 14 лет подарил настоящее ружьё и собаку – прекрасного гончара Полаза. Забавы детства стали увлечением на всю жизнь, пока позволяло здоровье.

Пятилетним, выучившись читать, будущий поэт прочёл в случайной книжке первое стихотворение – образ

светящегося сквозь листву неба, просветы которого, «как оконца», поразил его. На следующий день мальчик сочинил про милую речку и хмурую тётку: «Речка милая моя, / Без тебя, как без рук я! / Ольга рыжа, что лиса, / На носу два колеса...».

С того и пошло.

Тишь-теплынь усердная –
Снеготай.
Субботея вербная –
Скоро май.
Выси разгорожены –
До звезды.
Тропки и дорожины –
Без узды:
Никого не спрашивают,
Где гулять.
Мысли прихорашиваются
В благодать.
Рощица-берёзица
Спит. Молчок.
И в воде от месяца –
Большачок.

(«Вешняя ночь». 1940)

Однако первые опубликованные лирические наброски появились только 2 сентября 1956 года, в «Псковской правде». Поэт искренне радовался этому событию, сравнивая его с первым поцелуем любимой.

Будучи студентом пятого курса филфака Ленинградского университета Григорьев поехал во Псков, чтобы пройти обязательную медицинскую комиссию как инвалид Великой Отечественной войны (четырежды тяжело ранен, две контузии). В то время медикам была дана не-

гласная установка: «снимать» или снижать инвалидность на одну группу. Когда очередь дошла до Игоря, врач спросил, кем тот хочет работать после защиты диплома. И услышал: «Поэтом!» – «Кем?!» – не поверил доктор. «Поэтом!» – твёрдо повторил Григорьев.

«Всерьёз думать о стихах – не без влияния отца... – стал с 1940 года. А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим существом. Люблю её! И ни на что не променял бы!» – писал Игорь Николаевич в предисловии к одной из своих книг ¹.

Инвалидность ему не сняли, напротив, вместо третьей группы дали вторую. Пенсия, на которую студент жил с семьёй, для него значила много.

Годы спустя Григорьев встретил во Пскове того доктора и доложил:

– Поэтом я всё-таки стал!

«Горит вьюга!»

Великая Отечественная война застала Игоря семнадцатилетним пареньком на родной Псковщине. Вместе с братом Львом он попытался уйти в Ленинград, к матери, оставшейся в Ораниенбауме. Но под Лугой вражеский патруль задержал их. Выручило знание немецкого языка, которым старший брат хорошо владел, выучившись у немца-коммуниста, бежавшего в 30-х годах из фашистской Германии и осевшего в их деревне. Игорь сочинил, что болен дизентерией. Фашисты поверили и отпустили ребят. Пришлось вернуться в дом к отцу, где летом братья жили вместе с сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в деревню Тушиново, что в трёх верстах от Плюссы.

¹ Григорьев И. Н. О себе // Григорьев И. Н. Вьюга: Поэма. Л., 1990. С. 5.

А через два месяца, в свой день рождения, Игорь вместе с друзьями – Борисом Воронковым и эстонцем Фридрихом Веляютсом – уничтожил первого врага.

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где рыбачили ребята. Требуя письменное разрешение на ловлю, отобрал пойманных щук и наотмашь ударил ими Игоря. Тот в гневе бросился на немца. Друзья помогли: навалились на офицера, столкнули в реку и... утопили. Так родилась и приняла «крещение» молодёжная подпольная группа. Григорьева выбрали командиром.

В семнадцатый июнь – в моём запеве лета –
С ума сошла жарынь, рехнулась белоночь.
Я плакал, правя меч, кляня удел поэта,
Но небо и земля горели: «Слёзы прочь!».

А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но... меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?

Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бескожая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева...

А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет.

(«Удел»)

К концу 1941 года Плюсское подполье разрослось. Явки, явочные квартиры, места встреч, группы... Всего в ор-

ганизации было около сорока человек. Ребята собирали листовки, сброшенные с самолётов, разбрасывали их по Плюссе, писали сводки с фронтов, нарушали неприятельскую связь, помогали беженцам и военнопленным, наблюдали за передвижением войск карателей, освобождали заложников, собирали брошенное оружие и похищали немецкое, засыпали гравий в бункеры вагонов, предупреждали молодёжь о готовящихся отправках в Германию, сами уклонялись от немецких трудовых повинностей.

Однако братьев Григорьевых всё же отправили на работу в обоз. Служить врагам? Лучше бежать, решили они, а там – будь, что будет! Схватили их немцы быстро и, если бы не помощь антифашистов, вряд ли удалось бы когда-нибудь вернуться домой. Но им на этот раз повезло. По возвращении Игоря немедленно вызвали на биржу труда, и начальница, фрау Эдигер, предложила ему работать переводчиком в комендатуре. Григорьев и представить себе такое не мог! Прикинулся больным, сердечником, нарочно говорил по-немецки плохо, путаясь и вставляя русские слова. Решительно отказывался!

Тогда его отправили трудиться на почту. Благодаря этому подпольщик получил доступ к железной дороге, вокзалу, эшелонам. С его помощью Лев смог проникнуть к вагону с мукой и испортить её, подсыпав яд. Всё было сделано так ловко, что братья остались вне подозрений.

В марте 1943 года Игоря снова вызвали в комендатуру и предложили работу переводчика. В случае отказа фашисты пригрозили отправить его в Германию, а Льва – в лагерь для военнопленных. Григорьев сообщил о ситуации руководителю Стругокрасненского межрайонного подпольного центра Тимофею Ивановичу Егорову и попросил разрешения уйти в лес к партизанам. Но тот приказал и по-отцовски по-

просил Игоря согласиться на предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич Хвоин назначил его руководителем разведывательной группы в Плюссе и дал пароль: «Зажги вьюгу!». Отзыв: «Горит вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев называет книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева словами пароля: «Зажги вьюгу». В ней он напишет: «Близкими ему [Григорьеву] с юных лет, отданных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, кто, не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вражеской кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои силы, а если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский народ, во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие были ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере не своими, не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он творил свою поэзию»¹.

«Жестоко» жил? Нет, он жил справедливо! С незатихающей болью за других. До конца жизни не смог себе простить и не мог забыть Игорь Николаевич смерти помощницы по подполью и разведке Любы Смуровой.

Она работала на бирже труда у немцев, имела доступ к картотеке. Игорь попросил её принести карточки на восьмерых человек – предположительно, немецких агентов. Переписав данные, приказал немедленно вернуть документы на место. Но Люба отложила дело до утра: торопилась на связь с начальником разведки. На следующий день девушку вместе с родственниками арестовала полевая тайная полиция. Она успела шепнуть подруге: «Игорь!». Прозвучавшего имени хватило, чтобы Григорьева предупредили: «Уходи!». Дома уже ожидала засада...

¹ Золотцев С. А. «Зажги вьюгу!». С. 5.

Уйти было почти невозможно: дороги перекрыты, с одной стороны Плюссу окружало топкое болото, с другой – минное поле. По этому смертному полю и пошёл Игорь вместе с братом...

Арест Любы и ещё трёх подпольщиков стал единственным провалом в группе плюсской организации. Центр немедленно отозвал разведчиков в партизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. Арестованных расстреляли в ночь с 15 на 16 сентября 1943 года.

Любовь Алексеевна, Люба, Любаша, –
Моя голубая звезда,
Я цел ещё: ждёт меня старости чаша,
А ты навсегда молода!
Не дай Бог, живые, душой прохудеем:
Нещадна житья коловерть...
Кем был для тебя я? – наверно, злодеем,
Пославшим на лютую смерть.
Наверно, наверно. Быть может, быть может.
Война ведь: иначе не мог.
Но память бессонная боль не итожит –
Мне дарствует майский денёк....

.....
О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
Себя устыдяся: война!
Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились...
И вот тебя нет! Тебя нет?

(«Плач по Любви».

1942–1944, немецкий тыл)

26 сентября 1943 года, выполнив задание центра по захвату начальника районной полиции Якоба Гринберга и

прикрывая Игоря с «языком», в перестрелке с немцами, предупреждёнными старостой деревни Насурино, погиб Лев Григорьев. Руководитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя уничтожить, а его хату сжечь.

Игорь поджёг дом, но убить безоружного старосту, да ещё на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, товарищ командир...» – доложил Григорьев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирили избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой.

Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два крошечных года...
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая Природа?

(«Брат». 1943)

Не смог Игорь Николаевич убить и сдавшегося в плен вместе с танком немца – отпустил, вопреки приказу расстрелять. «Я – не палач!» – откуда это в нём? «Милость к падшим» – откуда? Ответ нахожу неожиданно – в стихотворении «Бабушка», посвящённом Василисе Лавриковой:

Бабушка осталась тринадцата-сама:
Большаку пятнадцать, малому – годок.
Хоть стой, хоть падай, всё одно – сума,
Шатнись хоть на запад, хоть на восток.

Но она не заклеимила белый свет,
Разумела: жизнь людская – не вина.
А потом в колхозе – горьких десять лет.
А потом другое лихо: грянула война.

А за той войной треклятой – чужаки:
Трое немцев на постой к бабуле пёх!
Череп на рукавах да пауки...
– Отвернул от нас, от грешных, Бог... –

А злодеи загуляли ввечеру,
Нализались шнапса – зелена греха.
– Долго спать вам на негаданном пиру! –
И пустила в сени красна петуха.

И запряталась в разбитом блиндаже...
Вдруг пришла к ней жалость жарче зла:
И метнулась в пламень, подчинясь душе,
И гуляк-захватчиков спасла.

И накинули ей петлю палачи.
– О, гроссмутгер¹! – упасённый застонал.
И текли над головой её лучи!
И помост ей был, как пьедестал!

(5 января 1944, Клескуша, Лужский район)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накрепко было заложено милосердие...

«Игорь Григорьев... глубинный талант, глубинно-чистая душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Морозкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной культуры, последняя жена поэта².

¹ Бабушка (нем.).

² Золотцев С. А. «Зажги вьюгу!». С. 10.

Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно отдать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались неадекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому что: «У неё – дети!».

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на войне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хватало средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. Надо же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло, дом попортило! Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт ещё одну пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами благодарила поэта за выделенные для неё средства «из своих сбережений». Только никаких сбережений у Григорьева не было! Отдал последнее. Как же он, душа русская, мог остаться в стороне от судьбы крестьянки, про беду которой написал в поэме «Вьюга»:

...На зов босая, в чём была,
Ничуть не чуя холодени,
Анюта – в сени: – Ну, дела!
Аль партизаны порадели?

Мои желанные! Свои!
Ваш путь не к моему ль Тимоше?..
Смекаю: спрашивать негоже.
Выходит, тута, соловьи!

А то гуляет дарово,
Загостевался хрен-германец.
Да скоро ль сгинет он, поганец?..
Вкусите яства моего!

В нём клевер, жёлуди, ботва,
Крупчатка-градец с поля-луга,
Да сладкий верес, да лешуга,
И что чудно: припёк – сам-два.

Прибавь вам сил, пойдя вам впрок!
Не обессудьте, что не ситный,
Не так румян. А въешься – сытный
Наш семимучный колобок.

Да лопнет от него «немой»!
Примите, дорогие други,
Слезу мою, гостинец мой! –
И с хлебом протянула руки.

И тут!.. Не буду, не могу...
Лишее не бывает лиха
(Не знай, сказал бы: бредни психа,
Но от себя не убегу.)

Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
.....

Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
.....

Встрянула сникшего мальчика:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки...

Можно, конечно, рассуждать, спорить: с генами ли мы получаем милосердие и бескорыстие, или это результат воспитания, самовоспитания? Но я с восхищением отме-

чаю те же черты характера, те же порывы человеколюбивой души у сына Игоря Николаевича – Григория Игоревича Григорьева, профессора, заслуженного врача РФ, члена Союза писателей России, священника. Он всегда чуток к проблемам других, готов поддержать, прийти на помощь даже незнакомому человеку. Когда мой сын Сергей рассказал доктору о беде друга, жена которого попала в тяжёлую аварию, Григорий Игоревич незамедлительно помог оплатить операцию. Сделал это во славу Божию! Обычный для него поступок.

...Хоть друг, хоть недруг хлопни дверью –
Ни радостно, ни горевно...
А я не верю, я не верю,
Что всё на свете всё равно!
(«Покойны жёлтые озёра...»)

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских разведчиков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в рукопашную. Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. Неожиданно из-за поворота появился вражеский танк «Т-4», – рядом с Игорем разорвался снаряд... Тяжёлое ранение в спину вывело из строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской партизанской бригады, руководителя плюских подпольщиков и разведчиков.

На взло... на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженьях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.

Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!

(«Контратака».)

11 марта 1944, госпиталь 1171)

«Дорогой Игорь Николаевич!

Своим письмом ты вернул меня в далёкое прошлое 1941–1944 годов, и мне стало не по себе. За каждый звук о совершении преступления перед “великим рейхом и фюрером” любому из нас грозили расстрел или виселица. Все операции проводились дерзко перед самым носом у комендатур и комендантов Брауна, Флото и им подобных, ГФП, зондеркоманд и полицаев. Наши ребята гибли на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанах, при выполнении трудных операций в подпольной разведке. Мы шли на выполнение боевых заданий с чувством солдата России: Родина и Победа или... пусть лучше смерть. У меня лично совсем не было сомнений в горестной необходимости нашего правого дела, не было и растерянности, даже тогда, когда я попал в лапы карателей в 1944 году в деревне Манкошев Луг, под Плюссой. А ведь в середине 1941 года большинство из нас были “маленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсомоль-

ские билеты или были просто плюской “мелюзгой”, “архаравцами”, “шпингалетами”...

Будь здоров, мой дорогой командир!

С дружеским приветом

Коля Никифоров.

14 декабря 1988 г., Плюсса».

Это письмо и много ещё, ему подобных, было получено Игорем Николаевичем от бывших подпольщиков, партизан, которым он словно оставался командиром и отвечал за их жизнь, продолжал помогать, чем мог.

Многие из писем вошли в сборник воспоминаний о плюском подполье «Контрразведка» (Псков, 1995).

Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, метель – этот яркий горящий образ, грозный и очищающий, рождённый партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: «За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четыре шага, / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга...»; «Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные песни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета... / Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белянку вьюгу...».

Это далеко не все примеры. Закончить же длинный список следовало бы названием поэмы, о которой не раз упоминается в данном очерке, – «Вьюга». Сказ о трагических судьбах простых женщин-крестьянок, переживших войну, и многострадальной вымирающей русской деревне.

«И был воистину рассвет»

Летом 1944 года Григорьев демобилизовался. «На гражданке промышлял охотой в костромских глухоманях и фотографией на Вологодчине, бродил в геологической экспедиции по Прибайкалью, работал грузчиком и строителем в Ленинграде... Осенью 1949 года – с третьего захода – поступил на русское отделение филологического факультета Ленинградского университета, который окончил в 1954-м»¹.

Однажды у дверей аудитории, где второкурсники сдавали зачёт, двадцативосьмилетний Игорь увидел невысокую светловолосую девушку. «Ромашка!» – прошептал восхищённо. Одёрнув гимнастёрку, поправил ремень и, поскрипывая начищенными сапогами, чуть прихрамывая на левую ногу, направился к восемнадцатилетней студентке. Не оробел фронтовик и разведчик под строгим взглядом отличницы Дианы Захаровой из белорусского города Городка, что на Витебщине. Так и стал её звать Ромашкой. Даже конфеты дарил одноименные. А ещё – «Василёк». Глаза у Игоря Николаевича были чистого цвета – васильки полевые, не выгорели, цвели до последнего дня. Диана Васильевна же и сейчас предпочтение отдаёт шоколадным конфетам с любимыми названиями.

«Игорь был парадоксальный, неожиданный! – рассказывает она. – Поссорились мы. Возвращаюсь после размолвки из университета домой, захожу в свою комнату, которую снимала в доме на Адмиралтейской набережной (из окна шпиль виден), и... вместо кровати – цветочная клумба! Сирень и ландыши! Сплошным покрывалом! Игорь на всю стипендию скупил у цветочницы цветы – до единого.

¹ Григорьев И. Н. О себе. С. 6.

А как в любви мне объяснился?! – вспоминает, словно спрашивает, Диана Васильевна, перебирая в руках семейные фотографии: детей, внуков, правнуков, а с письменного стола, со снимка в деревянной рамке, на нас смотрит задумчивый Игорь Григорьев... – В тот день умер Сталин! Я – комсомолка, признаюсь, слёз сдержать не смогла. А Игорь – в любви признался! Такой он был... Непредсказуемый. А временами – мистический.

Когда меня с родовыми схватками отвезли в Ивантеевскую больницу (под Москвой), муж встречался в столице с Твардовским. Это была очень важная для него встреча. И, хотя Игорь волновался за меня, всё же он продолжал заниматься своими делами, не торопясь покинуть город ещё целые сутки, вплоть до утра 23 декабря, когда на запотевшем стекле окна вдруг размашисто написал: “08-15!”. И громко сообщил: “Вот теперь она родила!”. Так и было на самом деле!»

На 6-й Красноармейской, у Варшавского вокзала, в Ленинграде, в маленькой шестиметровой комнатухе, затеплилась семейная жизнь Дианы и Игоря Григорьевых.

Улеглись дневные страсти,
Кроток буйный лог.
Месяц, будто чьё-то счастье,
Ясен и высок.

Сыплет, щедро и лилово,
В воду пяточки.
Рядом сердца дорогого
Гулкие толчки.

От поздна до новой рани –
Милосердный час –
Врачевать дневные раны
И не прятать глаз.

Полусонно, перевозданно
Ждать зари земле.
Петь зорянке неустанно
В робкой полумгле.

Не туманясь о разлуке,
Месяцу гореть.
И твои лебяжьи руки
Мне дыханьем греть.

(1957)

Вскоре молодые переехали в «девятиметровку» – угловую, с окнами во двор, на улице Егорова. О, эта комната помнит, как гостил в ней Фёдор Абрамов, на многие годы ставший другом и наставником семьи! Это он подарил серебряную ложечку для их первенца – Григория. Вместе они бывали в Комарове, отдыхали на Карельском перешейке, удили рыбу, варили уху. Фёдор Александрович подружился с Дианиными родителями и часто бывал в Городке – любил рыбачить с Игорем и его тестем Василием Ильичом Захаровым, фронтовиком и педагогом, директором школы.

В семье сохранились книги с дарственными надписями, сделанными рукой Абрамова: *«Игорю Григорьеву, моему ученику и незаменимому товарищу, которому я так многим обязан и с которым мне всегда было интересно. 20 сентября 1972»*. Диане Васильевне, подписывая книгу «Дом», за которую Фёдор Александрович получил Государственную премию, автор напомнил: «Двери моего дома всегда открыты!».

- Чему ты, бедой заарканенный, рад?
- Со мною случилась утрата утрат.

- С чего ты выиграл, плясовую звеня?
- Моя нелюбовь разлюбила меня.

- Пошто ты в ударе, в настрое благом?
- А как же? Мой друг распахнулся врагом.

- В чём дело: захмуренный – солнечным стал?
- Мой враг стародавний мне руку подал.

- Не слишком ли поздно схватился за ум?
- Подумай! Нет рано иль поздно – для дум!

- Зря голову кружишь другим и себе.
- За это круженье – спасибо судьбе.

- Что делать намерен: запить? одуреть?
- Намерен злу на зло и петь, и добреть.

- Смеёшься? Заплакал бы, плохи дела!
- Смеюсь – заливаюсь! Была – не была!..

- Ведь стужа и темень! Откуда твой пыл?
- Свет Фёдор Абрамов меня осветил,

- А что говорили с ним, всем не скажу...
- Так, значит, не тужишь?
- Ага, не тужу!

(«Диалог»)

Есть у Игоря Григорьева ещё одно замечательное стихотворение, посвящённое старшему другу – «В снегопад». Прочитую хотя бы начальные строки:

Вы видели кукушку на снегу?
Вы слышали раскатистую птаху,
Как будто голову кладущую на плаху,
Когда другие птицы ни гугу...

Маленькая комната на улице Егорова чудесным образом вмещала шумную компанию поэтов и писателей: Лев Маляков, Вячеслав Кузнецов, Анатолий Поперечный, Дмитрий Рябинин, Леонтий Шишко, Дмитрий Ковалёв, Николай Аквилёв, Глеб Горбовский, Василий Журавлёв, Глеб Горьшин, Юван Шесталов, Герман Гоппе, Анатолий Клещенко... И никогда не отказывала в ночлеге друзьям и родственникам хозяев.

Одно время вместе с молодой семьёй жили больной отец Григорьева – Николай Григорьевич, сёстры Игоря – Нина и Тамара. В спальные места тогда превращались даже стол и пол под ним. Жили дружно. Девчата помогали нянчить маленького Гришу, а серьёзная Диана делала им курсовые работы, иногда умудрялась сдавать вместо них и экзамены.

Педагогическая наука и опыт свидетельствуют – личность человека формируется в первые годы жизни, в возрасте до 5–7 лет. Сын Игоря Николаевича Гриша школьное детство и юность провёл в Городке, у бабушки и дедушки, которые привили ему любовь к знаниям, порядку, дисциплине, научили целеустремлённости, решительности, твёрдости, но и от родителей успел он впитать широкий размах и доброту души. Его собственный дом всегда гостеприимно открыт. И двор не обнесён неприступным забором со сложными замками на воротах и видеонаблюдением... Сыну Григорию поэт посвятил несколько стихотворений, одно из них звучит, словно завет:

Ненастье обескровило зарю:
Всё – сутемь. Ни полночи, ни полдня.
Погоду не закажешь ноябрю –
Бери, какая есть, о вьюгах помня.

Бери и не вздыхай. И с тем иди.
Иди, да знай: далёко до ночлега,
И, может, только день всего до снега.
И вздохи – груз увесистый в пути.

Пустые страсти ветром отряхай,
Себя и вёрсты мерь пройденной мерой.
Тревожься, негодуй, но не вздыхай.
Иди себе и, что дойдёшь, уверуй.

Пусть вьюгам – вьюжье: снежная страда,
Хмельные вопли, холода шальные, –
Они лишь до поры: они больные.
А вьюги что? – весенняя вода.

Очень сложно представить, как в ленинградской комнате размером со среднюю современную кухню Игорь и Диана не только растили малыша и привечали гостей, но ещё держали до шести охотничьих собак одновременно: русские гончие, лайки – Бой, Арфа, Емеля, Идол... Как тут не подивиться хозяевам? Поэт с детства любил охоту и собак, они любили его. И спасали. Заблудившегося во время вьюги в лесу, у деревни Губино, Игоря Николаевича разыскал, вырвал у снежной смерти пёс Мухи, оставленный хозяином дома, но почуявший беду издалека:

...Людской обидой не стена,
За долг любви, не за награду,
Изнемождённый до упаду,
Мой Мухи отыскал меня.

Да, отыскал! И снег разгрёб –
Ловушку-яму в две сажени.
Мой дом последний, то есть гроб.
И застонал. И на колени

Меня поставил. И сквозь бред,
Сквозь вьюговея завыванье
Текли смиренье и сознание.
И был воистину рассвет!
(«Вьюга»)

«Жили мы тогда с Игорем голодно, – делится воспоминаниями Диана Васильевна, – моя учительская зарплата да его пособие по инвалидности. Но мужа часто и с удовольствием приглашали позировать художники (какая-никакая, а финансовая прибавка в бюджет семьи!). Так мы познакомились с Ильёй Глазуновым, его работа – портрет Игоря Николаевича – хранится в доме нашего сына Григория. Подружились мы и с Дмитрием Михайловичем Епифановым, скульптором, доцентом Академии художеств». Поэт посвятил ему, другу и тоже любителю-рыболову, большое стихотворение-панораму «Озеро» – словно двенадцать художественных картин предстают перед взором читателя:

1. В январе на озере
верный лёд,
Жгучая позёмка к плёсу льнёт,
Пляшут зайцы за полночь трепака,
Под луной берёзонька так легка.

2. В феврале вкруг озера –
снежный плен:
Пылкие мормышники, вязнем до колен;
И, пробившись к радости, зря кромсаем лёд:
Полосатый окунь вовсе не берёт.

3. В марте снега озера
сжало в пласт:
Любит петь под полозом плотный наст;

Зимник распеленывают жар-лучи;
В зорях женихаются косачи.

4. А в апреле озера
не узнать:
Дышит и вздымается пенистая гладь;
В камышах растрёпанных щучий плеск,
В полусонных заводях бег да блеск.

5. Нежный май над озером
и в глуби –
Зелье приворотное: знай люби!
Грузнут громы, громки и молоды;
Тростничок выныривает из воды.

6. Бел июнь свет-озеру –
чудодей:
Светодар сиреневый, водогрей;
Задивись на лилии, да не тронь –
Не гаси, гуляючи, их огонь!

7. Липень и средь озера
сух и строг:
Солнце – во! – припаливает, сушит впрок;
Веет земляникою и зерном;
Не в воде купаешься – в молоке парном.

8. В августе на озеро
сходит тишина,
В воды опрокинута, дремлет вышина;
И, большие, рясные, будто грустный дым,
По утрам туманы висят над ним.

9. В сентябре по озеру –
жёлтый холодок,
Резвый и задиристый осени пролог.
Гребешки, тревожинка, переплеск;
Златом зыбь задаривает зябкий лес.

10. В октябре на озере
княжит синева,
В синеве, синеющие, странны острова;
Гоголей горластых гулкий гам
И кусты сквозные по брегам.

11. В ноябре на озеро –
валом вал:
Не на шутку сиверко лоно взволновал;
Греются у доньшка щуки, спят линии;
Почернели ночи, расхмурнулись дни.

12. В декабре
неистово помело.
Ледяное зеркало круто замело,
Охладело озеро в белизне –
Жарко загорюнилось о весне.

И после войны для поэта продолжалось суровое и невидимое служение Родине. Оно во всей его жизни и в стихах. Одно из лучших стихотворений, в котором автор открывается читателю как верный сын России и как творчески одарённый, духовный, глубокий, нравственно чистый человек, названо Золотцевым «живой русской классикой наших дней», достойным войти «в хрестоматию и в самые строгие по отбору антологии русской поэзии», – «Поэты».

Мы ветра и огня поводыри
С тревожными
Раскрытыми сердцами,
Всего лишь дети, ставшие отцами,
Всё ждущие –
который век! –
Зари!

Сердца грозят глухонемой ночи, –
За каждый лучик жизни

В них тревога, –
И кровью
Запекаются
до срока,
Как воинов подъятые мечи.

С крылатой песней люди
не рабы, –
Единственная
Из наград награда!
Нам надо всё и ничего не надо.
И так всегда,
И нет иной судьбы.

Нас не унять
Ни дыбой, ни рублём,
Ни славой,
ни цикуты царской чашей:
Курс – на зарю!
А смерть – бессмертье наше,
И не Поэт, кто покривит рулём.

(1963)

Когда Грише было пять лет, его родители развелись. Не нам судить о причинах разлада в семье. Но через много-много лет, в присутствии сына Григория и его друзей, Игорь Николаевич серьёзно попросил меня: «Передай Дине, что я всегда любил и люблю её!».

Ты ушла. Никто нейдёт.
Да прихожих и не надо.
Только снежная осада...
Что зима – не твой бы лёд.

Я бы выбег на бугор,
Перетрогал бы потёмки,

Догляделся бы до кромки:
Вдруг да смилуется бор...

Никуда я не пойду:
Разве сжалуется вьюга.
Нелюбезная округа
Вся в неистовом бреду.

Ветер ломит, как медведь,
Вьюга шастает с пригорка,
В доме холодно и горько:
Слава Богу, время петь!

– Диана Васильевна, теперь, оглядываясь назад, если бы можно было прожить заново, вы расстались бы с Григорьевым? – задала я очень непростой вопрос.

Женщина ответила не сразу. Как знать, может быть, много раз спрашивала себя об этом же и искала ответ? Поэту Полишкаркову она когда-то призналась: «Он – это открытая рана моей юности, он себя не жалел и сам своими протестами, возражениями создавал у властей нетерпимую обстановку и новые трудности...». Однако отношения с Игорем Николаевичем, несмотря на последующие браки, и её, и его, оставались дружескими, и благодарность за всё доброе и хорошее, что было (было!), сохранилась.

Диана Васильевна (после православного крещения её стали звать Дарьей) создала и на протяжении долгих лет руководила в Петербурге особой школой № 563 «Пушкинский лицей». Директор поставила перед коллективом задачу: не только дать детям знания, но и воспитать их высоко нравственными, используя для этого творческое наследие великого поэта, пример жизни его и наших современников – поэтов, писателей, художников, артистов, священников, монахов.

Последняя жена Григорьева, Елена Николаевна Морозкина, приглашённая его первой женой и ставшая другом лицеистов, взяла на себя обязанности гида в многочисленных паломнических поездках учащихся по городам России: Псков, Новгород, Киев, Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов, Кострома, Тутаев, Москва.

Лицеисты встречались во Пскове с Игорем Николаевичем, бывали у него дома. После смерти поэта «принимали участие в трёх вечерах памяти Григорьева: в 1998 году – во Пскове; в 2000 году – в Союзе писателей России (Рубцовский центр, Санкт-Петербург); в 2007 году – в доме сына Григория в Юкках, где Игорь Николаевич похоронен»¹.

Единственный сын поэта не держал обиды на родителей за их разлуку. В годы зрелости, по окончании Григорием Военно-медицинской академии, его и отца связала настоящая, кровная, мужская дружба. 7 августа 1984 года, из Владивостока, где Гриша проходил службу, он писал:

«Дорогой отец! Здравствуй! Твоё обещанное письмо пока не получил. И потому сам решил тебе написать.

Новостей у меня нет. Я по-прежнему подвешен между несколькими столбами. Но это меня нисколько не удручает. Ведь я умею не замечать этого. Мне легко и спокойно, светло и радостно. Я знаю: происходящее сейчас – лишь “репетиция оркестра”, не больше и не меньше. Единственное, что меня волнует, – когда от вас подолгу нет писем. Наши бои ещё впереди.

Сегодня, пользуясь многотысячным расстоянием между нами, я хочу сказать отцу, что чем дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи. Я их часто перечитываю, многие из них для меня, как

¹ Григорьева Д. В. От составителя // Лицейские встречи. СПб., 2010. С. 10.

молитва. В них истинная боль и крик вещей русской души! Кто из нынешних поэтов постиг в такой глубине истоки Русской земли? В его стихах слав времен, их неразрывное единство. Повторяю, стихи его, как молитвы, и сами собой входят в память. Теперь я знаю: отец прежде других, в одиночку, начал тот бой за наше будущее, о котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки будят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим бравурным маршам.

То, что я написал, – это моё глубокое убеждение. И сообщить об этом я должен был с края света, с беспредельных берегов земли Русской.

Крепко тебя целую. А ты от меня поцелуй бабушку.

Твой сын Григорий Григорьев».

В минуты задушевных бесед Игорь Николаевич мог неожиданно спросить:

- Сынок, ты во мне сомнений не имеешь?
- Не имею, – твёрдо отвечал Григорий.
- Если нам с тобой дадут по пулемёту, и на нас будет наступать вражеская дивизия, мы не сдрейфим?
- Не сдрейфим, отец!
- Ты веришь, что я не струшу?
- Конечно, верю!

Последние слова, которые произнёс Игорь Николаевич перед смертью, после исповеди и причастия, были обращены к сыну: «Жалко тебя оставлять... Ну, что поделаешь?».

И всхлипнет хмарь: «Печаль отринь:
Ты дома, ты уже безгрешный,
Как в рани – кроткий, свойский, – здешний,
И на сердце – не стынь, а синь!»

(«Покров гостует в захоlustье...»)

– Диана Васильевна, так что же вы ответите? – осторожно возвращаю я собеседницу к ранее заданному вопросу.

Она тяжело вздыхает и, может быть, впервые проговаривает вслух то, о чём до сего дня лишь думалось:

– Теперь бы я от Игоря не ушла...

**«И не знаешь, что потеряешь,
И не ведаешь, где найдёшь»**

Пред Господом на веки вечные остались Диана и Игорь Григорьевы связаны между собою сыном Григорием и внуками: Анастасией (пошла по стопам отца – стала врачом), Дарьей (специалист по компьютерной графике) и Василием (ему ещё предстоит выбрать свою дорогу). Дед-поэт сердечно посоветовал, предвидя, предчувствуя:

Решись: распутье – не распястье
И не проклятье.

Душе захмаренной – раздолье
В широкополье.

Даль русская не наважденье –
Освобожденье.

Дерзни: бездомье, страх, усталость –
Такая малость.

Добро и зло – за вехой строгой:
Руками трогай!

В ответ на детское стихотворение Настёны Игорь Николаевич написал:

Ранью в солнечном лесу,
В разлитом счастье,
Хорошо жалеть росу
Россиянке Насте!

.....
Красоту и тишину
Приносить покою,
И тянуться в вышину
Ласковой рукою.

Даша тоже бережно хранит дедово завещание:

До искринки сердце вверяешь,
Окунаешь в солнечный дождь.
И не знаешь, что потеряешь,
И не ведаешь, где найдёшь.

Ну, так что же с того, так что же:
Для чего тебе знать о том?
Дышишь, бед и лет не итожа,
И дыши. Сочтёшься потом.

Понимай: ни пера ни пуха!
Набирай глубину в глаза,
А итог не сдашь – не поруха,
Он – последняя наша слеза.

Не горюй – пустое занятие,
До итога пока далеко.
День-то, видишь, в самом зачатъе –
Пей парное его молоко.

Балагурь с плакучею ивой,
Нацелуйся с прохладой всласть!

Ты сегодня опять счастливая –
Дорогому поклоны класть.

«Поскольку я лирикой болен,
Мне сердце беречь не дано»

Непросто Игорю Николаевичу было в Ленинграде после развода с женой. Не легче было и в питерской художественной среде, о которой Станислав Золотцев говорил со всей определённой ясностью: «Не впадая в подробности и детали многих её особенностей, одно замечу (и пусть кто-то, если возжелает, приклеит на меня очередной «политизированный» ярлык): такие писатели были для неё слишком, даже вызывающе русскими. И не потому ли уехал из Питера целый ряд талантливых художников слова и не “в полный рост” поднялись в глазах читателей такие самородки разных поколений, как Владислав Шошин и Александр Решетов, а как тяжело приходилось Глебу Горбовскому, – список можно длить и длить...».

Магнетизм родной псковской сторонунки тоже давал о себе знать – тянуло Григорьева на малую родину с неудержимой силой. Неслучайно! В 1967 году Игорю Николаевичу предстояло создать и возглавить Псковское отделение Союза писателей СССР. А его другу, Льву Малякову, – Псковское отделение Лениздата.

Была у Игоря Николаевича редкая способность – не только разглядеть в человеке искорки литературного дара, но и искренне поддержать, восхититься, окрылить будущего поэта или прозаика, «завести» на творчество. Он был великолепным редактором. Помог Валентину Голубеву, Александру Гусеву, Валерию Мухину, Виктору Малинину и многим другим. Елену Новик (Родченкову) в предисловии к её первой книжке стихов он напутствовал:

Сестра печали, день неожиданный мой,
Отрада лета – иволга певуча,
Без песни нечем жить тут: плач, но пой,
Молчанием глухим души не муча.

В потёмках жизнь – ни сердцу, ни уму:
Привязана к заморским горе-дивам.
Не ты одна не знаешь, что к чему,
Не ведаешь, бренчать каким мотивом?

Каким, каким? Смятенье умири:
Своим, своим! – не сводничать бесстыдно.
На жизни – ночь, и что ни говори,
Хоть как гляди, а свет-зари не видно.

Полна разбоя, страха и тоски,
Ночь, как боязнь, черна и нелюдима;
И без креста – кресты, и в тьме – ни зги...
Пой! Ты как песня здесь необходима.

Это было написано весной 1994 года. Лихое время... Но разве не отзываются слова поэта в сердце, словно обращения к нам, и только к нам, сейчас?

Помню, как Игорь Николаевич, схватив меня за руку, подвёл к выдавшему виду письменному столу, на котором лежал распечатанный конверт, достал письмо со стихами Елены и просил: «Послушай, ты только послушай, как она пишет!». Стал читать, смакуя каждое слово, каждый образ, при этом ревностно следил за моей реакцией, ожидая восторженного отклика, словно сам был автором стихов. И ни тени, ни капли зависти – этого свойства Григорьев на дух не переносил!

Как же не хватало мне самой такого вот наставника в начале запоздалого литературного пути, да и теперь... Часто вспоминаю Игоря Николаевича и всего лишь одну фразу, удивлённо оброненную им по поводу моей статьи, опубли-

кованной в «Псковской правде»: «А из этой девочки может что-нибудь получиться!». Такие слова дорогого стоят...

Целых три года, держа в руках бразды правления отделения Союза писателей, он не издавал собственных книг, а активно помогал печататься своим товарищам по литературному цеху.

И не только печататься. Безвозмездно выручал деньгами, хлопотал о трудоустройстве, жилье, беспокоился о здоровье писателей – лично договаривался о консультациях и обследованиях у известных специалистов. Однажды Игорь Николаевич, не раздумывая, отдал свою трёхкомнатную квартиру многодетной семье, а сам переехал в освободившуюся «двушку». Такой поступок в наше время кажется фантастическим, однако и в те годы был вовсе не заурядным.

Одного не умел и не желал делать Григорьев – льстить, подхалимничать, угождать, лицемерить. «...Ему физиологически претило всяческое чиновничество. Воин по духовному строю, он презирал даже мельчайшее угодничество, и просто тошноту у него вызывало то “заигрывание” с “литературными генералами”, в коем стали большими доками многие его собратья по перу...»¹.

В 1970-х годах первого секретаря псковского обкома партии И. С. Густова повысили в должности, перевели в Москву. Он был человеком, любившим и понимавшим литературу, уважавшим, ценившим и принимавшим руководителя псковских писателей таким, каким тот был – не удобным для начальства, ершистым, непокорным, имеющим собственное мнение, которое выражал «своим, да ещё и далеко не робким голосом», – талантливым Поэтом.

¹ Золотцев С. А. «Зажги выюгу!». С. 47

Ушёл Густов – начались конфликты... Не себя отстаивал Игорь Николаевич – своих товарищей-писателей. За что и поплатился.

...Не просто жизни оплеуха.
Не с ног сшибали – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа.

«Возвращённая лунь»

Именно в эти годы, поддерживая дух Григорьева, крепнет его дружба с сыном Гришей. Подрастает в Ленинграде и ещё одна «нечаянная радость» – дочь Маня, Мария Кузьмина.

«Я была внебрачным ребенком двух красивых образованных, талантливых и... совершенно не совместимых между собой людей... – пишет она в воспоминаниях «Мой отец – поэт Игорь Григорьев». – [Ему] тогда было чуть больше сорока. Высокий, красивый, эффектный, видный мужчина, перспективный поэт, участник войны, раненый, контуженый, расставшийся с женой и неприкаянный, талантливый, самобытный, – он произвел на мою мать сногсшибательное впечатление. Она вручала ему грамоту и премию за победу на литературном конкурсе от Псковского отдела культуры...»

Наверное, девушка стала отрадой для изболевшей от одиночества и потерь неистовой души Поэта. Маргарите Кузьминой Игорь Николаевич посвятил:

Густолистой роще в голосистом лете
Ласковый и тихий приглянулся ветер.
Зазывал под вечер, крылья унимая:

«Без тебя, певунья, мне не будет мая!».
Шелестел и гукал, не жалея луни.
Отозвалась роща – до зимы ль в июне...

На обратной стороне фото, которое бережёт дочь, сохранилась надпись: *«Маргарите. Самой любимой! Спасибо за возвращенную лунь и солнышко, ласточка моя! Июнь 1964 года».*

Но «ласточка» так и не сумела полюбить отраду Григорьева – город Псков, в котором работала по распределению и чувствовала себя, по её собственному признанию, как «Пушкин в ссылке». Она возвратилась в Ленинград, поступила в аспирантуру. Семьи родители Маши не создали, однако Игорь Николаевич поддерживал «дипломатические отношения» с матерью девочки и не оставлял попечением ребёнка. Маня писала стихи – отцу это нравилось. Подписывая очередную книгу, он пожелал: *«Моей Маше, той, которая дочь, наставляя ее на путь великой поэзии, с приказом создавать стихи раз в сто лучше моих. Иди! И не гнись».*

– Не песенок, не басенок – не малость –
Зажги огонь от моего огня!..
– Притихни, Боль! Согласен: ты заждалась
Стихов благословенных от меня.

Пригасни, Боль! Не хмурь угрюмо лика –
Совсем не холм покатый крут-Парнас.
Высокие стихи как земляника –
Им поспевать, увы, не всякий час.

.....
Душа моя, как зорная поляна,
Лелеет строки, росны и густы.
Стихи созреют поздно или рано.
Ты – Боль моя: ждать не устанешь ты.

Игорь Николаевич постоянно помогал Мане материально, о чём она вспоминает с благодарностью и гордостью за отца. Григорий тоже не забывает о сестре...

«Поверю в весеннюю Русь»

Вслед за конфликтом с областным начальством и предательством товарищей по Псковскому отделению Союза писателей (не поддержали – трусили: «Мои собратья по перу / Не поделили “псковской славы”, / И я, доколе не умру, / Не позабуду той отравы. // Нет, не с цианом порошки / В стакане водки. Проучили / Меня надёжней корешки – / В глазах России обмочили...») Игоря Григорьева настигло новое лихо. Как тут не вспомнить народное присловье: «Пришла беда – отвори ворота!».

С чьей-то организованной (!) подачи одновременно из разных мест потекла в «высокие» кабинеты Пскова, Москвы, Ленинграда липкая клевета. Да какая! Мол, партизан и поэт на самом-то деле герой «липовый»: во время войны добровольно служил у немцев в комендатуре переводчиком.

Кажется, страшнее этой лжи была только смерть близких людей да страдания родной земли. Автора известной книги-поэмы «Красуха», в которую он вложил «всю свою войну, всю свою партизанщину», обвинили в предательстве! Поэт выплеснул душевную боль в стихотворные строки:

Я родине своей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что, верящих в молчанье грозно свергнув,

Поверила она в лишённых веры,
Её беда – не наша ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От зябкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук?),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?

Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.

(«Перед Россией»)

«В самом напряжённом ритме этих “кольцующихся” строф слышится не самооправдание, но – жертвенное, воинское понимание суровости эпохи – не в смысле “лес рубят – щепки летят”, а как раз наоборот: это ощущение себя не “щепкой”, а крепким и несгибаемым деревом в вечнозелёном лесу по имени Россия!» – так охарактеризовал произведение Золотцев¹.

Преданностью Родине, любовью к ней и болью за неё пропитаны, словно горячей кровью, многие стихи Григорьева.

Нас в люди выводила Русь
По милости земли и неба;
Пусть хлеб её был чёрствым, пусть.
Но никогда он горьким не был.

¹ Там же. С. 57.

Я попыталась выбрать строки со словами о Родине: «Горемаятная родина, / Горемаятные мы...»; «А Русь везде, у пня у каждого, – / И злая мачеха и мать»; «Застыну, оттаяв над бездною гладкой, / Поверю в весеннюю Русь», – но очень скоро поняла, что дело это бесперспективное, так как великолепные цитаты могут занять не одну страницу. И всё же ещё отрывок:

Вся ты, бескрайняя, –
С высью хребтов,
С гулом столиц,
С глушью лесов,
С далью полей,
С глуби морей, –
Стала одним кровом родным,
Долей моей...

(«Отчизна».
Курсив мой. – Н. С.)

Какая же Русь без деревни, леса и поля? Ах, как любил их Игорь Николаевич, как наполнял этим чувством каждую строчку!

Дорогие лесные пустыни,
Серой ольхи плакучий разбой.
Здравствуй, робкая былка полыни!
Мне нисколько не горько с тобой!

.....
Так давно мы не виделись, Поле,
Не аукались, Песельник-Лес!
Ни обиды на сердце, ни боли.
Тихий свет – от земли до небес.

(«Дорогие лесные пустыни...»)

Григорьева, долгие годы гостевавшего в деревне Губино на Псковщине, написавшего там поэму «Вьюга», «Плач

по Красухе» и др., однажды в мае, на рыбалке, застала непогода, да с таким ветром и внезапным возвратным морозом по молодой листве и весеннему цветению, что птицы замерзали на лету. Те же из них, кому посчастливилось, летели к человеку без страха, без опаски – забивались под воротник, шарф, за пазуху – синицы, воробьи, даже соловьи... Верили – не обидит их поэт.

Случилось Игорю Николаевичу и раненого аиста на руках в деревню нести. Преданная аистиха сама следом поспешила. Всю зиму прожили они в курятнике вместе с домашней птицей – выжили.

Вячеслав Шошин, литературовед и историк, смело поставил Григорьева в один ряд с таким великим мастером слова, как Сергей Есенин, который горевал: «Я – последний поэт деревни, но донныне первый поэт». Не согласился с ним критик: «Первый! Но не единственный. Есть и другие. И среди них – “поэт последней деревни” Игорь Григорьев». – «От деревенщины моей, / От сельской простоты / Остались только горечь пней / Да ломкие кусты. / Давно повален тёмный бор, / Дремучий, вековой. / Причастен к ней и мой топор, / К той рубке гулевой. / Ни горожанин, ни мужик, Своей родне ничей, / Я раскалённым ртом приник, / Но глух сухой ручей...»

На доброй пашне, в широкополье,
Олешник вымахал да лоза.
В саду крушиновое раздолье
Глумится в горестные глаза.
Тропа лосиная, сыроежки,
Разлопушился вовсю репей.
Как непогашенные головешки,
Швыряет гуща тетеревей.

В тени цикута – пьянее, глуше:
На взлобке лысом – солнечный гнёт
И вдруг тебе, как смутную душу,
Чащоба яблоню распахнёт.

Узнал? Припомнил босое детство?
Сад в белом смехе, в обнимке нив
Совсем не чьё-то, твоё наследство,
Тебе завещанный белый налив.

Усладу-радость, льнущую к дому,
Бери, бывало, хоть из окна.
Тебе, тебе – никому другому,
Она тебе была вручена.

Ручей зачахший. Замшелый мостик.
Крыльцо – два камня по старине.
«Я рада, здравствуй! Надолго в гости?
Ну, как жилось-то на стороне?

Чего ж срываешь ты шишки с ели?
Я зла не помню: добра не жаль.
Ведь снова август, плоды поспели:
Иди ко мне – снимай урожай!»

Пылает полдень, а мне морозно:
Как в суд с поличными привели.
Не надо, сердце! Ещё не поздно
Просить прощения у земли.

(«Горькие яблоки»)

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в каждом произведении Григорьева, во всех двадцати двух его книгах, звучит святая Русь... И чувство собственной вины Поэта за всё, что происходит с ней.

...Прошли немалые года,
Затих кровавый гром,

Чего я только не видал
На свете горевом!

Я разучился просто жить
И бросил просто петь.
Теперь уж поздно дорожить –
Копить копеек медь.

И Русь не та, и сам не тот –
Иные времена.
Но в ворохе золы живёт,
Горит моя вина.
(«От деревенщины моей...»)

А подлая клевета, как и следовало, была распознана и развенчана вескими аргументами и свидетельствами не только архивных документов, но и товарищей Игоря по партизанскому подполью. В пору было воскликнуть:

...Я, рождённый русской болью,
В правду верую!
(«У причала»)

Однако сколько же надо было пережить, пока правда эта зазвучала во весь голос!

«Заря, заряна, заряница»

Известно, что любая беда станет в полбеда, если рядом есть близкий человек. Так уж случилось, что в нелёгкое для Игоря Григорьева время на его пути такой человек появлялся. Думаю, было бы несправедливо не вспомнить ещё одну женщину, которая принесла поэту и вдохновенье, и любовь.

Светлана Васильевна Молева, известная как талантливая поэтесса, публицист, редактор и исследователь: автор книги «Единородное Слово»¹, представившей впервые осуществлённый перевод и исследование древнейшего из всех доступных современной науке русских текстов, который насчитывает около трёх тысяч лет, – текст Перуджианского камня, раскрывающий тайну древнейших пластов русской истории и веры. Она была родом с любимой Григорьевым Псковщины. Родная земля породила двух очень близких по духу, истинно русских людей, хотя и разделяла их немалая разница в возрасте. Породнила, но не сохранила друг для друга, – они были обречены на расставание. Нежностью и болью пропитаны стихи, посвящённые Светлане:

Заря, заряна, заряница,
Червонокрытый небокрай,
Моя печальная жар-птица,
Не улетай, не догорай.
Ещё не выразить потёмок,
Не молвить свистов за рекой –
Пока мой голос тих и ломок,
Но я заплакал над строкой.

Улетела... Теперь уже и догорела. Её не стало в 2005 году. Но что удивительно – все, кто искренне соприкасался с Игорем Григорьевым, оставались его друзьями и друзьями семьи. Именно Светлана Молева помогала поэту в издании его книг – редактировала «Вьюгу», «Крутую дорогу»² и др. Ей же в житейских делах неоднократно оказывал помощь Григорий Григорьев.

¹ Молева С. В. Единородное Слово. Псков, 2000.

² Григорьев И. Н. Крутая дорога. Псков: Отчина, 1994.

«Мы нашлись, к себе вернулись...»

Семейный покой, к которому всегда стремился Игорь Николаевич, человек по характеру верный и надёжный, обрёл нескоро, через полвека жизни, но уже навсегда. Увидел её, хрупкую, немолодую (на год старше поэта) женщину, в кабинете высокого областного начальства. Смело, решительно и громко требовала Елена Николаевна Морозкина сохранить древнюю красоту Пскова: его храмы и монастыри. Именно благодаря ей был спасён заброшенный среди заболоченного леса Крыпецкий монастырь – архитектурный ансамбль XVI века. Удалось поставить его на государственную охрану как памятник республиканского значения.

«Они во многом были “ростом вровень”», – писал об этом союзе Золотцев. Морозкина, «высочайшего класса учёный-искусствовед, воспитавшая целую школу реставраторов церковного зодчества, настенных росписей и иконописи. Следы её деятельности – и в Смоленске, и в Новгороде Великом, и в других градах и весях»¹. «Бывшая девушка-артиллеристка», любимый человек которой погиб на войне, – и русский «горемаятный» Поэт. Одиночество ушло, растаяло...

Было поздно или рано:
Лес и озеро затихли
Или, может, не проснулись,
Нежась в ласке голубой.
Ни ветринки, ни тумана,
А и есть они, до них ли?
Мы нашлись, к себе вернулись –
Ты да я, да мы с тобой.

¹ Золотцев С. А. «Зажги вьюгу!». С. 63

Млечный Путь, костёр и месяц
Кличут ласково друг друга,
Разноцветье увяданья
Зажигая и граня.
Тени – игрища кудесниц,
И вода как будто вьюга,
И тропинки как преданья,
И кусты – снопы огня.

Всё-то – песни даровые,
Всё желанное – возможно,
Всё несбывшееся – рядом:
Не солжёт вещунья-тишь.
Ты в глуши моей впервые.
Дышит лес. Тебе тревожно.
Ты, как верба листопадом,
Оробело шелестишь:

- Чья душа, изнемогая,
Остаётся так невинна?
Кто так ясно выражает
Несказанные слова?
- Ты не бойся, дорогая,
Это ночи половина,
Это лето провожает
Беспечальная сова.

Светом сумерки сочатся,
Будто вишня великанья,
До земли прогнулось небо –
От больших и спелых звёзд.
Что слова? Не намолчатся.
Не наслушаться молчанья!
И вокруг не причудь-небыль –
Явь, как тихий хор берёз.

(«Именины»)

Морозкина, автор десятка трудов, многие из которых переведены на иностранные языки, за день до своего ухода в мир иной, в декабре 1999 года, поделилась со Станиславом Золотцевым: «Не будь Игоря – не было бы у меня в жизни моего Пскова. Не будь рядом Игоря – не написала б я ни одной книги о Пскове».

Елена Николаевна торопилась, торопилась жить и писать. Вспоминается, как, словно оправдываясь за равнодушие к быту, объясняла: «Мне надо успеть, надо успеть! Каждый день дорог. Кто, кроме меня? И кто знает, сколько осталось?».

Они были очень непритязательны в жизни. «Не хлебом единым» – это об Игоре Николаевиче и Елене Николаевне (даже отчество одно, словно у брата с сестрой). Когда я впервые переступила порог их псковской квартиры, меня поразила простота быта. Ничего лишнего! А то, что имелось, состарилось вместе с хозяевами за долгие годы сосуществования. Зато большое блюдо с сухариками из бережливо нарезанных кубиками остатков чёрного и белого хлеба всегда гостеприимно стояло на столе. Чайник не остывал. Тесная кухонька, как когда-то «шестиметровка» на улице Егорова в Ленинграде, удивительным образом вмещала и званых, и незваных гостей.

В доме Игоря Григорьева, и в Ленинграде, и в Пскове, кроме Фёдора Абрамова, «перебывало столько знаменитостей... Валентин Распутин, Виктор Астафьев и Василий Белов, Михаил Дудин и Ираклий Андроников, Юрий Бондарев и Михаил Алексеев, Глеб Горбовский и Константин Воробьёв, Валерия Дмитриевна Пришвина, Семён Гейченко и многие другие... Но я не припомню случая, чтобы он хоть раз похвастался близостью с великими мира сего, – писала журналистка Светлана Андреева. – Люби-

ла и люблю я Игоря Николаевича не за ум и талант, которыми наделил его Господь, а за чистую его душу. Не много встречала я в жизни людей, не совместимых со словом “корысть”. Не о себе – о других думал он всегда и всюду»¹.

«Дыши, гореванья не знай...»

Есть одно символическое совпадение в судьбе отца и сына Григорьевых – жену Григория Игоревича тоже зовут Елена. Поэт называл её дочерью и относился не просто с трогательной любовью, но даже с какой-то покровительственной ревностью. Настрадавшись в жизни, он, видимо, боялся повторения своей мужской судьбы в сыне, а потому, как мог, оберегал его. Настороженно относясь к женщинам из обширного профессионального и дружеского окружения Григория – доктора-психотерапевта, он, на всякий случай, предупреждал: «Леночка у нас очень хорошая! Мы все ею дорожим...».

Ни Лена, ни Григорий поводов для ревности и волнений не давали – об этом Елена Александровна, не только мужняя жена, мать троих детей, но и медицинский психолог, кандидат наук, завела однажды откровенный разговор со свёкром: «Мы очень любим друг друга...». Убедила его. Тревога исчезла. Леночке он посвятил:

Зажгли в беложар, осветили округу
Черёмух бельнь-острова.
Весна наметелила тёплую вьюгу,
А понизу вьюги – трава.

А поверху вьюги – сияющий воздух:
Дыши, гореванья не знай;

¹ См.: Лицейские встречи. С. 23.

Чуть выше – в просторе – струистая роздымь:
И это – всего только май.

Как будто сорвалось веселье с постромок –
И малой печалинки нет.
И так от зари до зари, до потёмок,
До сумерек – радость и свет.

А вечером небо звенит и ликует
От крыш приземлённых – до звёзд,
И странник-дергач с тишиною толкует.
И мир удивительно прост.

Вся глыба земли до невнятной былинки
Горит, освещая твой путь.
И скоро цветы разбросают рябинки,
И оземь взовьётся по грудь.

(«Перед июнем»)

А Елена Александровна подарила поэту долгожданного наследника рода – внука Василия и дочернюю любовь.

«Апрель разметал холода»

Пятнадцать лет – с начала 80-х годов – настоящий писательский союз Пскова существовал на квартире у Григорьева. А официальный, состоящий из ответственного секретаря – литературного функционера с пятью-шестью «джигитами-портфеленосцами» (по меткому выражению С. Золотцева), к сожалению, оставил прочих писателей за бортом литературной жизни. Долгое время не издавались их книги – псковичи, надо думать, и не догадывались о существовании не менее двух десятков талантлив-

вых литераторов-земляков. К 1995 году писательская организация находилась на грани гибели.

И снова Игорь Григорьев, когда-то создавший Псковский союз, предпринял решительный шаг, чтобы теперь спасти его. Уговорил, убедил Золотцева, в то время председателя Московского литературного фонда, жившего, в связи с болезнью отца, на два дома (столица и Псков), принять на себя бразды правления, ибо только он в то время мог реально изменить ситуацию.

Поэт не ошибся! За два последующих года свет увидели десять книг одарённых псковских поэтов и прозаиков, о которых стали писать, заговорили. Организация живёт и сегодня.

Набег обернулся побегом:
Апрель разметал холода.
Трава не погасла под снегом,
Сугробы спалила вода.

В чащобах зажглась медуница,
И светла тоска журавлей.
И каждая лужа – криница
В ладонях полян и полей.

И гром возвратился ретиво
И так раскатился легко,
И день – разлитое диво.
Но Вьюга моя далеко!

(«За паводком»)

«Срастить древо рода»

Среди рецензентов Игоря Григорьева находились зои-лы, которые обвиняли поэта в неразборчивом использовании местного диалекта, в излишней цветистости его языка.

«Борьба с нашим Словом, выражающим народные интересы, конечно, дело не новое. Жертвами этой борьбы стала в своё время целая мощная плеяда “крестьянских” поэтов: Александр Ширяевец, Алексей Ганин, Николай Клюев, Сергей Есенин, Сергей Клычков, Павел Васильев. Их вина состояла единственно в том, что природа их дара была национальной в эпоху, устремившуюся тогда к космополитизму. В письмах к Сталину 1934 года (журнал «Наш современник», № 3, 2003 г.) волжанин Фёдор Панфёров, прозаик, автор романа “Бруски”, главный редактор журнала “Октябрь”, затравленно отбивался от жесточайших нападок РАППа — от Авербаха, Киришона, Белы Иллеша: Панфёров, видите ли, употребляет “мужицкую, крестьянскую лексику”, а проще — работает со всем многоцветьем русской образной речи, утверждая и увековечивая своим творчеством наши языковые, исконные сокровища»¹.

Что же касается Игоря Григорьева, то ещё в 60-х годах критик Аркадий Эльяшевич утверждал, что «оригинальность творческого голоса поэта не подлежит сомнению. Взять хотя бы богатство его поэтического словаря. И. Григорьев гордится тем, что пишет на “языке отцов и дедов”. Однако в употреблении старинных слов и слов псковского диалекта у него нет нарочитости, и, может быть, поэтому лексика его произведений не оставляет впечатления архаичности и стилизации. Читая стихи Игоря Григорьева о псковской старине и северной природе, думаешь об удивительном совпадении языковых средств с поэтической темой....

Поэзия И. Григорьева, традиционная по некоторым

¹ Галактионова В. Русское слово и мировой ORDNUNG. М.: Слово, 2010.

своим мотивам, но оригинальная и самостоятельная в их трактовке, лишний раз свидетельствует, что разговор об оригинальности и новаторстве не может быть односторонне сведён ни к вопросу о проблематике произведения, ни к элементам его художественной формы»¹.

В редакторском заключении издательства «Советский писатель» от 15 января 1988 года на рукопись книги Григорьева «Русский урок» сказано: «Игорь Григорьев предстаёт в новой книге сильным, оригинально мыслящим поэтом... Поэтический язык И. Григорьева привлекает яркостью, образностью, знанием языка народного...».

Доктор филологических наук В. Шошин также отмечал «сочетание народно-песенной образности и скупой информативности, эпической широты кругозора и лирически-щемящей проникновенности» поэзии Игоря Григорьева².

Однако даже Станислав Золотцев в очерке «Зажги вьюгу» говорит о ранних произведениях поэта и «цветистости» его языка с некоторой долей сожаления: «В творчестве Игоря Николаевича наступила пора... нет, вовсе не умудрённости, не пассаистского успокоения или умиротворения чувств, но вот внутренний взор, взгляд сердца – они явно прояснились. Вместе с тем палитра стиха не стала суше и беднее, отнюдь нет, *однако некие "перехлёсты" в цветистости, в "местном говорке"*, которые прежде порой затрудняли читательское восприятие, уступили место более чеканной стилистике, и даже редкостная для молодого Григорьева афористичность начала погашивать в его строках»³.

В связи с этим вспоминаются слова известного, замечательного русского, «деревенского» писателя Валенти-

¹ Эльяшевич А. Поэты, стиль, поэзия. Л: Лениздат, 1966. С. 290.

² Шошин В. Поэт последней деревни // Григорьев Г. И. Боль. СПб.: Путь, 1995. С. 8.

³ Золотцев С. А. «Зажги вьюгу!». С. 45–46. Курсив мой. – Н. С.

на Распутина, который тоже пишет на «цветастом» языке предков. Мало того, он признаётся: «Ну, была у меня ломка. После деревни работа в газетах потребовала нивелировки языка. И мне приходилось поддаваться на это. Ломать себя. Но очень скоро я опамятовался и понял, что это не мое. И как только я вернулся к родному языку – мне стало гораздо легче...».

Распутин снова заговорил на языке предков: «Тот язык, которым пишу, он во многом от нее, от бабушки, как же она говорила! Сидеть бы да записывать эти удивительные рассказы, этот язык, техники не было такой, чтобы записывать, но ведь это без техники переливалось... Когда пришло время писать, я воспользовался бабушкиным языком. Да в деревне все так говорили, это был и мой язык. Другое дело, что поначалу я стеснялся его. Ну, как же! В город приехал, университет закончил, французских и американских авторов читал, а тут какой-то деревенский язык! И не я один так к нему относился. Потом у Шукшина прочитал, что он тоже стыдился своего языка, когда поступил в Институт кинематографии... Но мы-то из этого языка как бы выбрались, и поначалу именно такое отношение было. Потом я понял, какое это богатство, как повезло и Астафьеву, и Абрамову, и Носову, и Белову, и мне. Понял я, прежде всего благодаря этим писателям, потому что они раньше меня начали. Помню, с каким удивлением читал «Привычное дело» — оказывается, можно так писать...»¹.

Думается, что писать так не только можно, но и нужно. Разве были, состоялись бы Игорь Григорьев и Валентин Распутин без своего «цветистого» языка, рождённого

¹Цит. по: *Олег Нехаев*. Возвращение к России. – URL: www.sibirica.su.

душой народа, а значит, личностного и самобытного, не совместимого со злом, раскрывающего самые потаённые смыслы, скрывают суть событий?! «Ибо вера и язык, создающие единое духовное тело народа, формируют наше сознание, обеспечивают народу и нации нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духовной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие и сокровенные знания, которые не могут быть достигнуты ни с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное единение с ним»¹.

Во мне до сих пор живёт тёплое, радостное чувство восторга, которое испытала, познакомившись впервые с творчеством Игоря Григорьева. Казалось, меня окунули в детство, ведомое и неведомое мною, в русскую сказку, в былинку, в тайну...

Да сколько ж их в морозной роздыми!
И как же скоро зацвели!
Запыхали врозь и гроздьями
Над головой и у земли.

И все тихонечко качаются,
Роняя долу жёлтый хруст,
Захолоделых губ касаются,
Чуть горьковатые на вкус.

Они поют и сказки сказывают,
И, не спрося, в полон берут,
Зовут, зовут и путь указывают,
И зажигаются, и мрут...

(«Звёзды»)

¹ Молева С. В. Единородное Слово. С. 5.

Взяв карандаш, я с восхищением помечала и помечала: «Зима-декабриха, метель сизоока, снеготай, тропки и дорожины, рощица-берёзица, просит-богородит, совка-сплюшка, рукастая опушка, морозная роздыль, гладь семиветровая, развёрстая грудь забедует, немо краснолесью, слепо лучезарью, горюн-крылечко, сирый храм и серый лес, эти хаты глухонемы, веснеет вновь пожатье рук, ночь бурееет, манит глухо, дурман-богун, травы в росистой полуде, солнце колобродит: жары внедалечках...» – и это всего на тридцати страницах только одной книги¹ поэта!

Григорьев настолько самобытен, настолько необычен в наше сухое прагматичное время, что подобен чистому родниковому источнику, свежему послегрозовому дыханию неба, волнующему рокоту голубиного воркования, сверкающей росе, мятежной вьюге... Говор стихов поэта звучит неповторно. Как он красив и прост: деревенский, можно даже сказать, мужицкий, но – невероятно народный русский язык!

Анатолий Павлович Бесперстых, замечательный филолог, лингвист, составитель оригинальных словарей, в том числе и уникального «Словаря эпитетов Игоря Григорьева», второго в русской лексикографии после словаря эпитетов Бунина, составленного В. Краснянским, работая над текстами поэта, в личной переписке с автором очерка поделился своими впечатлениями: « Я обратил внимание на то, что в стихах Григорьева довольно много устаревших и областных (местных, псковских, диалектных) слов. Но они абсолютно не мешают воспринимать красоту стиха, а наоборот, делают стих более прозрачным, образным, красивым. В этом и заключается мастерство замечательного поэта. Вот один из многочисленных примеров: ЖЕЛТИЗНА. Затем-

¹ Григорьев И. Н. Дорогая цена. М.: Современник, 1987.

нелая (обл.). В *затемненной* желтизне, Тихий луч даруя, Кто-то тужит обо мне, Да не разберу я. (Октябрины)».

Никак я не могу согласиться ещё с одним утверждением автора очерка «Зажги вьюгу» – о редко встречающейся афористичности в поэзии молодого Игоря Григорьева. Наугад открываю всё тот же сборник и читаю сплошь афористичное стихотворение, написанное ещё в январе 1943 года, в дорогой автору Плюссе на Псковщине:

У дня и ночи граней нет:
Рассвет – закат, закат – рассвет.

Гроза и вьюга, зной и стынь –
Пресветлый мир, живая синь.

В осенней горечи разлук
Веснеет вновь пожатье рук.

Дорога, будь хоть без конца,
Соединяет два крыльца.

Печаль и радость – две сестры,
Людские жаркие костры.

Высокий гимн, частушку ль взять,
Коль в них душа, всё песней звать.

И сказка с былью – близнецы,
Завет, в грядущее гонцы.

На всех одна земная ось...
Лишь родина с чужбиной – рознь.

Владимир Личутин в послесловии к книге Светланы Молевой «Единородное Слово» акцентирует внимание на утверждении автора, что, «погрузившись в суть слова, можно не только продлить биографию, но и срастить древо рода, связать воедино время утекшее с настоящим»¹. Может быть, не только затронутые поэтом темы, не только боль израненной судьбы, не только певучесть строк (на стихи созданы прекрасные музыкальные произведения композиторами Виталием Салтыковым и Кузьмой Быковым), но и ощущение этой невидимой таинственной связи так волнует, так бережит душу, когда познаёшь поэзию Игоря Григорьева?

* * *

*Человек я верующий,
русский, деревенский,
счастливый,
на всё, что не против Совестьи,
готовый!
Чего ещё?*

Игорь Григорьев

Последняя книга поэта называлась «Боль»². С болью смотрит Игорь Григорьев с многочисленных фотографий, болью пронизаны строки его стихов о войне, деревне, человеке, Родине, России, образ которой и чувство любви к ней незримо, но ощутимо разрастаются, ширятся, заполняя собою пространство мироздания, территорию души.

*...Стала кровом и криницей,
Позабытой бороздой,*

¹ Личутин В. В. Лавровый венец России // Молева С. В. Единородное Слово. С. 212.

² Григорьев И. Н. Боль. СПб.: Путь, 1995.

Храмом, дальним и неожиданным,
Льющим в душу тихий свет,
Беззаветным, безобманным...
Это здесь-то Бога нет?

Мы живём в нелёгкое время, когда в мире размываются государственные, нравственные, языковые границы, когда переписывается героическая история страны с целью умалить, нивелировать подвиг народа, а то и сделать его виновным во всех грехах, когда идёт негласная битва против сокровенной России, против национального мироощущения и русского Слова, когда совершаются попытки исключить из обязательной школьной программы шедевры русской классической литературы, лишить подрастающее поколение нравственных ориентиров и патриотизма. Поэтому сейчас поэзия Игоря Григорьева с его исконным народным Словом, с глубинной любовью к Родине, её прошлому и настоящему приобретает особое значение для Отечества. Она достойна и должна войти в хрестоматию по литературе, в антологию лучших произведений русской поэзии.

«Иногда в синих отцовских глазах читалась такая скорбь за все человечество, что мне невольно становилось не по себе», – пишет в воспоминаниях Мария Кузьмина.

«Душа открыта, и совесть больна» – так коротко охарактеризовал отца Григорий Григорьев, ныне заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, священник РПЦ.

Сам Игорь Николаевич признавался: *«В жизни и в поэзии я не мыслю себя без России, без боли и гнева, ныне пренебрежительно прозванных “эмоциями”. Время и безвремя понимаю как ничем и тем более никем не сокрушимый сплав будущего, настоящего и прошлого. Всё перемелется».*

Владислав Шошин

Я – НАСОВСЕМ, ЖИЗНЬ!

Как вспоминает Валерий Мухин, Игорь Николаевич Григорьев оставлял след «в каждом человеке, в каждой душе, соприкасавшейся с его собственной: яркой, горячей и вдохновенной. Его бескорыстность удивляла и потрясала. Вот уж кто поистине мог отдать последнюю рубашку, и не только другу, а просто нуждающемуся». Лев Маляков рассказывал, как Игорь Григорьев, что дано не каждому поэту, умел разглядеть у юного собрата по перу золотинку поэзии, восхититься ею и вознести собрата до небес.

Какова душа, такова и поэзия. По словам Искры Денисовой, в стихах Игоря Григорьева сразу узнаем человека «горячего и порывистого, истово преданного своей земле, болезненно чуткого к ее беде, к неправоте людской и фальши». Отмечая красочность языка Игоря Григорьева, Юрий Куранов обращает внимание на его напряженность, даже нервность. Словно продолжая эту мысль, Лев Маляков приоткрывает тайну творчества своего друга: «Восприятие мира как бы оголенными нервами... одаривает его несказанным богатством чувств и слов».

В 1984 году в далеком Владивостоке сын Игоря Николаевича Григорий, размышляя о стихах отца, признавался: «Я их часто перечитываю, многие из них для меня, как молитва. В них истинная боль и крик вещей русской души!». Да, это так, потому что в своих произведениях Игорь Григорьев предстает перед читателями как кровный сын, тру-

женик и защитник своей родной земли. И совершенно права Анна Морщихина, утверждая: «Стихи И. Григорьева по праву должны занять достойное место в патриотической русской поэзии, призванной воспитывать в молодом поколении чувство любви к своей стране». Сказано это уже давно, но слова эти, пожелание это наполняется особым смыслом в начале нового, XXI-го, века, в наши дни.

Как же начиналась эпопея жизни и творчества поэта? «Родился я, – вспоминал Игорь Николаевич, – 17 августа 1923 года в деревне Ситовичи Порховского района Псковской области». И теперь еще там возвышается вековая липа, которую посадил дед поэта Григорий Дмитриевич. Дом Григория Дмитриевича, «Гришин» пятистенок, стоял на самом краю леса. Лес и стал Игорю с детства приятелем закадычным и даже вторым домом. Милая речка Уза стала и героиней самого первого его стихотворения.

В посвященной Игорю Григорьеву поэме «Слово о капитане Игоре» ее автор Алексей Полишкарров спрашивает: «Игорь Григорьев, а кто ты?» Родина проговорила: «Сын командира роты Брусиловского прорыва!». Отец поэта Николай Григорьевич – георгиевский кавалер, ротный командир в напряженных боях Первой мировой войны. Игорь Григорьев – не только поэт-солдат, но и сын солдата, так что можно говорить о родовой преемственности. Тем более что дед Григорий Дмитриевич во время Русско-японской войны погиб в Порт-Артуре. Перед нами династия защитников Родины с ее патриотическими традициями.

Отцу Игорь обязан и в творческом плане. Он стал все-таки думать о стихах не без влияния отца, который сам писал стихи. «Мой родитель, чудака-поэт, много разных песен сложил» – так увековечил сын его образ. Большую

роль и в жизни, и в духовном становлении Игоря сыграла и его мама. Ее образ воссоздан в посвященном ей стихотворении «Мать». Мария Васильевна запечатлена в драматический момент ее жизни, мужественно преодолевающей тяготы войны: «А кругом плясал, гудел пожар зеленый, и огонь оледенелый бил в открытое лицо».

С тринадцати лет началась трудовая жизнь. Откликаясь на первую книгу стихов Игоря Григорьева «Родимые дали», Искра Денисова отмечала в 1960 году: «Поэт видит землю глазами хлебороба». Это видение формировалось с детства. Но к обычной, на первый взгляд, сельской биографии добавлялись первые страницы стихотворческих исканий. В еще юношеских стихах 1940 года мы уже слышим умудренную жизнь радость ежедневных встреч с родной землей: «Шаг шагнешь – и сразу хлынет праздник рос, ливень ласковой медыни, светлых слез».

«Захлестнет неодолимой жаждой: жить!.. Как тебя мне, край любимый, не любить!» – это юный поэт сказал также в 1940-м, а на следующий год в край любимый пришла жестокая и беспощадная война. В Плюссе Игорь Григорьев окончил десятилетку и в свои неполные восемнадцать встретил Великую Отечественную – «сорвавшуюся с цепи смерть, бездомных беженцев обозы, и тучи лютых бомбовозов, беды и крови коловерть...».

«Лихое и страшное время, никогда не перестану думать о тебе!» – так вспоминал поэт годы войны. Навсегда остались в его памяти трагические картины:

И мне мерещится
Доньне
Ребенок, втоптаный в песок,
Забитый трупам лесок,
Как бог, распят старик на тыне.

Зрение хлебоборба не могло быть зрением стороннего наблюдателя, оно стало зрением солдата. Поэт был потрясен трагизмом оккупации: «Отчизна, твои ль это хаты с окошками, полными тьмы?» Но Псковщина была захвачена, однако не была покорена, и в сердце крепла уверенность: «Россию мою не отнять никому!». Игорь Николаевич активно вступил во всенародную борьбу, воевал в разведке Стругокрасненского межрайонного подпольного центра № 4 и в бригадной разведке 6-й Ленинградской партизанской бригады, руководил подпольщиками в Плюссе, командовал группой разведки в немецком тылу.

Игорь Николаевич был четыре раза ранен, одна из пуль попала в позвоночник, последнее ранение наступило уже в 1944 году, и «было немало госпиталей», – вспоминал поэт. Сердце должно было вынести много потерь, «и тяжелый валун над могилою брата сжимает дыханье мое», – писал позднее Игорь Григорьев, вспоминая погибшего в бою пятнадцатилетнего брата своего Льва, также ставшего партизаном.

Война нанесла тяжелый урон семье поэта. «Три родимых человека – Валентин, Василий, Лека – не вернутся с Битвы Века», – горевал он, поясняя: «Валентин Тимофеевич Григорьев, Василий Петрович Григорьев, Лев Николаевич Григорьев – братья мои». Светлой памяти брата Льва поэт посвятил стихотворение «26 сентября 1943 года», поэму «Двести первая верста», над которой работал особенно старательно: начатая в 1943 году, она была завершена лишь через двадцать лет.

Кому ныне не известна трагедия псковской деревни Красухи? Красуха находилась верстах в трех от родного пепелища Григорьевых – «Гришина хутора». 13 ноября 1943 года ее сожгли захватчики. Сожгли вместе с жи-

телями. И не мог поэт не помянуть своих родичей и земляков, преданных огню. Одна из книг Игоря Григорьева так и названа – «Красуха». Стихи о Красухе пронизаны набатной болью, полны глубокой скорби и тревоги. Погибшей деревне посвящена и самобытная поэма «Плач по Красухе».

Памятью о войне дышит каждая книга Игоря Григорьева. Поэт-партизан постоянно подчеркивает трагизм происходившего. Он помнит «горестную ночь, тротила адскую работу, вконец измотанную роту, не властную земле помочь...» Он помнит и напоминает нам, как в глухие холмы «под Витебском, у речки, меж Третьяков и Волковой деревней», враги гнали навстречу пулеметам «две тысячи страстей, надежд, печалей – две тысячи живых людских сердец!».

Но война для поэта-солдата – не только потери, а непременно мужественная и решительная борьба. Как рассказывал Игорь Григорьев своим читателям, «цикл стихов “Песни из неволи” был написан... на полоненной врагом, но не покоренной земле Псковской в 1941–1943 годах». Стихи о войне – стихи о борьбе. Неслучайно и закономерно многочисленны в книгах Григорьева стихи, посвященные Тимофею Егорову, Виктору Объедкову и другим его партизанским однополчанам. Характерно, что жизнеутверждением дышит и посвященная гибели брата поэма «Двести первая верста»: «А солнце солнчит песнь свою все теплей, все звонче: “Встаю! Встаю!..”».

Примечательно и стихотворение «Боль», посвященное замечательной дочери России Александре Анатольевне Агафоновой, сестре милосердия, выносившей раненых с поля боя еще в Первую мировую войну. Именно она в 1944 году в ленинградском госпитале спасла и выходила

раненого Игоря. А потом в течение многих лет с поистине материнским терпением врачевала израненную душу лихого партизана, укрепляя в ней любовь к жизни, веру в светлое будущее, надежду на то, что великая Победа зажгла незакатное солнце над родной страной.

Между тем послевоенная жизнь Игоря Григорьева также была трудной. Как вспоминал он сам, приходилось промышлять охотой в костромских глухомяях и фотографией на Вологодчине, в Прибайкалье вчерашний партизан работал в геологической экспедиции, в Ленинграде – грузчиком и строителем. В 1949 году поступил на филологический факультет Ленинградского университета. Здесь и состоялась жизненно важная встреча автора этих строк с другом на всю жизнь. Помню, что в своем дружеском кругу мы называли Игоря «стариком»: «старик сказал», «старик написал», «старик передает привет» – дань юношеского уважения жизненному опыту и героической биографии. И – городу Пскову, неизменно богатырскому городу русской истории.

Ах, город Псков, сквозь дни и версты спешу к тебе, спешу к тебе!
Как много ты издревле значил в моей душе, моей судьбе!
В средневековые столетья встречались копыя и мечи,
Сражались и за нас, сегодняшних, в глубинах столетий псковичи.

И вот пскович сегодня входит в наш Университет – и нам
Как радостно в нем приобщиться к давно прошедшим временам,
И на распросы наши скромно он говорит и о себе,
И узнаем, что собеседник причастен к жизни и борьбе

Родного края в сорок первом и тягостном сорок втором.
Уж не пес-рыцарь шел к Великой, а танковых орудий гром,
Но грудью встали против грома, противу смерти псковичи,
И их надеждами сверкали на небе звездочки в ночи.

И вот поэт Григорьев Игорь приходит в Университет
Из партизанского отряда, из непростых военных лет.
И, с ним встречаясь на филфаке, я словно вновь иду к тебе,
Мой вечный Псков, ты постоянно в моей душе, в моей судьбе!

Свет и вправду не без добрых людей. Псковскому поэту, который стал выпускником Ленинградского университета, помогла Татьяна Владимировна Боголепова, редактор издательства, и в 1960 году свет увидела первая книжка стихов Игоря Григорьева «Родимые дали». Отклики в печати были благожелательны. В. Степанов в журнале «Звезда» сочувственно отмечал «чувство глубокой любви поэта к родной земле, к родине». Свой отклик в журнале «Молодая гвардия» Вячеслав Кузнецов озаглавил «Первая книга капитана» и рассказывал молодым читателям: «“Капитан Игорь” – это имя фашисты произносили с суеверным страхом».

1960-е годы начались и продолжались вроде удачно. «Нева» опубликовала положительную рецензию П. Созонтова на «Родимые дали», «Смена» – также положительную рецензию И. Денисовой. В 1962 году вышли новые книги Игоря Григорьева: «Зори да версты», как и первая, в Ленинграде и «Листобой» в Москве. В 1965-м Воениздат в Москве выпустил его книгу «Сердце и меч», а в Ленинграде в 1966 году вышли «Горькие яблоки». Вл. Заводчиков нашел у Игоря Григорьева, как писал в журнале «Нева», «серьезное, вдумчивое восприятие окружающего мира». «У него своя, нужная орбита поэзии», – писал о Григорьеве, также в «Неве», Ю. Логинов.

Вячеслав Кузнецов подчеркивал, что «Игорь Григорьев великолепно знает народный разговорный язык, любит, чтобы слово запело, зазвенело, затрепетало». Добрые отклики в печати – важное дело. Сам поэт, однако, позднее

вспоминал: «Со вздохом признаюсь: журналы меня на забаловали и не обременили. Журнальные корректуры своих стихов, которые пофартило мне держать, можно пересчитать по пальцам. Так что на перегрузку периодикой грех обижаться». Аркадий Эльяшевич с грустью писал о Григорьеве в 1966 году: «Выступив перед читателями с первыми стихотворными сборниками уже в зрелые годы, он и сегодня остается пасынком критики. А между тем оригинальность творческого голоса поэта не подлежит сомнению».

Он неумоимо сам подтверждал это если не частыми публикациями в тогдашних СМИ, то все новыми книгами: «Забота» (1970), «Отзовись, Весняна» (1972), «Не разлюблю» (1972), «Красуха» (1973), «Целую руки твои» (1975), «Жажда» (1977). Кто может понять, тот понимал. Галина Гампер, например, с радостью подчеркивала, что «Псковщина, ее далекое прошлое и настоящее, ее язык, каждый ее кустик и болотце – все необыкновенно дорого и понятно поэту».

И в «Молодой гвардии», и в других журналах сочувственно упоминали, что поэт-солдат с пулей в позвоночнике не раз переносил тяжкие операции. Н. Лашков в журнале «В мире книг», рассказав, что совсем недавно Игорь Николаевич перенес мучительную операцию, отмечал, что в книге «Сердце и меч» выстрадана каждая строка. Военная биография продолжалась и на операционных столах, и на страницах книг. И М. Танфильев напоминал растущим читателям «Молодой гвардии», что «Родине беспредельно отданы и сердце и меч поэта», что стихи Игоря Григорьева воспринимаются как «наказ поэта-фронтовика».

Война стала для поэта-гражданина решительным вре-

менем духовного возмужания. И те же ступени Игорь Григорьев помогал пройти молодым читателям, обращавшимся к его книгам. Разве можно забыть, как стучали вражеские пулеметы, «свинец высевая густой», как вослед отступавшим сынам своим и дочерям деревни и города смотрели «окошками, полными слез»?

Но они не только отступали, дети России, даже в тяжком начале войны. В фашистском тылу, где «ходят рядом тьма и свет след в след», не только тьму видели герои сопротивления. Многие читатели, вчитываясь в книги Игоря Григорьева, видели, как земля пробуждается от «мертвой ночи», как у врага «под ногами огнем пылает!» Видели и слышали, как летит под откос сброшенный партизанами фашистский эшелон:

Арифметика проста:
Двести первая верста,
Ни вагонов,
Ни моста,
Триста сорок два креста...
Тихие мои места!

Казалось бы, война могла, должна была ожесточить, огрубить душу, навсегда задернуть темным, черным пологом тяжелых – страшных! – воспоминаний даже ясное поутру рассветное небо. Но многочисленные читатели в Ленинграде, в Пскове, в Луге, Новгороде, Петрозаводске, Киеве, Минске, Алма-Ате, Тбилиси, Ташкенте, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке вновь и вновь вчитывались в стихи поэта-фронтовика и радостно находили в них самозабвенный восторг, решительную самоотдачу во власть вдохновения, безграничную радость безграничной жизни:

В деревне сейчас
Полонила поляны
Такая большая трава!
На зорях
Гривастые бродят туманы
Да плещется синь-синева.
А день ничего себе:
Точен и прочен,
Всему свой и срок и черед.
Здесь даже осиновый тын у обочин,
Что может, от жизни берет.
Бездонное небо
Звенит и ликует –
От крыш невысоких
До звезд.
И, годы суля мне,
Кукушка кукует,
И мир удивительно прост!

Пусть он покажется простым лишь на мгновение, но ведь это надо уметь – ощутить мир первозданным, заново, может быть, лишь для тебя только что возникшим! Среди стихов Игоря Григорьева мы видели – и слышали! – всё больше подобных пронзительных всплесков вдохновения. Поистине поэт не имеет возраста. Но что же дарит его сердцу вечную молодость? И на этот вопрос отвечает поэт:

Нас в люди выводила Русь
Всей строгостью земли и неба.
Пусть хлеб ее был черствым! Пусть!
Но никогда он горьким не был!

Не у каждого поэта увидишь такую, как у Григорьева, образную конкретику любви к родному краю: «Каждому листику в этом лесу, всякой былинке на тихом мысу я в своем сердце песню несущу». И всегда радовала нас при-

вязанность Игоря Николаевича к родной Псковской земле – привязанность сердечная, заповеданная, неизбывная. Встреча с родиной – всегда радость. Радостны с ней даже вроде бы обычно всегда грустные закаты. Характерно начало стихотворения «В родном краю»: «Согретые в перьях заката, проклонутся ночи цыплята – пушистые желтые звезды». Зато разлука с родиной, хотя бы и краткая, всегда – грусть, ведь и родная земля грустит в разлуке: «И радуг твоих коромысла линияют и гнутся одни».

Во время блокады Ленинграда мы постоянно прислушивались к вестям с юга – как там идет борьба партизан родной Псковщины? После войны мы узнали, что одним из этих героических партизан был Игорь Григорьев. И хотя он жил уже не в Пскове, а в Ленинграде, душа опять тянулась к нему на юг – ведь жил он первое время на улице Егорова, которая южнее моей Петроградской стороны.

На юг! На юг! – мечта поэта.
Юг – это Крым! Юг – это Псков!
Чтоб ехать к югу, ждите лета,
Поры желанных отпусков.

Так что ж, опять зимой суровой
Скучать без юга над Невой?
Нет, над Невой нам светит снова
Псков легендарно боевой.

Псков – это песня, это знамя,
Призыв всегда идти вперед,
Псков партизанский перед нами
В стихах Григорьева встает.

В их авторе единове́рца
Обрел я – счастье! – навсегда.

И слышу – не смолкает сердце
Поэта в песне никогда.

Воспринимая Игоря Григорьева прежде всего как поэта-партизана, можно было сомневаться – как перейдет он, как сумеет перейти в своих стихах к картинам мирной жизни? Но ведь не зря же сказал он от имени своих земляков: «Для нас любое дело, лишь бы потруднее, – праздник!» Да, труд всегда на первом плане, «родные добрые лица, большие в мозолях руки» – таков краткий портрет земляков в строках Григорьева.

Важно подчеркнуть естественность, органичность и темы труда в поэзии Игоря Григорьева. «Ты – во мне, отчизна моя» – в этом признании поэта родной Псковщине читатель может почувствовать мысль о том, что родина живет в душе поэта во всей своей широте, во всем своем многообразии, и не ошибется. Все здесь вместе, в дружбе, в ладу – родная природа и трудовой быт, «и смех работающих доярок, и дымный пастуший костер, и солнце, летящее яро в бескрайний родимый простор!» А родимый простор действительно широк не только верстами, но и повсеместностью дружеских встреч разных времен и даже разных эпох:

Ржут битюги стальные – трактора,
Мчат рысаки в огнях – автомашины.
И – с «Маршем космонавтов» – детвора,
И стародавний тенор петушиный.

В раздумьях о творчестве писателей иногда говорят об очеловечении ими природы. Правомерно ли это по отношению к Григорьеву? Он опять-таки сам отвечает на вопрос. «В каждом листике – трепет души», – говорит он, то есть перед нами не очеловечение, а одухотворенность ис-

кони. Человек земли един с нею, и любовь к родине для него – не плод воспитания или наставления, но естественное, веками сформированное чувство.

Вот почему главное место в поэзии Игоря Григорьева занимает любовь – любовь к Родине, России, любовь к родному краю, любовь к людям, любовь к природе, любовь к прекрасному, любовь к женщине, любовь к жизни. При этом стихи полны не только радости, но и пронзительных всплесков, сердечного драматизма – «поскольку я лирикой болен, мне сердце беречь не дано». Свое сердце поэту беречь не дано, но зато ему дано, даровано входить в сердца других людей и освещать их светом любви и совести, без которых, как он напоминает, человеку не быть Человеком.

Этим светом озарили читателей все новые и новые книги – «Стезя» (1982), «Жить будем» (1984), «Уйти в зарию» (1985), «Дорогая цена» (1987). И А. Александров напомнил читателям «Звезды», что Игорь Григорьев – самообытный поэт, что он нашел свое «песенное слово» и что «знакомство с ним приносит радость». Нет, все-таки свет – не без добрых людей!

Думаю, что большой радостью были для Игоря добрые слова о его стихах, сказанные таким известным и народным поэтом, как Виктор Боков. «Такие строки, – отмечал Виктор Федорович, – не могли быть написаны случайно, за ними – мастер. И отраднo, что мастерством уже отмечены стихи, написанные во время войны». Еще в 1973 году Виктор Боков предрекал: «Можно много говорить о находках поэта, которые радуют и заставляют верить в его дальнейшие удачи».

Новые удачи оказались обусловлены и расширением жанрового диапазона. Поэт пробовал писать и прозу, так-

же пьесы. Удачей были отмечены поэмы. Лирик обратился к крупномасштабному сюжету и жанру, и теперь, перечисляя его поэмы, можно сбиться со счета – «Зарево», «Стезя», «Колокола», «Обитель», «Двести первая верста», «Вьюга», «Русский урок», «Огонь на себя», «Благословенный чертов путь».

Поэму о мятежном псковском колоколе А. Эльяшевич назвал в 1966 году вершиной творчества Игоря Григорьева. В поэме «Слово нерушимо» Григорьев, по словам этого критика, предстал мастером эпического повествования. В этой поэме другие края – Балтийское море, Дания, Англия, но тематика также морально-нравственная – неизбежность чести, честного слова: «Слово русских людей неру-ши-мо!».

Не только Балтика, Англия, Дания – на творческой карте поэта, а затем и переводчика появляются и другие просторы, страны, республики, среди них Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Калмыкия, Чувашия, Азербайджан, Эвенкия, Индия. Доброе внимание псковского поэта останется в памяти многих благодарных ему народов, ведь среди переведенных им авторов – Андрей Балодис, Антон Белевич, Михась Василек, Тишка Гартный, Людас Гира, Джавид Гусейн, Владимир Дубровка, Николай Евстафьев, Максим Лужанин, Алитет Немтушкин, Борислав Степанюк, Максим Танк, Николай Терещенко, Михась Чарот, Юван Шесталов, Федор Щербаков, Константин Эрэндженов, Ронголал Бондопадхай, Хемчондро Бондопадхай.

Творчество Игоря Григорьева разворачивается на многовековой перспективе истории России, причем конкретика сопровождает его и в далеком прошлом. Вот он зримо вспоминает легендарную битву Александра Невского у Вороньего камня – и мы видим «крестоносцев в тяжких

латах, лапотные рати псковичей, братьев-новгородцев бородатых, гульбище разгневанных мечей!..». Среди эпиграфов к главам поэмы «Колокола» – старинное речение, строки из русской песни, из псковского летописца, из «Повести о приходе Стефана Батория на град Псков», русская пословица.

Дружит поэт широкой души и с авторами более поздних времен, в той же поэме «Колокола» видим в эпиграфах строки Федора Глинки, Алексея Кольцова, Николая Лескова, Александра Блока, Сергея Есенина. Стихотворению Григорьева «Грачи» предпослана строка Александра Грибоедова «И дым отечества нам сладок и приятен!». Эпиграфом к поэме «Обитель» стали строки Блока.

Так что же – перед нами уже и не лирик и не эпик, а историк литературы? Нет, перед нами поэт, но поэт вдумчиво-университетского кругозора. Вот он пишет стихотворение «Сергею Есенину». Пушкину, своему любимому земляку по селу Михайловскому, он посвящает стихи «Пушкин в деревне», «В Михайловском». И, хотя родная Псковщина в историко-литературной перспективе остается на первом плане, вместе с Лермонтовым Григорьев едет на Кавказ и пишет стихотворение «Машук в тумане».

И не только с отдаленной классикой перекликаются его стихи. Стихотворение «Ночь» посвящено Виктору Бокову, эпиграфом к стихотворению «Песня» стали стихи Владимира Солоухина, в «Колоколах» находим строки Николая Рубцова, Глеба Горбовского, Александра Гусева. А все стихотворение Игоря Григорьева «Праздник урожая» звучит как отклик на известные строки Николая Тихонова «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей», взятые эпиграфом и продолженные ответной концовкой: «И впрямь, из какой мы стали, русские люди?»

Конечно, многое Игорь Григорьев досказать не успел... Но отраднo, что его творческий диапазон постоянно расширялся. Друг его партизанской юности Лев Маляков вслед за ним поступил в Ленинградский университет, дружба продолжалась, углублялась, и в «Слове о друге» Григорьев и впрямь берет в правую руку перо литературоведа и дает конкретный рассказ о жизни творчестве Льва Малякова: «В 1944 году мой побратим ушел добровольцем на флот. На торпедных катерах брал Кенигсберг, добывал Курляндскую группировку врага. Довелось ему и ледяной воды хлебнуть, когда “разбитый катер пошел на дно”».

Значит, поэт, переводчик, немного литературовед – и все? Нет, еще и организатор литературно-общественной жизни. В 1968 году И. Н. Григорьев создает Псковскую организацию Союза писателей СССР. В 1974 году выходит в свет книга литераторов Псковщины «Встречи», среди авторов которой – С. Гейченко, И. Виноградов, Ю. Куранов, А. Гусев, В. Курбатов, Е. Афанасьев, Л. Маляков, А. Бологов, О. Тиммерман, С. Молева, Э. Жемлиханов, а составитель этого сборника – Игорь Григорьев. Позднее он же составил книгу прозы молодых литераторов Пскова «Мы – псковские», вышедшую уже в 1990 году.

Как видим, работы – невпроворот! Но к 1970-м годам закончился ленинградский период жизни Игоря Григорьева, он перебрался в Псков, продолжал там жить, болеть и – работать! О трудностях его дальнейшей жизни может дать представление одно из его писем автору этой статьи: «Я сейчас, вот уже с 17 декабря, лежу в псковской областной больнице № 3, терапевтическое отделение, палата 14. 18 января меня переведут в областную больницу № 1, где 19 января будут делать операцию, почти такую же, как Федору Абрамову. Но ты пиши мне на Гражданскую улицу <...>».

Спасибо, еще раз, за весточку. Будь счастлив, мой дорогой. Обнимаю тебя крепко. Всегда твой Игорь Григорьев».

Игорь уехал... Но улица Егорова – его улица в Ленинграде! – осталась. Она осталась навсегда для меня его улицей, недаром он говаривал, что она названа в честь его партизанского побратима Тимофея Егорова. Теперь, правда, я не мог здесь, как прежде, увидеть его, но сколько раз я сворачивал от станции метро в эту улицу – по привычке, по зову сердца? Не стало здесь Игоря Григорьева, но он неизменно продолжал приносить нам радость встреч с подлинной поэзией. Вот идет трудный 1998 год – и вдруг сын поэта, известный всем врач-исцелитель Григорий Григорьев присылает мне из Пскова юбилейную книгу Игоря Григорьева «Любимая – любимой остается», которая к тому же открывается моим высказыванием.

А трудный 1998-й все длится, разражается дефолт, и снова мне радость от Игоря Григорьева – книга Алексея Полишкарлова «Слово о капитане Игоре». Поэзия – это постоянные встречи друзей, в том числе и в книгах. Предисловие к книге Полишкарлова написал Вячеслав Кузнецов: «“Капитан Игорь” – таково легендарное имя героя данной поэмы, созданной любовью и талантом известного теперь поэта Алексея Полишкарлова... Уже на войне Игорь Григорьев стал и поэтом. Книга военных стихов так и называется – “Набат”. В ней много темпераментных, тревожных строк и строф. Воистину – набат!».

Вспомним и другие справедливые слова Вячеслава Кузнецова, который был вынужден с сожалением напомнить, что «О поэте Игоре Григорьеве никто “не шумел”, никогда не было его имени в модных поэтических обоях». Очевидно, если поэт всегда имеет свое собственное мнение, которое выражает своим да еще и далеко не робким голо-

сом, то о таком авторе самое удобное – «не шуметь». Между тем, характеризуя творчество Игоря Григорьева, надо сказать и об его добросовестности в работе над текстом. Он поразительно много работал и над уже вроде бы законченными произведениями – как над сюжетными поэмами, так и краткими лирическими стихотворениями, в том числе такими ключевыми, как «Набат», «Русь звездная».

Итак, «не шуметь»... Нарушим эту ложную традицию. Пусть для молодых читателей XXI века путеводными станут слова, которые уже в 1994 году обратил к капитану Игорю его боевой товарищ Николай Никифоров из города Златоуста: «Нет, наверное, ни одного дня, когда бы я не вспоминал о тебе, о Плюссе, о наших разведчиках, ныне здравствующих и полегших за горестную Отчизну нашу. Человек с большой буквы, Игорь Николаевич, я люблю тебя крепкой дружеской любовью. Мне очень не хватает общения с тобой. Ты научил меня, да и плюсских ратоборцев, многому: непримиримой борьбе со злом – как было в годы войны; доброму бескорыстному отношению к людям; беззаветному служению своему Отечеству; кровной привязанности к родимому краю; трепетному отношению и жалости к природе, к братьям нашим меньшим, к лесам и травам – ко всему сущему; огромной любви к своему народу; способности противостоять бедам и переносить любые невзгоды. Спасибо тебе за все, что сделал ты...».

Трепетное отношение к братьям нашим меньшим... И я вижу, как в начале осени Игорь Николаевич берет на руки раненого аиста, и несет его домой, и до весны кормит вместе с курами и аистихой, которая, поверив в добро, пошла вслед за ним. Не только слова, но и дела, что не всегда совпадает у поэтов.

Беззаветное служение Отечеству и своему призванию...

И поэт вновь и вновь зовет нас увидеть, как «утро искры горстью мечет на пруду», и снова зовет в грядущее: «Гой ты, Русь, – вся забота и праздник, мирный сон и набатная весть!»

Много было и радостного в долгой все-таки жизни. Но, как пишет Вячеслав Кузнецов, «Игоря Григорьева достойно поставить в один ряд с легендарным нашим разведчиком Николаем Кузнецовым. Почему же это не сделано раньше, при жизни поэта и воина? Трудно объяснить!».

Однако глубоко символично, что буквально в начале 2000-го года состоялся вечер памяти Игоря Николаевича Григорьева, организованный Союзом писателей России и Рубцовским центром и проведенный в доме культуры на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Знаменательно широк и разнообразен был круг выступивших. Во встрече приняли участие сын поэта, известный врач и писатель Григорий Игоревич Григорьев, мама Григория Дарья Васильевна, его жена Елена, дочь Игоря Григорьева поэтесса Мария Кузьмина, хор «Кантус» Санкт-Петербургского университета путей сообщения, композиторы Виталий Салтыков и Валентин Сухобоков, поэты Сергей Вакомин, Вячеслав Кузнецов, Елена Родченкова, звучали песни на стихи Игоря Григорьева.

Символично и название дома культуры, в котором вошел в 2000-й год Игорь Григорьев, – «Гавань». Словно гавань, отправляющая корабль поэта в новый век и навстречу бессмертию.

Игорь Григорьев сегодня – это и Григорий Игоревич Григорьев, продолжающий человеколюбивые и душеспасительные традиции своего рода у ответственного руля Международного института по изучению резервных возможностей человека; это и мать Григория Дарья Васильев-

на, отдающая свои интеллектуальные и духовные силы Пушкинскому лицу в качестве его неутомимого директора.

Нет, не опустела улица Егорова, ведь прошлое – вечно с нами, если живет в нашем сердце. И я вновь иду по этой улице к дому Игоря Григорьева и вспоминаю, вспоминаю...

Продолжается наш большой праздник – встречи с Игорем Григорьевым, патриотом, партизаном, поэтом. Поэт живет в своем творчестве; если жива память о нем, живы и звучат его стихи, значит – он всегда с нами. Разве может он быть не с нами, «крестник зари, тоски беспощадный враг!». Ведь он по-прежнему душой со своей родной Псковщиной, где «вдох всего – и в грудь вольется столько сил!» – как ощутил и понял он еще в 1940 году.

Игорь Григорьев сегодня – это по-прежнему жизненное вдохновение его книг, ряды которых продолжали расти уже и в самом конце XX века. В 1990–1991 годах в Ленинграде вышли книги «Вьюга» и «Русский урок», в 1994–1995 годах во Пскове опубликованы «Крутая дорога» и «Набат». 1994 год принес сборник «Кого люблю», 1998-й – книгу «Любимая – любимой остается». Игорь Григорьев – это и неизменная память о нем друзей.

Книга «Кого люблю» особо примечательна – она вся составлена из стихотворений, посвященных близким для автора людям. Таких стихотворений в книге больше ста. Читаем и перечитываем стихи, посвященные Григорию Григорьеву, Александре Агафоновой, Григорию Дмитриевичу Григорьеву, Семену Гейченко, Ивану Лысцову, Петру Выходцеву, Федору Абрамову, Марии Кузьминой, Светлане Молевой, бабушке с материнской стороны Василию Лаврикову, Юрию Паркаеву, Александру Прокофье-

ву, плюским разведчикам, Льву Григорьеву, матери Марии Васильевне, Тимофею Егорову, отцу Николаю Григорьевичу, Виктору Объедкову, бабушке поэта Василисе Лавриковой, Василию Цехановичу, Надежде Поляковой, Илье Садофьеву, Елене Морозкиной, Дине (Дарье) Григорьевой, Виктору Бокову, Льву Малякову, Илье Авраменко, Анатолию Поперечному, Нине Чечулиной, Ивану Шевцову, Александру Гусев, внуку Василию... Всех назвать здесь просто невозможно, но нельзя не сказать, что перед нами уникальная в истории мировой поэзии летопись сердечной широты и органичной потребности в ответной дружеской улыбке.

Но снова берет слово неизбывная тревога. Грустные строки вызвала у поэта зима 1993 года: «Заледенело сердце: в ретивом перебой – любовью не согреться. – Россия, что с тобой?». Книга 1994 года «Крутая дорога» открывается предостережением: «Родину нельзя найти, можно только потерять!» Много волнений и тревог принесли поэту-патриоту годы «перестройки» и последовавших за нею реформ. Не они ли и вызвали гневные строки: «В строе том – не признавал я многое. В этом строе – отвергаю все!».

Но ведь не зря поэт выражал в свое время надежду, что его стихи могут оказать помощь в поисках пути в жизни: «Может, следом выйдет на большак сбившийся с дороги человек». А разве может поэт оказать помощь своим словом, если потеряет веру и в него, и в жизнь? «Ты ведь, как сердце, одна у меня», – обращается поэт к Родине, а единственная не может, не должна погибнуть. И снова «кажется, немое шепчет поле: люби, зови, надейся и дыши».

И вот уже напутствием надежды завершается стихотворение «Сыну»: «ненастье обескровило зарю», бушу-

ют вьюги – но они лишь временная тягость: «ведь вьюги что? – весенняя вода». И стихотворение «Гриня», посвященное Григорию Григорьеву, также живет оптимистическим напутствием:

И дышит день, большущий-пребольшущий,
Распахнутый, смеющийся, зовущий,
И солнцу ни конца, ни края нет!

Еще так недавно Игорь писал из Пскова автору этой статьи о своей надежде, что мы еще, «может статься, пригодимся России». Россия вошла в XXI век с любовью к жизнестойкости поэзии Игоря Григорьева, с любовью к его завету искренности и совестливости: «Верней, точнее чистых глаз оружия в мире нет». Игорь Григорьев – это и любовь к родной и единственной на всей Земле Псковщине, где, по его слову, «дожди и валуны, и те живые», и об этой его любви всегда будет помнить благодарная Россия.

Об Игоре Григорьеве писали, что он умеет поэтический язык освежать просторечием, а точнее сказать – пишет на том языке, на котором говорит сам народ. Но народный поэт – это не только язык, но и сердце его родного народа, его душа, а она, как показала Великая Отечественная война, умеет быть не только ласковой и нежной, но и непреклонной. Как сказал сам Григорьев о русской душе:

Она у нас всегда была владыкой –
Бескрайней, доброй, тихой, и печальной,
И непреклонной.
Если разбудить!

Еще в 1958 году родились у Игоря Григорьева и такие строки: «Нашей жизни даль светлым-светла, в которой

ждет нас встреча с новым веком!». И вот она пришла – встреча с новым, XXI-м, веком, с новым тысячелетием, и поэт врывается в новую эру крылато и уверенно, и ведет его вера в будущее, за счастье которого погибли Лев Григорьев, Любовь Смурова и другие герои войны, ставшие героями его стихов.

Как напутствие России XXI века звучит ныне написанное в мае 1945 года стихотворение Игоря Григорьева «Победа» с его обращением теперь уже и к грядущим поколениям: «Слышите? Верите, други? Мы победили! Живите!» Новым смыслом наполняется ныне путеводная строка: «Ничего, что мне далече, – я иду!» Было это сказано в 1947-м, но поэт идет ко все новым и новым читателям и в 2007-м, и в 2017-м, и в 2027-м...

И в сердце его по-прежнему живет вера в радость все новых и новых встреч: «И увижу вдруг за поворотом новый свет!». Но этот путь вперед – путь одиночного поиска? Нет, это единый путь вместе с орлино расправляющей крылья родной Россией. Поэт верит в ее грядущую счастливую судьбу, уверенно говоря о бессмертии единственной в мире России.

А мы не менее уверенно говорим о бессмертии и нашего поэта, единственного в целом мире Игоря Григорьева. Он так пророчески обращался к жизни:

– Здравствуй! Веди меня.
Я – нао всем,
Жизнь!

Да, он – нао всем, поэт Игорь Григорьев, и в нашем XX-м, и в тоже нашем XXI-м веке, и во всех грядущих веках, как радость для читателей, как пример для юных стихотворцев, как вечное знамя для граждан-патриотов. Он – нао всем, навсегда, навеки!

Поэтические книги И. Н. Григорьева

- Родимые дали : стихотворения. – Л. : Лениздат, 1960.
- Зори да вёрсты : стихи. – М. ; Л. : Советский писатель, 1962.
- Листобой : стихи и поэмы. – М. : Молодая гвардия, 1962.
- Сердце и меч : стихи. – М. : Воениздат, 1965.
- Горькие яблоки : лирика. – Л. : Лениздат, 1966.
- Забота : поэмы. – Л. : Лениздат, 1970.
- Ожидание красного дня : стихи // Ровесники. – М. : Молодая гвардия.
- Отзовись, Весняна : лирика и поэма. – М. : Советская Россия, 1972.
- Не разлюблю : стихотворения; поэмы. – Л. : Лениздат, 1972.
- Красуха : стихи. – М. : Современник, 1973.
- Целую руки твои : лирика. – Л. : Лениздат, 1975.
- Жажда : стихотворения. – Л. : Лениздат, 1977.
- Стезя : новые стихи. – Л. : Лениздат, 1982.
- Жить будем : стихотворения. – М. : Советская Россия, 1984.
- Уйти в зарю : стихотворения и поэмы. – Л. : Лениздат, 1985.
- Дорогая цена : стихи. – М. : Современник, 1987.
- Вьюга : поэма. – Л. : Редактор, 1990.
- Русский урок : лирика и поэмы. – Л. : Лениздат, 1991.
- Крутая дорога: стихи о судьбе и Родине. – Псков : Отчина, 1994.
- Кого люблю : посвященные стихотворения. – СПб. : Путь, 1994..
- Набат : стихи о Войне и Победе. – СПб. : Путь, 1995.
- Боль : избранное. – СПб. : Путь, 1995.

Содержание

Игорь Григорьев ВСЕ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ	7
Станислав Золотцев «ЗАЖГИ ВЬЮГУ!»	100
Василий Кириллов, Владимир Клемин ОГНЕННЫЙ КРУГ	173
Мария Кузьмина МОЙ ОТЕЦ - ПОЭТ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ	259
«Внебрачные дети поэтов...»	294
«Завертелось, закружилось...»	295
Открытие мемориальной доски на доме отца	295
Слово и дело	296
Лев Маляков ПОЭЗИЯ - ЕГО СУДЬБА	298
Людмила Крутикова-Абрамова УЧЕНИК И ВЕРНЫЙ ДРУГ ФЕДОРА АБРАМОВА	306
Светлана Молева ЖЕСТОКАЯ ДОРОГА - ПОЭЗИЯ	310
«Над избами, Над переправой...»	314
«Этот дождь не пройдет до утра...»	315
Юрий Шестаков ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА	317
Валентин Голубев «В городе белом твоём...»	319
Виктор Торопчанин (Васильев) НЕЗАБВЕННОЕ	320
Елена Родченкова ЦЕЛУЮ РУКУ ТВОЮ	327
Василий Овчинников ЦЕНА ПРАВЕДНОГО СЛОВА	346
Валентин Краснопевцев «То ли утром, а может, вечером...»	368
Вадим Зверев ДАР ЖИЗНЕЛЮБИЯ	373

Виталий Федоров	
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ БОЛЮЮ	373
Наталья Советная	
ГОРЕВОЙ ЦВЕТОК РОССИИ	378
Владислав Шошин	
Я - НАСОВСЕМ, ЖИЗНЬ!	440
Поэтические книги И. Н. Григорьева	463

ПОЭТ и ВОИН
Книга воспоминаний
об Игоре Григорьеве

Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» книга предназначена «для детей старше 12 лет».

Редактор М. Е. Устинов
Дизайн и верстка А. В. Селенковой

Подписано в печать 00.00.2013.
Формат 80×100/32. Гарнитура Book Antiqua.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Печ. л. 14.5. Тираж 000 экз. Заказ 000.

Отпечатано в